

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Евгений  
БАРАНОВ

*московские легенды*



ImWerdenVerlag  
München 2006

Составление, вступительная статья и примечания Веры Боковой

© Московские легенды, записанные Евгением Барановым. Составление, вступительная статья и примечания Веры Боковой. Редактор Ю. Буртин.

Редактор Ю. Буртин. М., «Литература и политика», 1993.

Легенды старой Москвы, услышанные Е. З. Барановым (1870 — после 1934) в московских харчевнях 20-х годов, а затем по свежей памяти живо и талантливо воспроизведенные, — вот содержание этой необычной книги, среди персонажей которой мы встречаем Пушкина и Гоголя, Петра I и колдуна-ученого Брюса, знаменитого жулика Рахманова и известных своими чудачествами московских купцов-богачей...

Историк и литературовед найдут в этой книге, основанной преимущественно на неопубликованном архивном материале, строго научное издание целого пласта городского фольклора, не тронутого другими исследователями, а все прочие читатели, взрослые и дети, — забавное и занимательное чтение.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Легенды о графе Брюсе

Брюс и вечные часы .....	12
Как Брюс из старого человека молодого сделал .....	15
Брюсовы чудеса .....	18
Смерть Брюса.....	20
Брюс и Петр Великий .....	22
Как Брюс с царем поссорился .....	28
Брюс и волшебная наука .....	33

### Места и люди

Проклятый дом .....	36
---------------------	----

### Красная площадь

Иван Грозный и Малюта Скуратов .....	42
Постройка кремлевских стен в Москве.....	46
Храм Василия Блаженного .....	47
Марьино роща .....	49
Александровский сад .....	61

### Московские чудаки

Московский жулик Рахманов.....	66
Граф Закревский и его беспутная жена.....	76
Губонины.....	79
Солодовников.....	85
Корзинкин .....	88
Корзинчиха и Коншиха.....	90
Козьма Дмитрич Молодцов и нищие.....	95
Дядя Михеев .....	98

## О падении дома Романовых

Про Керенского .....	102
Матрешкино предсказание .....	106
Граф Шереметьев и Гришка Распутин .....	109
Как Распутина убили .....	113

## О нечистой силе

Лесовик .....	116
Ведьмы и колдуны.....	117
Ведьма .....	119
Водяной и русалки.....	122
Потайной муж .....	123

## О русских писателях

Брюс, Сухарев и Пушкин .....	125
Пушкин и Гоголь .....	129
Как Пушкин учился в школе.....	133
Пушкин и царь .....	135
Как Пушкина жена погубила.....	139
Лев Толстой и американцы .....	141

## ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЕГЕНДЫ О ГРАФЕ БРЮСЕ .....	143
МЕСТА И ЛЮДИ .....	143
МОСКОВСКИЕ ЧУДАКИ.....	145
ЛЕГЕНДЫ О ПАДЕНИИ ДОМА РОМАНОВЫХ .....	146
О НЕЧИСТОЙ СИЛЕ .....	146
О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ .....	146

Евгений Захарович Баранов (1869 — после 1934), чьи записи московских легенд и преданий предлагаются вниманию читателя, прожил на редкость яркую и насыщенную событиями жизнь.

Сын некрупного торговца из бывших крепостных, объехавшего в поисках лучшей доли чуть не пол-России и осевшего в конце концов в Нальчике, Баранов прожил в родительском доме до семнадцати лет. Окончил Нальчикскую городскую школу и, чувствуя в себе склонность и способности к рисованию, отправился в Москву, чтобы учиться в заветном Строгановском училище.

Продолжалась учеба, однако, недолго: менее чем через полгода за участие в народовольческом кружке Баранов был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме, после чего его выслали на родину под гласный надзор полиции.

С этого времени ему довелось пережить практически все, что может выпасть на долю человека: нищету и относительный достаток, физический труд и литературное творчество, оседлость и бродяжничество, любовь и ненависть, аресты и тюрьмы, смертельный риск и чудесные спасения, тяжкие побои, болезни, насмешки, одобрение, покушение на самоубийство, воровство, научное и литературное признание и т. д., и т. п.

Он то бездельничал, то служил где-нибудь писарем или корректором, писал разоблачительные корреспонденции и статьи в газеты, пьянствовал, босячил, торговал книгами на базаре, был ходатаем по судебным делам, пилил дрова, убирал картошку, кукурузу, виноград, подсолнухи, мыл посуду в трактирах... Исходил весь Северный Кавказ, Закавказье, Дагестан, бывал на Дону и в Крыму, с 1911 года обосновался в Москве. Видел множество самых разных, интересных, а порой и опасных людей. И везде, куда бы ни заносила его судьба, без устали занимался сбором фольклора: горских и казачьих сказок, песен, легенд, преданий, поговорок и пословиц, детских прозвищ и считалок, народных рассказов, «заветных» сказок, частушек и многого, многого другого... Часть записей удавалось переслать в журналы и газеты, издать отдельными книжками\*, другая, большая, погибла в скитаниях, при обысках и арестах, в пожарах. В 1890-х — 1910-х гг. фольклорные материалы, собранные Барановым, появлялись чуть ли не во всех изданиях Кавказа, Закавказья и Дона (в числе прочих — в «Терских губернских ведомостях», в «Северном Кавказе», «Казбеке», «Пятигорском листке», «Донской речи», «Бакинских известиях» и др.), во многих центральных изданиях — «Русских ведомостях», «Утре России», «Русском слове», «Биржевых известиях», «Северном курьере», «Неделе», «Детском чтении», «Мире приключений», «Вокруг света» и др. Баранов писал и оригинальные статьи и очерки из кабардинского и «тюрко-татарского» быта, о переселенческом движении на Северный Кавказ, о земельном положении горцев, о быте пришлых сельхозрабочих, о старообрядцах, о толстовцах и т. д., но фольклористика была его основным и любимым занятием.

Во времена Баранова фольклорная запись была делом не простым. Ни о какой звукозаписывающей аппаратуре, кроме громоздкого фонографа, речи еще не было. Записывать нужно было в естественных для рассказчика из низов условиях — в ака-

---

\* Кабардинские легенды. Пятигорск, 1911; Легенды Кавказа. Ростов на Дону, 1913; Сказки кавказских горцев. М., 1913; Сказки терских казаков. М., 1914, и др.

демичной обстановке он робел, путался, путался, и никакого связного повествования у него не выходило. Можно было попробовать применить стенографию, но пользоваться ей приходилось осторожно и по возможности незаметно как для рассказчика — иначе он сбивался, — так и для окружающих. Людей, пытающихся почему-либо записать разговор, в народе не без основания боялись и не любили, считали либо шпионами, либо «газетчиками», которые понапишут, а потом «так пропечатают, что только держись». Поэтому фольклористу необходимыми оказывались крупные кулаки и умение постоять за себя, в противном же случае лучше было не искушать судьбу и прибегать к дословному запоминанию услышанного рассказа, а потом уже к его фиксации «на память». Именно так приходилось работать и Баранову, и нужно сказать, что специфику этой работы он освоил в совершенстве и умел не только дословно воспроизвести услышанное, но и войти в доверие к «информанту», и искусно навести его на нужную тему, и удерживать на ней до тех пор, пока рассказ не обретет законченность. Тут помогало и происхождение, и жизненная школа, и свободное владение простонародной речью, и тот образ жизни, который Баранов вел, и присущий ему артистизм.

Он вообще был очень талантливым человеком. Одаренность проявлялась, в частности, и в том, как он писал: без черновиков, прямо набело, почти без поправок, «под диктовку» памяти и воображения. Кроме способностей к живописи и литературе, в нем были и явные актерские наклонности, — просто удивительно, что в своих странствованиях он ни разу не попытался поступить на сцену. Это актерство, соединенное с живой и возбужденной фантазией, непрестанно бурлило в нем, вырываясь на волю в постоянном «театре для себя»: почти всю жизнь Баранов в кого-нибудь играл — в ученого-алхимика, в религиозного подвижника, в американского охотника на бизонов, в революционера-конспиратора, журналиста-обличителя, лихого джигита, адвоката, босяка...

Артистизм был у него в крови, унаследованный от отца, отменно, самоучкой, рисовавшего и способного ко всяким ремеслам. От отца же, сменившего на своем веку немало городов и занятий, он получил, несомненно, и зуд бродяжничества, ту непоседливость, которая заставляла скучать на всяком постоянном месте и срыватьсь во все новые и новые странствия и приключения. Конец этому был положен только в Москве: сказался и возраст, и еще одно обстоятельство — в 1914 году Баранов неудачно упал и сломал ногу, перелом сросся неправильно и превратил его в инвалида, неспособного передвигаться без костыля.

После революции он тяжело бедствовал и, скованный своим увечьем, мог искать пропитания лишь внутри небольшого городского пространства: между Арбатской площадью, Смоленским рынком и Никитской (сам он жил на Арбате, в доме 4). Существовал случайными, иногда странными заработками: продавал с лотка подержанные книги, пел с каким-то приятелем по трактирам дуэтом народные песни, порой и нищенствовал... Сыт бывал не каждый день, часто болел.

Как могли, помогали друзья: директор музея «Старая Москва» и глава одноименного общества историк П. Н. Мюллер и директор библиотеки Исторического музея этнограф Ю. М. Соколов. В самые тяжелые годы они поддерживали Баранова собственными средствами, а в конце 1920-х гг. их же стараниями удалось выхлопотать ему небольшую пенсию.

На исходе 1928 года в квартире Евгения Захаровича на Арбате случился пожар, погубивший большую часть его архива. То, что осталось, он в 1934 году продал Литературному музею (позднее эта коллекция оказалась в Центральном государственном архиве литературы и искусства) и это было последнее действие Баранова, о котором есть документальные свидетельства. Что стало с ним потом, сколько он еще прожил, где и отчего умер, остается пока неизвестным.

Собирать московский городской фольклор Е. З. Баранов начал, едва поселившись в «первопрестольной», еще до Германской войны, но записей этого, вообще дореволюционного, периода почти не сохранилось. После 1917 г. наступил перерыв: ни самому Баранову, ни его потенциальным «информантам» было не до рассказов о старине. Лишь в начале 1920-х годов фольклорная работа возобновилась и в немалой степени ее стимулировало активное участие Евгения Захаровича в обществе «Старая Москва», по заказу которого он производил и целенаправленные поиски (в частности, сбор легенд о русских писателях, особенно о Пушкине и Толстом). Его доклады в «Старой Москве» о собранных материалах вызывали у слушателей неизменный и живой интерес и были, в сущности, почти единственным способом хоть как-то обнародовать находки.

Под маркой общества была опубликована и единственная послереволюционная книжка Баранова «Московские легенды», маленькая, в полсотни страничек небольшого формата, увидевшая свет в 1928 г.

Все остальные подготовленные им сборнички, как и публикации, предлагавшиеся в журналы и газеты, по своей, видимо, «идеологической невыдержанности», особенно энтузиазма у издателей не вызывали. Лишь изредка ему удавалось напечатать то там, то здесь небольшие записи, главным образом, народных песен, считавшихся запрещенными при «старом режиме», но это всерьез ситуации не меняло.

Основной массив уцелевших московских записей относится к 1920-м годам, когда ни Москва, ни москвичи еще не были всерьез обезображены «социалистическим строительством», когда надломленный потрясениями военных и революционных лет быт еще держался и сохранял черты подлинного, старомосковского уклада, когда речь москвичей, хотя и тронутая слегка «цивилизацией» с ее «ученым» и «заковыристым» словарем, все же почти не была изуродована отвратительным новоязом и сохраняла плавность, красочность и языковое богатство, почти утраченное позднее.

Особую ценность записям Баранова придает то, что в большинстве случаев он не отрывал собственно легенды от рассказчика и от той обстановки, в которой происходил рассказ. Эти вспомогательные для автора пояснения кажутся теперь ничуть не менее, а иногда и более интересными, чем собственно легенды: они насыщают повествование массой колоритных бытовых и психологических деталей, жанровых сценок, типов, выразительных словечек.

Своих героев Евгений Захарович по большей части встречал в дешевых харчевнях и чайных, где и сам был завсегдатаем. Отсюда, из долгих застольных бесед за чайком и водочкой, приходило пополнение в его коллекцию. Собеседники его происходили из самых низов Москвы — мастеровые, дворники, уличные торговцы, извозчики, нищие, поденщики, домашняя и трактирная прислуга, бродячие музыканты и певцы.

Коренных москвичей среди них почти не встречалось; почти все они были вчерашними крестьянами, почти все отдали дань беспокойной страсти к перемене мест, точно эпидемия, охватившей низовую Россию в середине прошлого века, и, словно восполняя предшествовавшие столетия вынужденной крепостной оседлости, вовлекшей огромные массы людей в бесконечное «броуновское движение», лишённое видимой цели. Героев Баранова долго гоняло ветром по всей России, пока не прибило в Москву, которая поглотила их, обтерла, отшлифовала и наложила в конце концов особенный, только ей присущий отпечаток. Все они хватившие лиха, бывалые люди; немногие имели постоянную работу, знали толк в каком-нибудь ремесле, — большинство сменило за свою жизнь по нескольку занятий, прошло войну, порой и не одну...

Барановские пояснения дают возможность довольно полно представить себе внешний и внутренний мир этих людей, бытовой и семейный уклад, образ жизни, мировоззрение, этические и эстетические представления; их крепкий крестьянский практицизм, их искреннюю веру, соединенную со стихийным антиклерикализмом,

их простодушное уважение к «учености», но не к «книжной», а к такой, которая проверяется практикой, их отношение к труду, к женщине, их юмор... Ни этих людей, ни их мира более не существует.

Центральное место в фольклорной коллекции К. З. Баранова занимают легенды и предания о московской старине, о ее достопримечательностях — Кремле, храме Василия Блаженного, Александровском саде, Марьиной роще, Сухаревой башне — и знаменитостях: градоначальниках, богачах, адвокатах, благотворителях. Есть среди них истории чисто баснословные, есть и приукрашенные народной фантазией были. На одном из легендарных циклов хотелось бы остановиться подробнее. Его герой — один из самых популярных в XIX — начале XX века в Москве фольклорных персонажей, носящий, однако, имя реально жившего человека — «колдун Брюс». Он был настолько известен и любим, что отголоски сочиненных о нем легенд, правда, вялые и лишённые живости и былого блеска, можно и сейчас еще услышать в районе Басманных улиц или на пепелище подмосковной усадьбы Глинки, близ станции Монино, когда-то принадлежавшей историческому графу Брюсу.

Яков Вилимович Брюс родился в 1670 году, происходил из старинного шотландского рода, занимавшего одно время королевский престол. Его отец, Вильям Брюс, вынужден был покинуть родину во время правления Кромвеля и при царе Алексее Михайловиче переселился в Россию. Один из сыновей Вильяма, Роман, был первым петербургским обер-комендантом; под его наблюдением возводилась Петропавловская крепость.

Яков Вилимович участвовал в большинстве военных походов петровского времени, сопровождал Петра в заграничном путешествии. Он дослужился до чина генерал-фельдцейхмейстера. В 1717 г. был сделан президентом Берг- и Мануфактур-коллегии; в 1721 г. получил графский титул. Вместе с гр. А. И. Остерманом участвовал в мирных конференциях со Швецией и подписывал Ништадтский мир, подведший черту под Северной войной.

Сохранились сведения о том, что Петр собирался дать Брюсу чин действительно тайного советника, но тот отговорил его, указывая, что ему, лютеранину и иноземному уроженцу, неудобно носить в России такое высокое звание. Вследствие этого при Петре иностранцам чинов первого класса не давали.

Как и большинство соратников Петра, Брюс был человеком неумеренной энергии и широких интересов и делил свое время между военной, дипломатической и научной деятельностью. Он занимался математикой, физикой, астрономией, вел географические изыскания, переводил с немецкого и английского языков ученые книги. При Московской Навигацкой школе, размещавшейся в Сухаревой башне, им была устроена первоклассная по тем временам обсерватория. В. Н. Татищев называл Брюса человеком «высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти».

Под началом Брюса в петровское время находилось все типографское дело России. В 1709—1715 гг. под его надзором был выпущен в свет первый русский гражданский календарь, содержащий кроме святцев также астрономические сведения, и составленный по иноземным источникам астрологический прогноз на 1710—1821 годы. Составителем календаря был царский библиотекарь Василий Киприянов, Брюс лишь «надзирал» за изданием, но и его имя было проставлено на титульном листе. Календарь, а в особенности помещенные в нем предсказания возбудили неожиданно большой интерес читателей и вызвали к жизни многочисленные подражания, ничего общего уже не имевшие с «Брюсовым календарем», но выходившие под его маркой, что придавало им солидность и вес.

Задолго до 1726 года, когда, выйдя в отставку после смерти Петра, Брюс окончательно осел в Москве (чаще, впрочем, предпочитая ей подмосковную, Глинки), о нем поползли интригующие слухи.



В его окнах по ночам горел свет, в комнатах шумели и сыпали искрами невиданные приборы, громоздились на столах таинственные книги в черных кожаных переплетах, реторты и колбы для химических опытов — все это заставляло подозревать колдовство и чернокнижие.

Брюс и сам не упускал случая поддержать такую свою репутацию. Пригласив однажды летом в Глинки гостей, он проделал у них на глазах эффектный химический опыт, превратив с помощью какой-то очень сильной реакции небольшой усадебный прудик в ледяной каток и предложив освежиться в жаркий июльский полдень катаньем на коньках (отголоски этого эпизода читатель без труда обнаружит в одной из публикуемых легенд).

Умер Брюс холостым и бездетным в 1735 году и после его смерти его фигура стала обрастать все новыми баснословными и фантастическими подробностями, сложившимися затем в несколько устойчивых легендарных сюжетов, коим суждена была долгая жизнь.

В Москве Брюс жил в Немецкой слободе, на Вознесенской улице (нынешней ул. Радио), близ Горохова поля. Дом его стоял неподалеку от немецкой кирхи. Здесь же, у кирхи, Брюс и был похоронен. Ни дома, ни могилы, ни кирхи ныне не существует, но дух Брюса продолжает незримо витать над этими местами, простирая свое влияние и на Басманную слободу, и на Красное село, и даже на Лефортово. Еще в эпоху романтизма русские литераторы учуяли явственный запах чертовщины, веявший в этих местах. Антоний Погорельский развернул здесь действие двух фантастических своих повестей — «Исидора и Анюты» и «Лафертовской маковницы». На Басманной, до переезда на Никитскую, жил пушкинский гробовщик.

Впоследствии традиция была продолжена и завершена блестящей фантазмагорией А. В. Чаянова «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина...», где и сам граф Брюс является на сцену и строит козни главным героям.

Истинное место, где стояло жилище Брюса, со временем забылось, но московская молва быстро нашла невдалеке другой дом, который и нарекла Брюсовым. Это дом на Разгуляе, точнее — на углу Елоховской (ныне Спартаковской) улицы и Добро-слободского переуллка, в котором до революции размещались Вторая московская мужская гимназия, а ныне находится МИСИ. С момента постройки и до 1834 года дом принадлежал семейству графов Мусиных-Пушкиных и вошел в историю главным образом тем, что в нем хранилась и пропала в 1812 г. единственная дошедшая до нового времени рукопись «Слова о полку Игореве».

В конце XVIII в. один из Мусиных-Пушкиных (впрочем, не из тех, что владели домом) женился на внучатой племяннице Я. В. Брюса Екатерине Яковлевне Брюс. Их потомки стали именоваться Мусиными-Пушкиными-Брюсами. Этой приставки к фамилии оказалось достаточной, чтобы в сознании москвичей здание сделалось «домом колдуна Брюса».

В овеванном столь мрачной и романтической славой доме стали искать зловещие черты — и нашли, как водится. На фасаде, между окнами второго этажа красовалась вмурованная в стену белая продолговатая доска странной трапециевидной формы с нанесенными на ней загадочными знаками.

В 1930 е годы специалисты, объединенные в обществе «Старая Москва», занимались изучением доски и в феврале 1926 г. А. М. Васнецов сделал на заседании общества специально посвященный ей доклад. Доска представляла собой своеобразный «вечный календарь». Ее пространство было разделено крестообразно линиями на четыре части. Вокруг Центральной вертикали была выбита ось в виде восьмерки; верхняя половина более выпуклая и короткая, нижняя — узкая и вытянутая. По сторонам восьмерки, иссеченной делениями, начертаны названия месяцев: наверху зимних и осенних, внизу —

весенних и летних. В середине, на пересечении креста, был когда-то стержень, к началу XX века уже сломанный. Действовал календарь подобно солнечным часам: в полдень тень падала на деление, соответствующее определенному числу того или иного месяца. На полях доски были нанесены астрологические символы и еще какие-то полустертые знаки, трактовать которые Васнецов затруднялся. Да и вся доска к этому времени была уже в плохом состоянии и изображения почти не различались, что делало их в глазах москвичей еще более загадочными и интересными.

Эта доска на «Доме Брюса» оказалась средоточием всего таинственного, что связывалось с его предполагаемым владельцем. Ее форма (похоже на крышку гроба), и выбитый на ней крест, и не поддающиеся истолкованию знаки — все это навело сладкую жуть на москвичей. Рассказывали, что доска обозначает скрытую за ней потайную комнату, которую как ни пытались найти, все не удается, а уж когда найдут ее да откроют, то в ней чорт знает что может оказаться: может, Брюсовы сокровища спрятаны, а может — гора скелетов, а может, и сам Брюс найдется — живой или мертвый. (Сейчас возникло унылое «совковое» продолжение этого сюжета: будто бы во время субботника (!) студенты МИСИ обнаружили-таки эту комнату и ничего в ней не нашли).

Говорили и другое: что таинственные знаки — это составленный Брюсом ребус, в коем зашифрованы места всех зарытых им многочисленных кладов. Многие-де пытались разгадать этот ребус, да не выдерживали и сходили с ума. В конце концов московское начальство, обеспокоенное таким ростом числа душевнобольных, приказало ребус сбить, а основание его забелить... Много и другого рассказывали, о чем читатель прочтет ниже...

С именем Брюса связывалась в московском предании и Сухарева башня. Целый ряд таких легенд в записи Е. З. Баранова читатель также найдет в этой книге.

Еще один большой цикл, над которым Баранов работал в 1920-х гг., был посвящен русским писателям. Из его рассказчиков далеко не все были грамотны, а из грамотных — не все книгочеи. Тем более интересно оказалось проследить, как воспринимались в этой малопросвещенной среде самые громкие писательские имена, что о них было известно и в какой форме.

Круг упоминаемых в записях имен невелик: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой. Пушкину и Гоголю в Москве стояли памятники, их знали все, даже не читавшие ни строчки ни Пушкина, ни Гоголя. Толстой был знаменит благодаря активно ведшейся на рубеже XIX—XX вв. правительством и церковью «контрпропаганде». Толстого большинство знало как вероучителя, лишь немногие из барановских персонажей знакомы с Толстым-писателем, и то в основном лишь как с автором народных рассказов. Другие литературные имена, даже такие крупные, как Лермонтов, Достоевский, Некрасов, в московском фольклоре, собранном Барановым, почти не встречаются.

Обстоятельства жизни реального, живого Толстого были довольно хорошо известны народной массе и не так уж много оставляли возможностей для мифотворчества. Толстой был в этой среде объектом не столько легенды, сколько суждений. О Пушкине и особенно Гоголе таких реальных фактов было известно гораздо меньше — и потому оба они предстают в записях Баранова как персонажи вполне мифические, причем, если о Гоголе легенд ходило немного, то о Пушкине их рассказывалось множество — как полностью фантастических, так и таких, где реальность мешалась с вымыслом. Можно сказать, что еще до появления пресловутой серии анекдотов о Пушкине он уже прочно обосновался в фольклорной среде, как героический и страдающий персонаж (а позднее произошло лишь комическое «снижение» образа).

Как писатель Пушкин народным воображением почти не воспринимался. Это, в первую очередь, был человек, который заслужил, чтобы ему поставили памятник. Практически никому из рассказчиков и в голову не приходит, что памятник могут

поставить стихотворцу. Конечно, если уж человек удостоился такой чести, то за что-то великое, необыкновенное: застроил Москву, завел в ней порядок, помогал править государством, был самым умным из людей, стоял за правду, за народ и за это сидел в тюрьме... В нем все должно быть исключительно — и происхождение, и жизнь, и смерть («до пули роковой довела злодейка-жена»).

Смутные слухи об иноземной примеси в крови Пушкина претворяется народной фантазией в категорическое утверждение, что «русской крови в нем и капли одной не было: немецкая и арапская кровь была»; слухи о лицейской учебе — в то, как «ему только десятый год пошел, а он уж всю профессорскую науку одолел» и т. п. Легендарный Пушкин тоже, конечно, пишет книги, но по преимуществу не стихи, а такие, в которых учит, чтобы люди «жили без свары, без обмана, по-хорошему»...

Далеко не все сюжеты, собранные под обложкой этой книги, могут быть названы «легендами» в истинном смысле этого слова: есть здесь и вполне реалистические устные рассказы, и очерки, и то, что можно было бы назвать «монологами», но все они в той или иной степени освещены блеском народной фантазии, а мир города и горожан, изображенный в них, ныне настолько изменился, что и реальность, запечатленная Е. З. Барановым, кажется теперь фантастичной. Именно потому мы оставляем за этой книгой то название, которое было ей дано самим автором: «Московские легенды».

«Московские легенды» Е. З. Баранова публикуются в основном впервые, по авторским рукописям и авторизованным машинописным копиям, хранящимся в фонде Е. З. Баранова (Российский государственный архив литературы и искусства, ф. 1418, оп. 1, ед. хр. X 3, 4, 5, 7, 17) и в фонде П. И. Миллера (Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, ф. 134, ед. хр. 196). В издание 1928 г. из них вошли только четыре сюжета («Иван Грозный и Малюта Скуратович», «Постройка Кремлевских стен в Москве», «Храм Василия Блаженного» и «Проклятый дом»). При подготовке к переизданию они заново сверены с авторскими рукописями.

Орфография и пунктуация текстов в основном приближена к современной; сохранены лишь те языковые особенности, которые характерны для речевой манеры рассказчиков. Тексты публикуются полностью; незначительным сокращениям подвергнуты только примечания Е. З. Баранова, главным образом, в тех случаях, когда он делает отсылку или пересказывает сюжеты, включенные в настоящее издание, либо указывает на общеизвестные факты (например, в сюжете «Пушкин и Гоголь» на то, что Гоголь никогда в жизни не сидел в тюрьме, а также не мог присутствовать при кончине Пушкина, ибо был за границей, и т. п.).

В. БОКОВА

## Легенды о графе Брюсе

### Брюс и вечные часы

Про этого Брюса мало ли рассказывают! Всего и не упомнить. Я еще когда мальчишкой был, слышал про него, да и теперь, случается, говорят. А был он ученый — волшебством занимался и все знал: и насчет месяца, солнца, и по звездам умел судьбу человека предсказать. Наставит на небо подзорную трубу, посмотрит, потом развернет свои книги и скажет, что с тобой будет. И как скажет, так и выйдет точка в точку. А вот про себя ничего не мог узнать. И сколько ни смотрел на звезды, сколько ни читал свои книги — ничего не выходит.

— Вижу, говорит, один туман.

Ну, все-таки хотел добиться. Мучился-мучился, да уж потом откровение во сне ему было. Сам рассказывал.

— Приходит, говорит, неизвестный старец и пальцем погрозил:

— Ты, говорит, сверх меры хочешь захватить. А ты, говорит, будь тем доволен, что тебе дано. А ежели, говорит, будешь пытаться сверх указанного, все отыметса и будешь ты наподобие пня или чурбана...

Ну, он после этого и остыл...

Ладно, говорит, что будет, то будет...

А про других хорошо узнавал. Вот и насчет погоды... Ведь это он календарь составил, все распределил по дням, по месяцам, по годам... Вот потому-то и называется «Брюсов календарь» [1]. А в отношении погоды брал он от птиц, животных... и от природы брал — от зари, облаков. Взять хоть воробья. Ну, какая из него птица? Ни пения, ни красоты... щелкни его по башке, он и подохнет... А ведь как погоду предсказывает! Ежели назавтра ведро, так он тут и давай прыгать «жив-жив» и весь такой пушистый станет. А ежели к дождю, то молчит, насупится. Тоже и ворона... Ну, эта как закаркала, то обязательно дождь или снег пойдет. От этого чорта не жди ясного дня...

Вот Брюс и примечал все. Да тут много из своей головы брал. Но только не в календаре дело, а тут все больше по волшебству он работал, тоже вот и машины выдумывал. И, жил он при Петре Первом, Петре Великом. В Сухаревой башне [2] ему помещение было отведено, там и составлял разные порошки, составы. Книги у него редкостные были, вот из них-то он и брал. Конечно, без ума не возьмешь, а у него ум обширный был.

Ну, всего не упомнишь, что он повыдумал. А вот насчет вечных часов я знаю хорошо, это помню, как все дело произошло. И трудился он долго, может, лет десять, а все-таки выдумал. И такие часы выдумал, что раз завел их — на вечные времена пошли без остановки. И как завел он их — ключ в Москву-реку забросил. И как был жив Петр Первый и Брюс был жив, то часы шли в полной исправности. Из-за границы приезжали, осматривали. Хотели купить, только Петр не согласился.

— Я, говорит, не дурак, чтобы брюсовские часы продавать. Ну, те и утерлись, — отъехали ни с чем.

Ну, значит, при Петре и при Брюсе ходили часы. А стала царицей Екатерина, тут и пришел им конец. Конечно, затея глупая, женская.

— Мне, говорит, желательно, чтобы ровно в двенадцать часов дня из нутра часов солдат с ружьем выбежал и кричал:

— Здравия желаем, Ваше Величество!

Это вроде как раньше были часы с кукушкой: «дон... ку-ку... дон...ку-ку...». А то еще с перепелом: «Пить пойдем... пить пойдем...» Так это что же? Это штука не мудреная, это кто знает — может устроить, тут такой механизм. А вечные часы для этого не годятся, они не для того сделаны, чтобы на птичьих голоса выкрикивать или чтобы солдаты с ружьем выбежали... Они для вечности сделаны, чтобы шли и чтобы веку им не было. А Екатерина в этом деле ничего не смыслила. Она так полагала: постучат молотком и готово дело. Ну, а вразумить-то ее некому было. Министры эти — «слушаем, говорят, все исполнено будет». Тоже — ветер в голове погуливал. Ну как можно так говорить, ежели не знать механизма? Они думали: стоит только сказать, и все готово будет. И приказали привести самого лучшего мастера. Вот разыскали немца. Пришел и только глянул на часы, а уж говорит:

— Можно. Но только, говорит, я меньше пяти тысяч не возьму, и чтобы мне квартира при дворце и чтобы харчи первоклассные.

А министры говорят:

— Все будет, делай.

Вот и начал немец делать. Осмотрел часы.

— Дурацкая, говорит, работа. Это, говорит, дурак делал.

Ну ладно, пусть будет дурак. Посмотрим, как ты, умная голова, станешь делать...

Вот он разобрал часы и начал мудрить. Дня три проработал — ничего не выходит. Приходят министры.

— Сделал, спрашивают, солдата?

А немец сердится:

— Я, говорит, не волшебник, чтобы в такой короткий срок солдата сделать.

Ну, министры говорят:

— Ладно, делай, не станем мешать, — и пошли...

А немцу не везет: никак не может потрафить в точку. Не спорится дело... Начал по-своему механизм переделывать. А толку нет. Кушанье каждый день хорошее: курятина, поросятина, индюшатины, разные там супы да макароны. Ну, и вина вдоволь. Вот прошел месяц, идет сама Екатерина.

— Ну что, сделал? — спрашивает.

Тут немец и признался:

— Никак, говорит, не могу поставить на точку зрения. Вот Екатерина видит, что зря была ее затея и говорит:

— Не надо делать солдата, собери часы, как они были.

— Это можно, — говорит немец.

А какое там «можно»! Три недели собирал и ничего не вышло. А потому и не вышло, что он брюсовские пружины изломал, винты изломал, колеса искалечил, маятник тоже испортил. А которые сам сделал пружины — они не годятся, ломаются. Видят министры: не выходит у немца дело. Докладывают царице.

— В шею, говорит, немца, а найдите такого, который мог бы собрать часы.

Вот взяли немца за рукав, вывели за ворота, да и дали по шее. Он и полетел торчком головой. После того многие мастера приходили. Посмотрят, понюхают и отвернут морду, не по зубам кушанье. Но все же отыскался один такой русский разудалый

молодец — у хозяина в подмастерьях служил. И взял он на себя такую отвагу, чтобы часы в полный порядок привести.

— Все, говорит, в лучшем виде исполню, только чтобы мне награда царская была и чтобы харчи хорошие.

Министры и рады:

— Все будет, и награду деньгами дадим, и золотую медаль, только собери часы. А насчет харча, говорят, не беспокойся.

Вот и принялся тот мастер работать. И стучит, и гремит, и пилит, и молоточном пристукивает, и припаивает, и меха у него горят — жар раздувают... И на весь дворец напустил дыму, копоти этой. Вот приходят министры. Видят — суетится человек, работа так и кипит у него.

— Вот, говорят меж собой, мастер так мастер, не сравнивать с немцем.

— Ну как? — спрашивают. — Подвигается? А тот и говорит:

— У нас подвинется. Мы, говорит, знаем дело. Тут, говорит, разве такая пружина нужна? А колесо? Нетто это колесо? Это лабуда, а не колесо. А министры одобряют его:

— Это, говорят меж собой, настоящий спец.

Тут сейчас один министр побежал, припер ему бутылку вина.

— Пей, говорит, на доброе здоровье!

Ну, тому это и на руку — высосал всю бутылку. В башке зашумело, он и давай свою специальность оказывать: чего немец не успел изломать, так он докончил. А министры бегут к царице:

— Так и так, докладывают, очень хорошего мастера мы отыскали: работа так и кипит. Часы скоро готовы будут.

Царица и рада.

— Ну, и слава Богу, — говорит.

А этот «хороший мастер» стучал, стучал молотком, видит: дело не подвигается вперед, и не знает, что тут делать, как тут быть, как тут горю подсобить. По его расчетам дело пустяковое, а примется собирать часы — ничего не выходит. И сам он за этой работой обалдел и стоит истукан-истуканом, на эти винты, гайки да колеса смотрит, бельмы свои вытаращил...

Оно и понятно. Брюс над этими часами 10 лет мозговал, а этот чертогон за месяц захотел в порядок привести их. А главное — не тот состав у него в голове был.. У Брюса-то ум какой был? Один на всю Россию... Ну, может Петр Первый превышал его. Да и как сказать? В одном-то деле и превышал, а в другом не доходил... Ну, а у этого похвальбишки какой-такой ум? Глупость одна. А раз в башке нет, из... спины не достанешь: спина есть спина — такой и почет ей. Вот в чем тут дело.

А министрам не терпится, хочется, чтобы он поскорее собрал часы. Идут к нему. А тот уже вделся\*, инструменты сложил в сумку — собрался уходить.

— Ну, как? — спрашивают министры.

— Хитра механика! — говорит хваленый мастер. — Тут, говорит, и сам чорт ничего не поделает, а уж где мне: мое дело маленькое.

Тут министры и приступили к нему:

— А как же, говорят, подлая твоя душа, ты хвалился, что сделаешь?

— А он отвечает: — Что ж из того, что хвалился? Спервоначала, говорит, я думал, что штука тут не важная, а на поверку вышло — не нашего ума это дело.

Тут один министр развернулся — бац его в ухо! Тот и завертелся кубарем. А другой министр вцепился ему в волосы и давай таскать. И принялись они тут вдвоем разделять своего «спеца»: один за патлы теребит, другой то в ухо засмолит, то по зубам стеганет... И невмочь стало мастеру, и тут заорал он на все горло:

\* Так в тексте. — Примеч. составителя. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, все подстрочные примечания, как и примечания в конце отдельных сюжетов, принадлежат Е. З. Баранову.

— Караул! Убивают!

И вышел переполох на весь дворец. Бежит царица, бегут генералы:

— Что это такое? — спрашивает царица. — За что бьете мастера?

А министры говорят:

— Его, подлеца, убить мало! Нешто, говорят, это мастер? Это мазурик, он и нас, и вас обманул, с первого раза обнадежил, соберу, мол часы, а теперь пошел на попятную, «не моего, говорит, ума дело».

— Ну хорошо, — говорит царица. — Я это дело разберу, — и приказала взять мастера под арест.

И посадили этого поганца за решетку. Потом такое определение сделала Екатерина: министров со службы вон, а мастеру дать сто розог. Ну, разложили его степенство и нарисовали ему на спине разгонами\* и маятники, и пружины, и колеса, потом с зашейным маршем проводили из дворца. Так он, словно окаянный, бросился бежать, как будто собака бешеная гналась за ним. И после такой прокламации баста хвалиться, только одно и знал: «наше дело маленькое». Вот как градусник понизился! А то «я» да «мы». А что такое «я»? Прохвост, и больше ничего. Только людям голову морочить можешь. Много таких «спецов» — свиньям хвосты закручивать! А ежели ты не брешешь языком, а с умом дело свое делаешь, то ты и есть настоящий спец. И цена тебе настоящая. Тоже вот и с брюсовскими часами: ну как можно было их разбирать да исправлять, ежели ты ихнее устройство не знаешь? После-то Екатерина каялась, сколько потом выписывала она этих мастеров! Только результату не вышло настоящего. Да и как ему выйти-то? Ведь каждый по-своему крутил, завинчивал, да молотком пристукивал. Ну и докрутились, достучались — все изломали, исковеркали и уж понять нельзя было — часы ли это были или еще какая машина. И лежали, лежали эти пружины да колеса, да и выбросили их, чтобы глаза не мозолили. После-то ученые кинулись их искать, да где найдешь, ежели от них и звания не осталось? Человек столько ума положил, а тут такое хамское обращение. Вот и толкуют: «Брюс», «Брюс»...

Ну, Брюс-то, Брюс, а вот мы-то и не можем ценить его... Ну, что осталось после него? Все изломали, все испакостили. Вот только Сухаревская башня осталась, да, говорят, еще книги. Только говорят, а доподлинно-то никто не знает...

*Записано в Москве в августе 1924 г.; рассказывал рабочий-штукатур Егор Степанович Пахомов.*

## Как Брюс из старого человека молодого сделал

В Сухаревой башне жил этот Брюс. Ну, тут только банки стояли с разными составами да подзорные трубы, а главная мастерская у него была в подземельи — там и работал по ночам. Мастер на все был. Вот раз взял, да и сделал горничную из цветов. Настоящая девушка была: комнату убирала, кофий подавала, только говорить не могла. Приходит царь Петр Великий.

— Хороша, говорит, у тебя служанка, только одно плохо — не говорит. Немая, что ли? — спрашивает.

А Брюс говорит:

— Да ведь она не рожденная. Я, говорит, из цветов ее сделал.

А царь не верит:

— Полно, говорит, зря языком трепать, мыслимое ли это дело?

— Ну, говорит Брюс, смотри!

---

\* Так в тексте. — Примеч. составителя.

Вынул из головы служанки булавку, она вся рассыпалась цветами. Царь и смотрит, дескать, что это за чудо такое?

— Как, говорит, ты этого добился?

— Наукой, — говорит Брюс.

— Да ведь наука науке рознь, — говорит царь. — Может, волшебством? Ты, говорит, лучше признайся.

А Брюс ему отвечает:

— Мне, говорит, нечего признаваться. Вот мои книги, вот составы, смотри сам.

Посмотрел Петр книги. Видит — книги ученые. А Брюс не все книги показал ему: самые главные по волшебству были спрятаны в подземельи, тринадцать штук. Очень редкие и тогда были, а теперь и не найти. Но Петр все же не поверил ему. А без волшебства тут ничего не поделаешь. Только ведь это не такое волшебство, вроде колдовства. Это в деревне раньше были колдуны. Действительно, попадались знатоки... И так у них заведено было: от отца сыну передавалось, весь род — все колдуны были. Но до Брюса им далеко. Есть и теперь в деревне, только не колдуны, а выдают себя за колдунов, и не от науки действуют, а наобум святого Лазаря. Иной-то дурулом поймает лягушку и примется шилом ей голову колоть.

— Мне, говорит, надобно достать лягушьи мозги, чтобы сделать лягушье масло.

А для чего, спроси. Он и не скажет — сам не знает. Он слышал звон, да не знает, откуда он. Тут не каждая лягушка годна, а нужна жаба, да и не мозги ее требуются, а сердце. Положат ее в муравейник, муравьи и объедят ее. Да ведь все с умом надо делать, а не на авось. Тоже вот и травы: надо знать, какая против какой болезни действует. А то дадут тебе такого настоя, что ты на стену полезешь или станешь на людей кидаться. На все надо наука, но только без ума и наука ни к чему.

Тоже вот и Брюс: науки науками, а ум-то у него все разрабатывал. И все доступно было ему. Квартира его была на Мясницкой — жена там жила. И по сей час дом этот цел, гимназия там раньше была. [3] Так вот Брюс сделал вечные часы и замуровал в стену. И до настоящего времени ходят эти часы. Приложишься ухом к стене и слышишь, как стучат: тик-тук... тик-тук... А сверху вделал в стену такую фигуристую доску, а к чему — неизвестно. Ну, думает хозяин, к чему эта доска? Долой ее! Начали выламывать — не поддается. Позвали каменщика. Он стук киркой, а кирка отскочила, да его по башке тоже стук! Каменщик удивляется:

— Что за оказия? — говорит.

Да тут хозяин проговорился.

— Эту, говорит, доску еще Брюс вделал.

Тут каменщик и принялся ругать хозяина.

— Чего же, говорит, ты раньше не сказал мне об этом? Пусть, говорит, чорт выламывает эту доску, а не я! — и ушел.

Хозяин и приказал закрасить доску. Ну, выкрасили, а ее все еще видно. И вот тут что главное: как быть войне, доска становится красной. Перед японской войной замечали, перед германской... Закрашивали ее сколько раз, она все выступает. А где подъезд — медная доска прибита и на ней какие-то буквы вырезаны, и тоже неизвестно для чего. Приходили профессора, смотрели:

— Это, говорят, Брюсова работа, а что означает — ничего, говорят, не можем понять.

А ведь, гляди, не даром же прибита доска?..

Ну, это все не то. А вот как он из старого человека молодого сделал — это, действительно, чудо из чудес... Работал-работал, и добился-таки — выдумал эти составы. Сперва-наперво он над собакой сделал испытание: розыскал старую-престарую собаку, да худющую такую — кости да кожа. Притащил он этого пса в подземелье, из-



рубил на куски, потом перемыл в трех водах. После того посыпал куски порошком и снова они срослись как следует, по-настоящему. Вот он полил на ту собаку из пузырька каким-то составом, и сейчас из нее получился кобелек месяцев шести. Вскочил на ноги, хвостом замахал и давай вокруг Брюса бесноваться. Известно, малыш: ему бы только поиграться. Тут Брюс и обрадовался:

— Наше дело на мази! — говорит. — Теперь всех стариков сделаю молодыми, пусть живут.

А этот кобелек так и остался при нем; как вечер, сейчас взберется наверх и поднимет брех: тьяв-тяв... тьяв-тяв...

А народ, который мимо идет, поскорее бежать: думает, что это Брюс собакой обернулся и свою башню сторожит. Понятно, не знали, в чем тут дело.

Вот приходит к нему царь Петр и говорит:

— Где ты достал такого славного кобелька? А Брюс говорит:

— Это я его из старой собаки переделал.

— Как так? — спрашивает царь.

Брюс все рассказал ему, а царь не верит.

— Ну, хорошо, — говорит Брюс, — приведи ко мне самого старого старика; я из него сделаю молодого парня.

Вот царь сделал распоряжение.

Отыскали такого старючего деда, что он и лета свои позабыл считать и ходить не может, не слышит ничего. В носилках притащили его в башню, спустили в подземелье. Вот как царская прислуга ушла, Брюс изрубил в куски старика, перемыл в трех водах, посыпал порошком. Вот видит царь: ползут эти куски один к другому, срастаются. И видит, лежит целый дед... Тут Брюс полил из пузырька, и вместо этого деда поднимается молодой парень. Встал, стоит и смотрит. Тут Петр очень удивился и думает: «Наяву ли я или во сне?» Потом приказывает выгнать этого парня. Брюс и выпроводил его, ну, может, дал ему рублишко-другой... Потом натравил на него кобелька. Как принялся кобелек за икры хватать, так этот парень, точно полоумный, бросился бежать.

После этого Петр и говорит:

— А ты брось свою затею, чтобы из стариков делать молодых.

— А почему бросить? — спрашивает Брюс.

— По этому, по самому, — говорит Петр, — что из этого кроме греха ничего не выйдет. Ведь если переделать стариков на молодых, тогда и смерти не будет человеку. И как, говорит, тогда жить? Ведь ежели теперь люди грызутся, то тогда, говорит, за каждый вершок земли станут резаться. А с человека довольно и той жизни, какая ему определена. Ты, — говорит, — уничтожь эти порошки и составы и больше не занимайся таким делом.

Брюс послушался, уничтожил. Только он тут другую штуку придумал: сделал из стальных планок и пружин огромнейшего орла. Сядет на него верхом, придавит пружинку, орел и полетит. И сколько раз летал над Москвой. Народ и высыпет, задерет голову и смотрит. Только полицмейстер ходил к царю жаловаться на Брюса.

— Первое, говорит, от народу нет ни прохода, ни проезда. А второе, говорит, приманка для воров: народ, говорит, кинется на Брюсова орла смотреть, а воры квартиры очищают...

Ну, царь дал распоряжение, чтобы Брюс по ночам летал. А говорят, не знаю, правда ли, что нынешние аэропланы по Брюсовым чертежам сделаны. Будто профессор один отыскал эти самые чертежи. И будто писали об этом в газетах...

Но только долетался Брюс на своем орле. Полетел раз и не вернулся: унес его орел, а куда — никто не знает. Царь жалел его:

— Такого, говорит, Брюса больше у меня не будет. И верно, не было ни одного такого ученого.

*Рассказывал в Москве в марте 1923 г. маляр Василий. Фамилия его мне неизвестна; рассказ происходил в чайной «Низок» на Арбатской площади, за общим столом.*

## Брюсовы чудеса

Брюс астроном был. У него на Сухаревской башне подзорные трубы стояли — по ночам смотрел на звезды, изучал. Это он определил, когда затмению солнца быть, когда луне... Он и календарь составил. Только все же главное занятие его — волшебство. Книги у него были очень редкие, древние. Ищут их теперь, только зря: они уже давно в Германии. Еще как только он помер, кинулись искать деньги, а у него денег-то всего-навсего сотня рублей была. Они же думали — у него миллионы имеются. Ну, взяли эту сотню, а на книги внимания не обращают — разбросали по полу бумаги, планы, топчут... Ну, не все же были тут вислоухие, нашелся один умный человек — немец, забрал книги, рукописания и гойда в Германию. Вот теперь эти аэропланы, телефоны, телеграфы — все по бумагам Брюса сделаны, по его планам и чертежам. Он дорожку первый проделал, а там уж нетрудно было разработать. Да и то сколько лет возились — все не выходило: в голове не хватало. Что Брюс один сделал, то сотня самых ученых профессоров разрабатывала. Башка не та! Теперь эти профессора, эти разные механики, разные спецы, техники, инженеры нос кверху задирают: «Мы сделали». — Вы? А кто дорогу вам показал? Откуда вы взяли программу? Зачем вы над брюсовскими бумагами свои головы ломали? К чему это вам понадобились Брюсовы книги и вы, как угорелые, мечетесь по всей Москве, ищите их? «Мы, говорят, от природы берем». А Брюс откуда брал? Не из чорта же лохматого брал, а тоже из природы. Ведь ежели не будет природы, то и ничего не будет. «Природа»! Ты вот ее сумей взять!

Тогда еще царь Петр был... И раз спрашивает:

— А скажи, говорит, Брюс, как на твое мнение: природа одолеет человека или человек природу?

А Брюс отвечает:

— Это глядя по человеку.

— Как так? — спрашивает Петр.

Тут Брюс выломал из улья сот меду и спрашивает:

— Знаешь, что это за штука?

— Мед, — говорит Петр.

— А как он делается, знаешь? — спрашивает Брюс.

— Да как? — говорит Петр. — Пчела летает по цветам, по травам, высасывает сладкий сок и несет в улей.

— Это ты правильно объясняешь, — говорит Брюс. — Ну а между прочим, и муха умеет высасывать сок, только отчего, говорит, ни сота не сделает, ни меда не принесет?

— Муха, — говорит Петр, — не работает, она жрет и пакостит.

— Ну, а муравьи? — спрашивает Брюс. — Ведь они только и знают, что работать, — этикие-то домины себе выбухивают. А какая от этого польза? А ведь тоже, говорит, мастера они вытягивать сладкий сок: брось им окурок — и нос завернут, а брось кусок сахара — то откуда только их, чертей, наберется — живо сожрут, только не сделают ни сахару, ни меду... Действительно, говорит, если их набить полную бутылку и поставить в вольный дух, то получится муравьиный спирт — от ревматизма хорошо помогает. Но только, говорит, и паук одобряет мух — вкусная пища для него.

Вот какую загадку загадал он Петру. Только Петр был башковитый.

— А это, говорит, вот отчего: ежели, говорит, пчела берет сок, то обрабатывает его: что нужно — тащит в сот, а что не нужно — бросает. А муравей и муха, хоть и высасывает сок, да не могут обработать его и жрут целиком.

— А почему не могут? — спрашивают Брюс.

— Потому не могут, — говорит Петр, — что им этого не дано.

Тогда Брюс и говорит:

— То же самое и с человеком. Дано ему — он одолеет природу, а не дано — не одолеет. Тут хоть сто лет трудись — толку не будет. Тут, говорит, важно, чтобы котелок твой варил, да и было бы чем варить.

Вот как он разъяснил «от природы берем». Она тому и дает, кто умеет варить.

Вот тот же Брюс сделал из цветов девушку: и ходила, и комнату убирала, только говорить не могла. Правда, долго работал, но все же сделал. Вот один граф увидел ее и полюбил — красавица была. Ну, знал, что она не может говорить, только так рассуждал, что и с ней можно жить. И пристал к Брюсу:

— Выдай замуж за меня свою девицу.

А Брюс отвечает:

— Да ведь она искусственная!

Граф не верит, пристал как банный лист к спине:

— Отдай, говорит, не то жизни лишусь и записку оставлю, что это ты меня до точки довел.

Ну, что с дураком делать? Взял Брюс из головы девушки шпинек — она вся и рассыпалась цветами. Тут граф испугался и кинулся бежать.

— Ну, говорит, к чорту его, этого Брюса! Он, говорит, еще возьмет, да превратит меня в медведя или волка! — И после того и близко к Брюсу не подходил.

А то еще и так бывало: среди лета, в самую жару, идет дождь и гром гремит... Вот Брюс выйдет на свою башню и давай разбрасывать направо, налево какой-то состав. И вот на тебе: валит снег! Молния сверкает, гром гремит, а снег сыплет и сыплет. Вся Москва в снегу! Форменная зима: снег на крышах, снег на земле, снег на деревьях... А гром гремит. Ну, известно, народ всполошится, испугается:

— Что это за чудо? — говорит.

Выбежит на улицу, видит — Брюс стоит на башне и хохочет. Ну, тут народ и поймет, что это его работа и примется ругать его, потому что для овощи вред от того снега. Только не долго снег лежал — час, не больше, ну, от силы два...

А вот дождь Брюс не мог остановить. Петр спрашивал его насчет этого.

— Нет, говорит, это невозможно. Я, говорит, все испробовал: что можно, то делаю, а чего нельзя, то и не пытаю.

Тоже вот — не понимал он птичьего языка. Ученый, волшебник и все такое, а вот не знал. Это только одному царю Соломону премудрому дано было. Тот знал. Но ведь Соломон — совсем другое дело: тот мудрец был, а волшебство ему ни к чему было. Соломон от природы такой был, а Брюс умом и наукой до всего доходил.

Вот не знаю, не могу объяснить, за что Брюс замуровал в стену свою жену. Квартировал он на Разгуляе. Дом этот и теперь еще цел, гимназия раньше в нем была. И вот говорят, будто в это доме в стене доска вделана. Сколько раз закрашивали, а ее все видно — не принимает краску. И будто в этом месте он замуровал свою жену, а за что, за какую вину — не знаю.

*Записывал в Москве в августе 1924 г. Рассказывал в чайной неизвестный мне старик-рабочий.*

## Смерть Брюса

Пропа́л Брюс через свою жену и ученика своего: они погубили его. Брюс был старый, а жена молодая, красивая. Ученик тоже старый был. Тут как раз в этом времени Брюс выдумал лекарство... ну такой состав, чтобы старого переделывать в молодого. А еще не пробовал, как он действует: удача будет или неудача? А на ком испытать? Думал, думал... Вот позвал ученика в подземелье. А у него в этом подземельи тайная мастерская была — никого в нее не пускал. И как позвал ученика, взял да и зарезал. Всего на куски изрубил, сложил в кадку, посыпал порошком. А сам рассказал, что будто рассчитал своего ученика, так как он ленивый. И целых девять месяцев в кадке лежали эти куски. Это как женщина носит ребенка девять месяцев, так и тут. Вот на десятый месяц взял он изрубленное тело, вывалил на стол, сложил кусок к куску, как было у живого. Как сложил — сейчас полил составом, куски все срослись. Он взял, из пузырька покапал. И поднялся ученик: был старый, стал молодой.

— Вот, говорит, как я спал долго!

А Брюс говорит:

— Ты спал девять месяцев. Ты, говорит, вновь родился.

— Как так? — спрашивает ученик. Брюс рассказал ему. А тот не верит.

— Это, говорит, белой кобылы сон.

Брюс и говорит:

— Когда не веришь — посмотри в зеркало.

Вот ученик посмотрел в зеркало, видит: совсем молодым стал.

— Это, говорит, такие чудеса, что и сказать нельзя. По наружности, говорит, я молодой, а по уму старый.

Вот Брюс и приказывает ему:

— Ты, говорит, смотри, никому не говори, что я сделал тебя молодым. И жене моей не говори. А рассказывай, что ты у меня новый ученик. Я буду то же говорить.

Потом стал он учить его, как переделывать старого на молодого.

— Это, говорит, для того учу тебя, что сам хочу переделаться на молодого. А когда, говорит, будут спрашивать, где Брюс, говори: уехал, мол, на девять месяцев, а куда — неизвестно. И жене моей не рассказывай про наше дело, а то она по всей Москве разнесет.

И взял с ученика клятву, что все исполнит как следует. И отдал он ученику эти порошки и составы. И после того ученик зарезал Брюса, на куски изрубил, в кадку положил, порошком засыпал. А сам молчок. Но только жена Брюсова, как увидела молодого ученика, сейчас полюбила его. Ну и он оказался тоже парень не промах. Одним словом, закрутили они вдвоем любовь. Ну, он тоже брех оказался: все выложил Брюсовой жене. А та говорит:

— Не надо переделывать Брюса на молодого. А будем, говорит, жить вместе: ты будешь заниматься волшебными делами, а я по хозяйству управлять стану.

Вот ученик и взял себе в голову:

— Это, говорит, верно. Я, говорит, довольно обучен и буду как Брюс.

Но только ему до Брюса было очень далеко: и сотовой части брюсовских наук не знал.

Ну, время идет. Народ удивляется:

— Что это, мол, Брюса не видать, не слышать? И царь Петр Великий спрашивает:

— Где это девался Брюс? Раньше, говорит, каждое утро с рапортом являлся, а теперь не приходит?

А это, значит, такой рапорт: что он за ночь выдумает, то утром докладывает царю. Вот пошли от царя узнать насчет Брюса. А ученик говорит:

— Уехал на девять месяцев, а куда — неизвестно.

Ну, те и доложили царю. И тут девять месяцев кончились. Вот ученик и Брюсова жена выложили изрубленное тело, сложили по порядку. Ученик взял, этим составом полил. Куски срослись. Вот он вынимает из кармана пузырек с каплями. А жена Брюсова вырвала у него пузырек, да хлоп! — обзёмь и разбила.

— Теперь, говорит, пускай Брюс Страшного суда ожидает — тогда воскреснет. Довольно, говорит, я помучилась за ним, бродягой, пососал он моей кровушки вволю.

А ведь брехала, потому что он не бил ее. А тут, видишь, такая вещь: она молодая, в ней кровь играет, а он старый. Она бесится, а он без всякого, может, внимания, потому что ему и без этого полон рот дела. Конечно, если правильно рассуждать, на что ему молодая жена? Но только она больше виновата: ведь видела, за кого ты выходила? Или тебе, чортовой лахудре, платком глаза завязывали, когда выдавали за Брюса? Но только у нас такого закона нет. А тут, видишь, простая штука: она думала, что через Брюса ей будет почет — дескать, народ станет говорить: «Вон идет волшебникова жена». А народу и дела до нее не было никакого. Действительно, самому Брюсу от всех почет и уважение, ну, многие и боялись. А Брюс с ней под ручку по бульвару не ходил на прогулку. Вот ее и брала досада, вот в чем тут дело. А больше всего, как она любила этого ученика, так и думала, что лучше его и на свете нет никого. Баба, и понятие у ней бабское.

И вот они вдвоем обрядили Брюса, в гроб положили и стоворились, как им брехать перед людьми. Вот она сейчас и подает известие:

— Головушка ты моя бедная!.. — завыла, заголосила...

Ну, народ стал спрашивать:

— Чего это Брюсиха завыла?

Ну, пришли люди, посмотрели — лежит Брюс в гробу... Ну, которые-то обрадовались: «А! — себе на думке. — Наконец-то черти забрали!» А все по глупости: думали, что он чорту душу продал. А тут только наука была. А которые понимали, те жалели и спрашивали:

— Когда помер? От каких причин?

Вот Брюсиха и принялась разводить свою брехню:

— Только, говорит, вчера приехал больной, а нынче помер.

Народ и верит. Смерть свое время знает. Доложили царю. Только он не очень-то поверил, пошел сам посмотреть. Вот приходит. А жена Брюсова еще пуще принялась выть, на разные голоса выдeldывала. Тут Петр Великий сразу догадался, что тут дело не спроста. И думает себе: «Баба через меру воеет, значит, тут есть подлость и обман». И увидел он ученика, посмотрел на него. Знает, что он ученик, но только такой вид показал, будто не знает его.

— Ты, говорит, за каким здесь делом? Что тебе здесь требуется?

А тот испугался и говорит:

— Я Брюсов ученик.

— Как ученик? — спрашивает царь. — Ведь у него старый ученик. Ты, говорит, врешь! Ты самозванец.

А ученик говорит:

— Да ведь я тот самый и есть, но только Брюс переделал меня на молодого.

Спохватился было, да уж позднеенько. Петр и говорит:

— Ну-ка, расскажи, как он тебя переделал.

Нечего делать — надо рассказывать. Тут он и принялся говорить, да во всем сознался.

— Я, говорит, не виноват, а меня подговорила вот эта мадама, — указывает на Брюсиху.

А она оправдывать себя начала.

— Нет, говорит, ты врешь, поганый прощельга, от тебя, жулика, все огни загорелись!

А ученик на нее все сваливает. А царь слушает и вникает. Слушал, слушал и говорит:

— Я вижу, вы два сапога пара. У вас, говорит, анафемов, совместный уговор был погубить Брюса. Ну, говорит, если совместный, так и награда вам будет совместная. Взять, говорит, их под арест!

И сейчас этому ученику и этой его любовнице белые ручки назад и потащили, куда следует. После того Петр приказал, чтоб Брюса с большим почетом похоронили. Потом ученику и Брюсовой жене отрубили головы. Но только народ нисколько их не жалел.

— Собакам, говорит, и смерть собачья.

Так и пропали эти живительные капли. Петр поискал, как похоронили Брюса. Много пузырьков нашел, а как без Брюса распознаешь? Без хозяина и товар плачет. А если бы не погубили Брюса, так, гляди, сколько бы он переделал стариков на молодых... [4]

*Записано в Москве в августе 1924 г., рассказывал уличный торговец яблоками Павел Иванович Кузнецов, уроженец Тверской губ.*

## Брюс и Петр Великий

Про Брюса не все правду говорят: есть и такие, что привирают многое. Иной пустослов напустит дыму, лишь бы людей обморочить... А доподлинная история про Брюса то из историев история. Подумаешь, до чего роскошный ум был у человека! И шел он по науке, и все узнавал. Умнейший из умнейших был человек!

А жил он тогда в Сухаревой башне. Положим, не вполне жил, а только была у него там мастерская и работал он в ней больше по ночам. И какого только инструмента не было в этой мастерской! И подзорные трубы, и циркуля... А этих снадобий пропасть: и настойки разные, и кислота, и в банках, и в пузырьках. Это не то, что у докторов: несчастная хина, да нашатырный спирт, а тут змеиный яд, спирты разные! Да всего и не перечесать! И добивался человек наукой все постигнуть на свете: что на земле, что под землей и что в земле — хотел узнать премудрость природы.

А купечество московское не любило его, очень противен он был купцам. И не любили его купцы, собственно, вот через что: сидит, примерно, купец в своей лавке, торгует. У него на уме покупателя общипать, а тут глядь — на самого каркадил лезет... Такой громаднейший каркадилище, пасть — во как разинул и так и прет на него. Ну, купец с перепугу вскочит на прилавок и заорет не своим голосом на весь квартал:

— Караул, пропадаю! Кара-ул!

И взбулгачит он своими криками народ. Вот и сбегится народ со всех сторон.

— Что такое? В чем дело? Чего ты разорался? А купец чуть не плачет и весь дрожит.

— Да как же, говорит, мне не орать, ежели каркадил слопать меня хотел?!

— Какой такой каркадил? — спрашивают. — Где он? Покажи!

Смотрит купец... нет никакого каркадила... И сам себе не верит. А народ смотрит на него и удивляется.

— Что же, говорит, это такое?

И не знает, как понимать ему об этом купце. Ежели бы сказать пьян, так этого не видать: человек совсем тверезый. Или сказать — полоумен, так опять же ничего такого не заметно: человек как будто при своем полном рассудке. Может, скуки ради озорничать начал? Так и на это не похоже: человек уже пожилой и борода седая. И примется народ ругать этого купца:

— Ах, ты, говорит, чорт новой ловли! Ах ты, бес прокаженный!

А купца стыд берет и опасается он, как бы по шее не наклали ему. И сам не знает, что подумать: не спал и не дремал, своим делом занимался, а между прочим явственно видел каркадила. И народ тоже ничего не понимает.

А тут слышит — другой купец завопил:

— Караул, грабят! — и потому он так закричал, что видит, быдто полна лавка свиной набежала. Прибежали свиньи и давай буровить, давать копать, и рвут на клочья ситец, сукно... И видит купец — разор на него пришел, вся его мануфактура пропадает зря. Вот он и давай кричать, чтобы помощь ему дали. Ну, народ слышит — орет человек, надрывается, бежит к нему. Городовые в свистки свистят, пристав мчит, как рысак... Только смотрит — и тут ничего нет, и тут все в порядке, все благородно и никто не грабит купца. И опять все в удивление приходят:

— Ты что же, говорят, безобразничаешь? Кто тебя грабит? Разуи глаза, обуи очи — посмотри, где тут грабители?

А купец говорит:

— Да я не насчет грабителей, а вот, говорит, свинота меня одолела.

Смотрит народ — ну хоть бы одна свинья была.

— Да ты, говорит, видно, с перепоею в белой горячке, или, может, маналхолия на тебя нашла. Ну, где эта твоя свинота?

Смотрит купец — нет свиней и товар цел. Тут пристав бац его в ухо.

— Подай, говорит, мерзавец, штраф за беспокойство! -и потянет с него пятерку. Конечно, какой штраф! В собственный карман сунет, а не в казну. Не дурак, своего не упустит.

Ну, покончат с этим свинопасом, станут расходиться, а тут третий завыл. И все бегут к нему.

— Ты еще, спрашивают, чего?

— Да я, говорит, великана испугался...

— Какого, спрашивают, великана?

— Да вот, говорит, пришел в лавку великан и стал матерно ругать меня. Я, говорит, тебя, негодяя, в три погибели согну.

Ну, и тут то же самое: нет никакого великана. Народ примется ругаться.

— Да вы, говорит, все нынче перебесились.

А пристав свое дело знает: развернется да как чесанет в ухо купца, так у того аж колокола в башке зазвенят.

— Подай, говорит, штраф, шелапут ты этакий! — и с этого пятерик, а то и всю десятку потянет.

И вот раз происходит такая контрбация, а понимающие люди идут мимо. Видят, народ собрался, галдеж поднял.

— Это еще что за синедрион такой собрался? — спрашивают.

Ну, им объясняют, какое здесь дело разыгралось. А они смеются:

— Эх, вы, говорят, скоты неразумные! Да ведь это, говорят, испытание натуры Брюс производит. А народ не знает, что это за испытание.

— А как, спрашивает, это испытание и в чем тут корень вещества?

А эти понимающие говорят:

— Об этом Брюса спросите.

Пристав, как услышал про Брюса, со всех ног бросился бежать.

— Ну его к шуту! — говорит. — Свяжись с ним, и жизни не рад станешь!

И как пристав задал тягуля, народ себе бросился врассыпную, кто куда попало.

А боялся народ Брюса от своего недопонимания, от того, что не знал, какое это бывает испытание природы. А это — наука такая, тут требуется хороший ум, чтобы уразуметь ее. И это самое испытание природы вот что означает: положим, возьми человека. Вот он живет, делом каким занимается, а то просто ворует. Но только ему и в ум не приходит, какой в нем есть магнит. Ему какой магнит требуется? Нажрался да спать, а нет — портамонет с деньгами из чужого кармана вытащить — вот какой его магнит. И выходит, что он, как свинья нечувствительная, не шевелит мозгами. Вот от этого самого он природы не знает, да и где знать, ежели он как Божий бык? А Брюс знал и умел отводить глаза. А этот отвод вот что значит: вот, примерно, сидит человек и пьет чай, а Брюс сделает такое, и человеку этому представится, будто полна комната медведей. Вот это и есть испытание природы. Всем наукам наука. И по-настоящему за нее Брюсу должна быть похвала, а купцы ругают его.

— Он, говорят, окаянный дух, в Сухаревой башне сидит, испытание природы производит, а мы пугайся, кричи? Нет, говорят, это не фасон. Потому что, говорят, ежели мы будем каждый день кричать, народ скажет: купцы с ума посходили, и покупать у нас ничего не станет.

И как они обсудили это дело, сговорились ехать жаловаться царю Петру Великому. Выбрали людей, которые поразумнее, и отправили с жалобой.

Вот приезжают эти разумники к царю и свою жалобу рассказали. А Петр Великий такой был: не любил бумаги писать, а сам до всего докапывался.

— Надо, говорит, посмотреть, что это за испытание природы такое.

И как приехал в Москву, взобрался на Сухареву башню. А Брюс только что собрался обедать идти. И как он отворил дверь, Петр ухватил его за волосы и давай таскать. А Брюс и понять не может, за что ему такое наказание от царской руки.

— Петр Великий! — кричит. — Да ты что это? Ведь за мной никакой вины нет!

— Врешь! — говорит Петр. — Есть: ты московскую торговлю портишь!

— Трепанул еще Брюса раза два, а может, и три, и после того рассказал про купцов жалобу.

Тут-то Брюс и уразумел, каким ветром нагнало на него черную тучу, тут-то и понял, через что, собственно, впоследствии ему наказание от царской руки. И тут он принялся разъяснять Петру свою прахтику насчет испытания природы. А Петр еще не знал эту инструкцию\* насчет отвода глаз и на дает веры словам Брюса.

— И как это, говорит, возможно, чтобы отводом глаз сделать каркадила? Тут, говорит, может, какая другая наука?

А Брюс на своем стоит:

— Раз я, говорит, сказал «отвод», значит, и есть отвод. А так как, говорит, тебя берет сомнение, то идем сейчас на площадь и там увидишь этот отвод.

— Ну, идем, — говорит Петр, — только смотри, Брюс, ежели ты подведешь пантомину насчет брехни, я тебя по зубам двину.

А Брюс только посмеивается.

И спустились они с башни, приходят на Красную площадь, а народ прослышал, что царь приехал, собрался его смотреть. Ну вот, хорошо... И как приехали на площадь, Брюс взял палочку и нарисовал на земле преогромного коня с двумя крыльями и говорит Петру:

— Смотри, сяду я на этого коня и вознесусь в поднебесье. А Петр молчит, только смотрит, не станет ли Брюс посыпать этого коня каким-нибудь порошком. Только нет,

---

\* Так в тексте. — Примеч. составителя.



не посыпал, а только махнул три раза рукой и сделался этот конь живой и поднялся на небеса, а Брюс сидит на нем верхом, смотрит на Петра и смеется.

Задрал Петр голову кверху, смотрит на коня этого, и народ тоже смотрит и в удивление приходит.

Вот Петр смотрел, смотрел и говорит:

— Удивительное дело, до чего Брюс наукой дошел. Только слышит, кто-то позади него говорит:

— Петр Великий, а ведь я — вот он!

Обернулся Петр, смотрит — стоит Брюс и смеется. Тут Петр в большое удивление пришел.

— Что же, говорит, это такое? Был один Брюс, а стало два? Только, говорит, не знаю, какой настоящий, какой поддельный?

А Брюс разъясняет ему:

— Я, говорит, есть настоящий, а который летает — одно лишь твое мечтание. И коня, говорит, нет никакого.

А Петр сердится:

— Как, говорит, нет? Не пьян же, говорит, я в сам-деле! Ну, Брюс не стал с ним спорить, а только махнул рукой — и не стало крылатого коня на небе. После этого Брюс и говорит:

— Вот это и есть отвод глаз. Что, говорит, я захочу, то и будет тебе представляться. Вот, говорит, я сделал купцам отвод глаз, только они не вразумились и нажаловались тебе на меня, а ты, не разобравши дела, ухватил меня за волосы и давай трепать.

А Петр говорит:

— Купцово дело можно поправить.

И отдал он приказ собрать всех купцов. И как их собрали, он и говорит:

— Вы вот нажаловались на Брюса, будто он вашу торговлю портит, а ведь зря: это не порча, а только отвод глаз. А так как, говорит, вы не вразумились, то у меня есть такой состав: как примете, сразу вразумитесь.

Купцы и думают, что он будет давать им брюсовские порошки или капли. И очень боятся, думают: от брюсовского состава добра не жди, примешь — и обернешься каркадиллом или свиньей.

И говорят они Петру:

— Лучше штраф наложи, а лишь бы не этот состав.

— Нет, — говорит Петр, — что такое штраф? Заплатил, и опять без умственного понятия остался, а от моего состава ясность ума будет. Ну-ка, говорит, снимай по очереди портки да ложись.

И делает он распоряжение дать каждому купцу двадцать пять горячих. Ну, их сейчас разложили, и отпустили каждому. И как отполировали их, Петр говорит Брюсу:

— Пойдем-ка, Брюс, в трактир, чайку напьемся.

А он простецкий был, ему этого чох-мох не дал Бог, не разобрал, где пить чай: трактир — трактир, харчевня — харчевня, а не то чтобы беспримерно\* дворец.

Ну, а Брюс что? Чай пить — не дрова рубить, притом же приглашает не чорт шелудивый, а сам Петр Великий. Вот Брюс и говорит:

— Что ж, пойдём.

Вот приходят. Заказывает Петр чаю две пары, графинчик водочки. Вот выпили, закусили, после за чай взялись. Только Брюс и думает: «Неспроста, говорит, это Петрово угощение!» А не знает, к чему тот дело клонит. Вот Петр за чаем и давай Брюса расхваливать:

---

\* Так в тексте. — Примеч. составителя.

— Это, говорит, ты умной штуки добился — глаза отводить. Это, говорит, для войны хорошо будет.

И стал объяснять, как действовать этим отводом:

— Это, примерно, идет на нас неприятель, а тут такой отвод глаз надо сделать, будто бегут на него каркадилы, свиньи, медведи и всякое зверье, а по небу летают крылатые кони. И от этого неприятель в большой испуг придет, кинется бежать, а тут наша артиллерия и начнет угощать его из пушек.

И выйдет так, что неприятелю конец придет, а у нас ни одного солдата не убьют.

Вот Брюс слушал, слушал да и говорит:

— Тут мошенство, а честности нет.

А Петр спрашивает:

— Как так? Какое же тут мошенство?

А Брюс разъясняет:

— А вот какое, говорит, на войне сила на силу идет, и ежели, говорит, у тебя войско хорошее и сам ты командир хороший, то и победишь, а так воевать, с отводом глаз — одна подлость. Я, говорит, мог бы невесть что напустить на купцов, а сам забрался бы в ящик и унес бы деньги. Так это, говорит, будет жульничество.

А Петра за сердце взяли Брюсовы слова.

— Ну, ежели тут жульничество, зачем же ты, так-растак, выдумал этот отвод глаз?

А Брюс говорит:

— Я не выдумал, а так наука доказывает. Я, говорит, на свой манер повернул науку, вот у меня и вышло, а другой, говорит, как ни вертит ее, ничего у него вне выходит, потому что он скотина и поврежденного ума человек.

Только Петр не сдается:

— После таких твоих слов, говорит, ты есть самый последний человек. Ты, говорит, своему царю не хочешь уважить, и за это, говорит, надо надавать тебе оплеух.

Только Брюс нисколечко не боится.

— Эх, говорит, Петр Великий, Петр Великий, грозишь ты мне, а того не видишь, что у самого змея под ногами.

Глянул Петр — и взаправду змея у него под ногами. Как вскочит... Схватил стул, давай бить змею. А хозяин и половые смотрят, а подступиться боятся: знают, что он царь, и Брюса тоже знают.

И разломал Петр стул об пол. Смотрит — нет никакой змеи, и Брюса нет. Тут он и понял, что Брюс сделал ему отвод глаз. Отдал за чай и за водку — четвертной билет выкинул и сдачи не взял.

— Это, — говорит половому, — тебе на водку. — И поскорее вон из трактира.

И сильно осерчал он тогда на Брюса. А тронуть его боится. И уехал ни с чем, а после жаловался:

— Он, говорит, из прохвостов. Правда, говорит, он самый ученый человек, а все же ехидина.

Ну, Брюсу передали царские слова:

— Ты, говорят, что же это наделал? Вон царь обижается на тебя.

А Брюс говорит:

— А что я наделал? Ничего, говорит, такого особенного от меня не было. Действительно, говорит, я по науке работаю. Только у меня этого нет, чтобы наукой на подлость идти. Вот, говорит, я умею фальшивые деньги делать, а не делаю, потому что это есть подлость. А Петр, говорит, чего добивался от меня? Он хотел, чтобы я помогал ему весь свет обманом завоевать, только я на это не пошел. Вот, говорит, через что его обида...

Ну, уж разумеется, Брюсовы слова передали Петру. А тот ругается.

— Ничего, говорит, пусть храбрится, так-растак! Но только, говорит, придет время и его черти заберут, и никакая наука ему не поможет.

Ну, это что? Понятно, каждый умрет, как придет его время, тут чертей в науку нечего примешивать... А только Брюсова смерть такая была: пропал он, можно сказать, дуром. Вот он и умный человек был, и ученый, а все же была в нем дурилка: своему лакею доверился, а тот и уложил его в гроб. И как это он не взял в свой ум, что прислуге нельзя вполне доверяться?.. Ведь это что за народец такой? Нынче ты для него хорош и он для тебя хорош. А назавтра погладь его против шерсти, он и ошестинится, выберет время и тяпнет тебя исподтишка. А Брюс не взял этого в расчет. Конечно, человек думал, как жил у него этот лакей много лет и ничего такого заметно за ним не было, — вот он и понадеялся на него, и доверил ему свой секрет.

А дело такое: мазь и настойку выдумал Брюс, чтобы из старого человека сделать молодого. И поступать надо было в таком порядке: взять старика, изрубить на куски, перемыть хорошенько и сложить эти куски как следует, потом смазать их мазью и все они срастутся. После того надо побрызгать этим настоем, этим бальзамом. И как обрызгал, станет человек живой и молодой. Ну, не так, чтобы вполне молодой, а наполовину. Примерно, было человеку 70 лет, станет 30. Это так по науке полагается. С наукой шутить нельзя: требуй от нее столько, сколько она может дать, а лишку потребовал — она сейчас на дыбы станет, и сколько ты ни трудись, все попусту будет, прахом пойдут твои труды, потому что науке аккуратность нужна. А Брюс знал все это, умел, как обойтись с ней, вот от этого у него все выходило. А главное — голова, ум хороший был у него.

А было тогда Брюсу восемьдесят лет, и хотел он, чтобы стало сорок. И приказал он лакею, чтобы тот перерезал ему горло бритвой, изрубил на куски и чтобы эти куски перемыл и сложил по порядку, после того смазал бы мазью и уже после полил бы бальзамом. А лакей сделать-то сделал, да не все: бальзамом не полил, а взял, да разлил его по полу. И чего ради пошел он такое дело — и поднесь никто на знает. Зло ли какое было ему от Брюса или подкупил его кто — никому не сказал об этой причине. На что уж ученые профессора по книгам, по бумагам смотрели — ни до чего не докопались.

— Тут, говорят, лакеева тайна.

Разумеется, причина была, потому что как же так без причины убить человека? Что-то такое было...

Ну, хорошо... Вот он не полил бальзамом и не знает, куда спровадить мертвого Брюса. А тут как раз в эту пору приходят в башню Брюсовы знакомцы. Смотрят — лежит мертвый Брюс. Они и удивляются:

— Что же это такое? — говорят. — Ничего не слышно было, чтобы Брюс болел, а уже лежит мертвецом. — И спрашивают они лакея:

— Когда же это Брюс помер? А он говорит:

— Вчера поутру.

Они опять спрашивают:

— Почему же ты, подлая твоя харя, молчишь? Почему ты, анафемская сила, никому об этом не сказал? А он и не знает, что на это сказать.

— Да я, говорит, маленько перепугался.

Ну, они были не дураки — сразу увидели, что тут дело не чисто. Кинулись к нему, давай его бить:

— Признавайся, говорят, как дело было?

А он говорит:

— У него разрыв сердца произошел.

Ну, только они не верят:

— Брешешь, чортов мазурик! — И давай его головой об стенку стучать.

Он было крепился, да видит — мочи нет, и сознался:

— Мой, говорит, грех. Вот так и так произошло, — все рассказал.

Они спрашивают:

— А за что ты руку на Брюса наложил?

А он говорит:

— Хоть убейте, не скажу.

Они давай ему под бока ширять кулаками, давай по затылку бить. Только он не сознается. Вот они видят — человек уперся на своем, заковали его в кандалы, повезли к царю. Привезли, и рассказали об этом деле. А Петр так рассудил:

— Действительно, говорит, Брюс очень ученый был, это правда. Ну, говорит, и то правда, что ехидина из ехидин был. Он, говорит, очень зазнался и царской короны не признавал.

Это Петр за насмешку так говорил и за то, что Брюс не дал своего согласия на отвод глаз в военном деле. Не мог забыть он своей злобы.

— Правда, говорит, такая Брюсова судьба, чтобы от руки лакея смерть ему была, только все же, говорит, лакея никак прощать нельзя, а то, говорит, и другие лакеи станут убивать своих господ. И потому, говорит, надо сжечь лакея живьем, чтобы другим лакеям пример был.

И сейчас подхватили лакеишку под мышки, поволокли на площадь. И как притащили, стали жечь: костер огромнейший разложили и стали поджаривать. А тогда простота-матушка была: ни этой Сибири, ни каторжной работы не знали, а рубили головы да живьем жгли. Этой волокиты и в помине не было. Вот и с лакеем долго не стали хомутаться: сожгли, и дело с концом.

А Брюса Петр велел похоронить:

— Оттащите, говорит, этого пса на кладбище, закопайте!

Вот как он благословил Брюса! Видно, солоно пришлось ему от Брюсовой насмешки!

Ну, похоронили Брюса, а Сухареву башню Петр приказал запечатать. После-то ее и распечатывали не раз, Брюсовы книги искали, да не нашли. И как найдешь, ежели они в стене замурованы? Станешь стену ломать — башня завалится, — вот и не трогают ее, пусть, мол, стоит.

## Как Брюс с царем поссорился

Раньше Брюс жил в Петрограде, да царь Петр выслал его в Москву за одну его провинность: на царском балу, во дворце, он устроил насмешку. А эта насмешка такая. Приехал на этот бал Брюс, а уж был хватемши, да мало-мало до настоящей порции доставало. Вот он подошел к буфету, взял бутылку вишневки и давай прямо из горлышка сосать. Сейчас лакузы\*, разная эта шушера-мушера побежали царю жаловаться.

— Брюс, говорят, пьяный напился и безобразничает: прямо изо всей бутылки наливку вишневую пьет, а тут дамский пол, генералы...

Вот царь подходит к Брюсу и говорит:

— Ты что же хамничаешь? Нешто рюмок нет, что ты из бутылки прямо тянешь? Ты вот, говорит, вместо того, чтобы охальничать, устроил бы какую-нибудь потеху, а гости посмеялись бы...

---

\* т. е. лакеи

— Ну ладно, — говорит Брюс, — устрою тебе потеху. И устроил. Понятно, с пьяных глаз...

Эта публика, разные там графы да князья, генералы, женский пол, эти барыни под музыку плясали-танцевали... Все одеты хорошо, все шелка да бархат, одним словом, шико... Вот Брюс махнул рукой. И тут видят эти самые господа, которые по паркету кренделя выделявали, что на полу отчего-то стало мокро... По первому-то разу подумали, что беспрременно грех с кем-нибудь случился... И-и пошло у них тут «хи-хи» да «ха-ха»... Но только видят — идет вода из дверей, из окон, падает с потолка... И завизжали, загорланили...

— Потоп! Потоп!

Они думали, что это петербургское наводнение. Нева из берегов вышла, весь город потопила. И началась тут потеха! Эти госпожи барыни платья задрали, а генералы да князья кто на стул взобрался, кто на стол, кто на подоконник... И все вопят, орут, — думают, что им конец подошел. Только царь знал, что это Брюс сделал отвод глаз, и кричит он ему:

— Брюс, пьяная морда! Брось свои штуки!

Вот Брюс опять махнул рукой — и смотрят все: нет никакой воды, везде сухо. Но только господа эти стоят на столах, на стульях, а барыни задрали подол... Тут все поняли, что Брюс над ними шутку подшутил, и стали жаловаться царю, дескать, Брюс на нас такую срамоту нагнал — разговор на весь столичный город Петербург выйдет. А Петр им говорит:

— Вы как веселились, так и веселитесь, а я с Брюсом расправлюсь.

Подозвал Брюса и принялся ему выговаривать:

— Нешто, говорит, я такую потеху приказывал делать? Ты, говорит, моих гостей осрамил.

А Брюс в ответ говорит царю:

— Не велика, говорит, штука русский квас: копейка стакан! А что касается твоих гостей, то, по мне, они есть собрание сволочей.

Тут Петр осердился:

— Не смей, говорит, выражаться! Я, говорит, с улицы не собираю всякую сволочь. Ты, говорит, напился, ты пьян!

А Брюс смеется:

— Немножко, говорит, заложил за галстук. Но только, говорит, скажу, что пьяница проспится, а дурак никогда!

Тут Петр и спрашивает:

— Так это, по-твоему выходит, что я дурак?

А Брюс отвечает:

— Я тебя не ставлю в дураки, а только меня досада берет, что ты взял под свою защиту этих оглоедов.

Ну, слово за слово. В голове-то Брюса зашумело, он и наговорил много лишнего. Тут еще больше рассердился царь.

— Я, говорит, вижу, ты чересчур много о себе понимаешь: все у тебя дураки, одного себя ты умным выставляешь. Ну, ежели, говорит, все дураки, а ты один умный, то нечего тебе промежду дураков жить. Завтра поутру пришлю тебе подводу и отправляйся в Москву, живи в Сухаревой башне.

Вот после такого приказа Брюс и отправился домой.

— В Москву, так Москву, — говорит Брюс.

А царь все-таки думал, что Брюс проснется и придет прощения у него просить. Только утром ждет — Брюс не приходит. Вот он сам к нему направляется. А Брюс забрал с собой свои книги, бумаги, подозрные трубы и все свои причиндалы, которые

нужны по его науке, и сел в свой воздушный корабль. А у него такой корабль был, вроде как теперь аэропланы... Ну, сел в этот корабль. А Петр бежит и кричит:

— Стой, Брюс!

Только Брюс не послушал, надавил кнопку, корабль и поднялся. Взяло тут Петра большое зло, выхватил он пистолет — ба-бах! в Брюса... Но только пуля отскочила от Брюса и чуть самого царя не убила. А Брюс кричит с корабля:

— Ваши пули для нас ничего, а вот от наших, говорит, мыслей вы покоробитесь! И взвился корабль его птицей. А народ собрался, смотрит и крестится:

— Слава тебе, Господи, — говорит. — Унесли черти Брюса от нас.

Невежество, понятно. Ведь у этого народа какое понятие про Брюса было? За кождуна его почитали, и думали, что он все болезни на людей насылает. Теперь дури в России много, а раньше еще больше было. Ну, только какое дело до этого Брюсу? Колдун? Ну и пусть. А он свой путь исправно на Москву направляет. И вот прилетел, закружился, как коршун, высматривает, где Сухарева башня стоит... Высмотрел и опустился. Тут полны улицы, полны площади народа... Кто радуется, а больше все ругают:

— Не было, говорят, печали, черти накачали: нелегкая Брюса принесла.

А Брюс принялся в башне работать. Тут один генерал приходит и стал выпытывать, что тот приготавливает. А Брюс говорит:

— Да тебе-то что? Ну, приготавливаю. Можешь ли это понять? Я, говорит, в твои дела не вмешиваюсь, ничего от тебя не выпытываю.

А генерал говорит:

— Мое дело иное — я генерал.

— Ну, и я генерал, — говорит Брюс. А генерал смеется:

— Какой, говорит, ты генерал? Ты кудесник. Тут Брюс и разъяснил ему:

— Ты, говорит, по аполетам генерал, а я по уму генерал. Сорви, говорит, с тебя аполеты, кто скажет, что ты генерал? Дворник, скажут.

Тут генерал рассердился и давай его ругать.

— Ежели, говорит, на то пошло, я твою башку к чертям разнесу! Наставлю, говорит, орудии, да как тресну, так от тебя, стервы, только клочья полетят.

Брюс на это отвечает:

— Ежели я стерва, так зачем ты пришел ко мне? Пошел, говорит, прочь! — и в шею выгнал генерала.

Вот этот господин генерал, его превосходительство, и распалился, помчался в казарму и отдал приказ, чтобы немедля разбить из орудий Сухареву башню. И сейчас привезли пять орудий, наставили на башню... Вот скомандовали: «пли!» И ни одна пушка не выстрелила. Принялись солдаты мудрить и так, и этак — ничего не помогает, словно это не пушки, а бревна. А Брюс стоит на башне, смеется и кричит:

— Вы — дураки! Зарядили песком орудия и хотите, чтобы они дали огонь.

Генерал приказал разрядить одно орудие. Разрядили. Смотрят — вместо пороха песок и в других то же самое. А народ, который тут собрался, говорит генералу:

— Вы, ваше превосходительство, лучше увозите свое орудие, не то, говорят, Брюс того вам наделает, что век не человеком будете.

Тут генерал и того... испугался и скомандовал, чтобы уводили орудия в казарму. А как привезли, смотрят солдаты — порох настоящий в орудиях. Доложили генералу. А он и руками машет:

— Ну его к чорту, этого Брюса, говорит, с ним только грех один. — И отступил от Брюса.

Да мало ли еще проделывал Брюс... Вон Лев Толстой говорил: «Брюс на всю Россию был самый чудесный человек». И верно. Ведь иной-то и не поверит, какой он был искусник.

У него служанка была, сделанная из цветов: подавала, комнату убирала. Теперь вот доискиваются до этого секрета и дойти никак не могут: локомотив плохо действует.

А Брюс-то вон как шагал: на тысячу лет вперед погоду предсказывал. А теперь эти самые барометры. Посмотришь — одно только смехотворство. Указывает стрелка: «ясная погода». А на дворе-то жарит дождище как из ведра. По мостовой реки бегут. Что же это, мол, ваш инструмент врет? Говорит: «ясная погода», а вон какой хлещет дождь! Или, по-вашему, называется это прекрасная погода?

— Да тут, говорит, что-то винтик в каприз ударился.

— И примется крутить этот винтик. — Теперь, говорит, в полной исправности.

— А что, спрашиваю, показывает?

— Да теперь, говорит, на завтрашний день предрекает: «пасмурно, а к вечеру дождь».

Ну, утром встаешь... Солнце — и ни единой тучки!.. Ну, думаешь, к вечеру дождь соберется... И вечером хорошая погода, и заря ясная... — Что же это, мол, наше здорье, механизм-то ваш подгулял? Вы бы салом его смазали, что ли...

— А чорт его знает, что он врет! Только, говорит, зря деньги загубил на такую дрянь! — да обзёмь его... И вылетели винты, стрелки, пружинки дурацкие, крючочки-этот поганый механизм...

А почему он действует с обманом? А все по единственной причине: слаба гайка — дойти не могут и только пыль в глаза пускают. На словах — мастера: все теория-матушка отдувается, а как практики коснется, то и примутся выдумывать эти стрелки, стержни. Понятно, без теории практики не бывает, но практика теорию побивает. А у Брюса всегда теория с практикой сходилась. Вот от этого самого и ошибки не выходило... Ну, и голова на плечах была, а не тыква!

А вот насчет смерти его не знаю, как и сказать: тут надвое рассказывают. Одни говорят, что лакей не полил его живой водой. Это будто он выдумал живую и мертвую воду, чтобы стариков превращать в молодых. Вот взял, изрубил в куски своего лакея. А тот лакей был старый... Ну, изрубил, перемял мясо, полил мертвой водой, все тело срослось, полил живой водой — лакей стал молодым. Потом Брюс сам захотел помолодеть. Научил лакея. Вот изрубил его лакей, полил мертвой водой — тело срослось. А живой водой не полил. Ну, видит — умер, похоронили...

А вернее всего он улетел, потому что ежели бы он умер, то остался бы воздушный корабль, а то его нигде не могли найти. Это так и было: сел на корабль и полетел, а куда — неизвестно. И трубы забрал с собой. Вот начальство видит — нет Брюса, и написало царю: «Брюс неизвестно куда девался, какое распоряжение будет насчет его книг, порошков?» А Петр написал: «Не трогать до моего приезда». Через сколько-то времени приезжает. Заперся в башне и трое суток рассматривал книги, порошки. Туда ему обед и ужин подавали. А народ собрался, ждет, что будет. Вот на четвертые сутки приказывает царь вылить в яму все эти Брюсовы жидкости, а порошки сжечь на костре, книги и бумаги замуровать в стену этой самой башни.

— Но, говорит Петр, главных-то книг нет. Должно быть, спрятал в потаенном месте.

Ну, замуровали. И приказал царь запереть башню на замок и сам печати к двери приложил сургучные. И приказал поставить часового с ружьем. И уехал царь, и тут вскорости помер.

После него другие царствовали. А только у Сухаревой башни все ставят часового. Вот стала царствовать Екатерина Великая. Докладывают ей насчет Сухаревой башни. Она говорит:

— Не я ее запечатывала, и не мне ее распечатывать. А часовой, говорит, пусть стоит. Как, говорит, заведено, так пусть и будет.

Ну и другие цари такой же ответ давали.

Вот взошел на престол Александр Третий\*. Был он на коронацию в Москве. Едет осматривать город и проезжает мимо Сухаревой башни. Часовой встал на караул — честь отдает. Вот царь спрашивает генерала:

— А что хранится в этой башне? А генерал отвечает:

— Не могу знать.

Царь приказал кучеру остановиться, выходит из коляски, спрашивает часового:

— Что ты, братец, караулишь?

— Не могу знать, ваше императорское величество, — говорит часовой.

Смотрит царь — висит замчище, может, фунтов в пятнадцать, и семь печатей сургучных со шнурами привешены. Стал спрашивать генералов — ни один не знает, что в этой башне хранится. Время-то прошло много, как она запечатана была. Которые знали, те давно поумирали, а новым эта башня без надобности. Вот царь требует ключ. Кинулись искать. А где его в чертях найдешь, когда его и в глаза никто не видел, какой он есть! Тут генерал объяснил:

— Это, говорит, по неизвестному случаю башня запечатана, а где находится ключ, тоже никому не известно.

Рассердился царь.

— Что за порядки, говорит, такие дурацкие: не знают, что в башне хранится! Тащи лом, командует, тащи молот!

Живо притащили. Засунули лом... Только не поддается замок.

— Бей молотом! — командует царь. И принялись наяривать молотом по замку.

Насилу сбили с двери. Ну вот, отворили дверь, входит царь, смотрит — все пусто кругом, стоят голые стены и больше ничего. Тут царь опять рассердился:

— Какого же, говорит, чорта здесь караулили? Пауков, что ли? Только, говорит, это не такая драгоценность, чтобы из-за такой сволочи ставить караул!

Да тут пришло ему в голову постучать в стену. Постучал — слышит, будто отдает пустое место. Приказал позвать каменщика. Притащили их целый десяток.

— Выламывай стену! — приказывает царь.

Ну, выломали. Смотрят — лежат книги, бумаги. Царь удивился.

— Что же это за архив такой секретный? — спрашивает. Генералы в один голос отвечают:

— Не можем знать!

Посмотрел царь, что напечатано, — ничего понять не может. Смотрели и генералы — тоже ни в зуб толкнуть. Посылает царь за профессорами. Набралось их много. Принялись разбирать. Уж как они ни старались, чтобы перед царем отличиться, — ничего не выходит, не действует механизм!

— Это, говорят, какие-то неизвестные книги. А царь сердится.

— Неужели, говорит, ни одного не найдется, который бы разобрал?

Тут говорят ему:

— Есть еще один старичок-профессор: если он не разберет, так никто не разберет.

Послал царь за этим старичком. Привозят его. Как глянул, так сразу и сказал:

— Это, говорит, книги Брюсовы, и бумаги тоже его.

А царь и не знал, какой-такой Брюс был, и спрашивает старичка:

— А что за человек был Брюс, что его книги и бумаги беспрерывно нужно было замуравить в башню?

Старичок и говорит:

— А это, говорит, вот какой был человек: такого, говорит, больше не рождалось, да и не родится. — И стал рассказывать про Брюса.

А царь слушает и удивляется.

---

\* Вариант называет царя Николай I-го Павловича.



— А ну-ка, говорит, почитай хоть одну книгу.

Вот старичок начал читать. Все слушают, а понять ничего не могут, потому что на каком-то неизвестном языке написано. Чорт знает, что за язык! Царь говорит:

— Хоть ты и читал, а понять ничего невозможно.

Тут старичок и стал объяснять эти слова. И все насчет волшебства. Вот царь и говорит:

— Ладно, теперь я понял, в чем тут дело, — это тайные науки. Только ты не читай их здесь, а поедем со мной — там мне одному прочитаешь.

— Это все, — говорит, — волшебство тут описано. Это Брюс разные волшебные составы делал.

Царь (Николай I-ый) спрашивает:

— Откуда ты научился книги такие читать? Сколько, говорит, профессоров, ни один не знает, а вот ты выискался, что и про волшебство знаешь.

А старик говорит:

— Я до всего доходил.

— Значит, говорит царь, ты много знаешь? Ну так, говорит, поезжай со мной — послушаю я твою премудрость. — И забрал все книги Брюсовы, бумаги и того старика...

Уехал, и ничего неизвестно, что стало с этим стариком и книгами — и приказал забрать эти книги и бумаги, положить в коляску.

Взял старичка с собой и поехал. И где теперь эти книги, бумаги, где старичок — никто не знает, нет ни духу, ни слуху.

*Записано в Москве 8 сентября 1924 г. Рассказывал старик-печник Егор Алексеевич, фамилию не знаю.*

## Брюс и волшебная наука

Был этот Брюс умнейший человек, ученый: волшебную науку постиг лучше и некуда. Ну, и прочее. Какая видимость на земле, какая на небе — это мог определить, что к чему принадлежит. Ну, тут и так, и этак толковать можно, у каждого свой ум. А вот как он свою волшебную науку показал, так это на удивление: живую женщину сделал из цветов: ходила, работала, прислугой у него была, только говорить не могла. А Брюсова жена приревновала к нему эту прислугу.

— Ты, говорит, с нею живешь.

А Брюс смеется:

— Эх, говорит, Дурында Ивановна, ничего не понимаешь.

Ну, та все свое, давай его грызть, давай пилить каждый день:

— Не без того, говорит, ты с ней живешь.

Вот раз при гостях и начни она его срамить.

— Бесстыжие, говорит, глаза: от законной жены откачнулся, с прислугой связался.

Взяла тут досада Брюса.

— Эх, говорит, дуреха, да и мозги твои дурацкие. Посмотри-ка, какая это прислуга! — Взял, да и вынул железный стержень у прислуги из головы. Она тут вся цветами и рассыпалась. Жена, гости: ах-ах! А жена говорит:

— А я думала, она из тела сделана.

Ну — баба, какое у нее понятие о такой науке?

А только нашлись такие шпионы поганые, — может, из гостей и были, — донесли царю про это Брюсово ремесло, про цветочную женщину. А царь не любил

Брюса и не любил вот за что: Брюс сделал над ним волшебную насмешку. Он хотел шутку подшутить, а вышла насмешка. А какая это была насмешка — точно рассказать не смогу. То ли он царя в дураках оставил, или еще что... не знаю... А какой был царь — тоже сказать не сумею, только не Петр Великий.

Ну, значит, эти мазурики-шпионы донесли царю. А царь говорит:

— Этот проклятый Брюс — бельмо у меня на глазу. Пойдите, говорит, хоть обманом поймайте его и приведите под конвоем.

Хм... «поймайте»... Не таковский Брюс был, чтобы попасть в клетку: царь только сказал, а он уже знал, что ловить его собрались. Царь думал обманом взять его, а Брюс сам всех обманул.

Ну, полиция и направилась прямо к Брюсу в дом. А жил Брюс на Басманной — дом и теперь цел. И в доме этом в стену вделана гробовая доска — крышка от гроба, и на ней крест, а повыше доски надпись сделана, только не нашими буквами, а какие это буквы — никто не знает и прочитывать никто не может. Собрались профессора, посмотрели и отвернули нос: не вкусна говядина, не по зубам. Ну, прочесть не сумели, давай Брюса ругать: накрутил, нацарапал, сам чорт не поймет! И немцы, и англичане приезжали разбирать надпись, и французы... Ничего у них не выходит.

— Нет, говорят, не нам читать это надписание.

Ну и приказание было закрасить эту надпись и гробовую доску. И сколько раз закрашивали, а никак закрасить не могут: нынче закрасят, а завтра доска и надпись опять выступают. Вот она какая тут волшебная наука!

Ну, хорошо... Вот, значит, полиция пришла в Брюсов дом. Пристав и спрашивает жену:

— Где Брюс?

Она говорит:

— Из Москвы уехавши. К вечеру вернется.

А это Брюс научил ее так говорить. Вот пристав и пошел ловить Брюса по заставам. Ну, разослал на пять застав. Смотрит — сам Брюс едет. Тут пристав подкрался, ухватил Брюса.

— А-а, говорит, попался, милачок!

А Брюс ничего: попался и попался, и не вырывается, стоит смирно. Только смотрит пристав — волокут еще одного Брюса. Он и рот разинул.

— Что же это такое? — говорит. — Откуда взялось два Брюса? А тут и третьего притащили. Да так на пяти заставах пять Брюсов и наловили. И все как один, точка в точку, и обличьем, и одеждой, и голосом. Пристав и глаза вылупил, и понять ничего не может — как ошалелый стоит.

— Кто же, спрашивает, из вас настоящий Брюс?

А Брюсы смеются:

— Да мы, говорят, все настоящие, все сами по себе.

Вот тут и разгадывай — где настоящий. Ну, что тут делать приставу? И ничего придумать не может. Ведет к царю всех Брюсов: пусть, мол, сам ищет настоящего. Вот приводит:

— Так и так, императорское величество, говорит, наловил я, говорит, на заставах пять Брюсов, а какой из них настоящий Брюс — не мог дознаться.

Посмотрел царь на этих Брюсов, и зло его взяло большое:

— Ну и стерва же, говорит, этот Брюс, ишь, на какие штуки ударился! Ну как, говорит, отыщешь тут настоящего Брюса, ежели все они один в один? Только, говорит, одно и остается: взять, да и перестрелять всех из поганого ружья. Да и то вряд ли настоящего убьешь: уйдет, говорит, проклятый, козьявкой обернется и уйдет, а безвинные люди смерть примут... А я, говорит, не хочу грех на душу брать.

Думал, думал:

— Гоните, говорит, всех вон — добра нечего ждать от них!

Ну, кинулись к Брюсам — кого в шею, кого по затылку.

Побежали пятеро, а стало четверо, и ведь совсем они не Брюсы, а царские генералы. А это Брюс нарочито обернул их Брюсами, чтобы царю досадить. Ну, стало четверо генералов, а настоящий-то Брюс пропал.

Еще больше взяло зло царя.

— Я, говорит, так и знал, что тут подлость. Ишь, говорит, что выкинул!

А генералы вернулись и жалуются:

— Когда же, говорят, эмператорское величество, посадишь проклятого Брюса на цепь?

А царю и без них тошно. Как закричит:

— Вон из моего дворца! Генералы и помчались.

А Брюса пристав все же накрыл: сидит в пивной и пивцо попивает.

— А-а, — говорит пристав, — вот где настоящий Брюс!

А Брюс ему говорит:

— Ты вот что: отстань, а не то оберну тебя петухом — будешь на улице лошадиный навоз разгребать.

Пристав как дунет от него — испугался: свяжись, мол, с чортом и кукарекай целый век!

Вот он какой мастер был по волшебству! И все ведь наукой постигал. Ну, это что хитро, то хитро, а все же не настоящее. А настоящее вот какое у него было дело: из старых людей молодых делал. И никаким отваром не поил, а поступал великатно: увидит старика, сейчас перережет ему горло и давай его кромсать — всего на куски изрежет. После того полет одним составом — тело срастется, полет другим — и станет из старика молодой. Вот это наука, всем наукам наука!

Ну, только же она и погубила Брюса. Правду сказать, тут наука не виновата, а лакей Брюсов виноват — такая гадина был человек. Вот кому бы пулю из поганого ружья в затылок закатить — в самый бы раз!

Тоже и Брюса оправдать нельзя. Нашел, кому довериться в таком важном деле — лакею! А может, тут такая судьба Брюса была — пропасть ему от лакейской руки. Это, пожалуй, вернее будет...

А уж стар был Брюс — восемьдесят годов было. И говорит лакею:

— Изруби меня на куски. Сперва, говорит, вот из этого пузырька полей, потом вот из этого, и стану, говорит, я юноша прекрасный.

Вот лакей изрубил его на куски. Из одного пузырька полил — срослось тело, а из другого не стал поливать. Побежал к царю... ну, может, не к самому царю, а к генералу, который при царе находился.

— Вот каким, мол, средством я сделал конец Брюсу. Ну, отпустили ему сколько-то денег. А Брюса поскорее тайком похоронили — боялись, чтобы не ожил.

А книги Брюсовы приказал царь разыскивать и жечь. И которые нашли — сожгли... Только еще штук с десятков утаили ... ну те, которые разыскивали: пристава, полиция. А самые главные книги под Сухаревой башней в сундуке железном спрятаны. В башне этой у него мастерская была. А из башни ход был проделан в подземелье. Тут вот, в этом подземелье у него главная мастерская была, там он и делал разные секретные составы. Да нетто в одном месте у него такое подземелье было? Он всю Москву избурил, ходы проделал, как крот. А книги те и посейчас лежат там.

*Записано мною в Москве 15 ноября (н. ст.) 1925 г. от крестьянина, ломового извозчика Ивана Антоновича Калины из Волоколамского уезда.*

# Места и люди

## Проклятый дом

### 1

Дом этот — проклятый, нечистое место. В нем черти водятся... Ну, как водятся? Не распложаются же, как цыплята из-под курицы, а беснуются. Соберутся, один на гармонике жарит, другой — в тулумбас... бум... бум... Прочие-то хвосты задерут и пошли отхватывать... Народ так рассказывает, а верно ли — не знаю. Будто с двенадцати часов ночи начинается. И такого трепака разделявают! Уж они на это мастера... На хорошее-то их не толкнешь, а вот плясать да матерно ругаться — это самое разлюбезное ихнее дело. Очень на то горазды...

И будто в этом доме мать с сыном в блюде жила. Сын взял да и зарезал мать, а после того сам удавился. И вот с этого времени черти и облюбовали этот дом. Пошло по ночам беспокойство. Люди и не хотят в нем жить. Толкуют вот так в народе. А может, это и не так. Какой наш народ? Как примется плести... Особенно бабы, сороки эти. Они тебе настрокочат, только слушай. И откуда что берется! Сорочья порода. Только бы языки чесать...

Ну и не живет никто в этом доме. Да и какая неволя? Деньги заплати, да и не спи по ночам, чертовскую музыку слушай. Да стори он! Черти балы устраивают, а я деньги плати? Дураков нет, это оставьте. Ну, да ведь и то сказать: только разговор такой идет, а правда ли, нет ли — кто знает?!

*Записано мною в Москве от ломового извозчика, старика Кадушкина. Настоящая фамилия его — Ларин, а прозвище Кадушкин он получил за то, что в конце восьмидесятых годов занимался доставкой воды в Дорогомилове, где в то время водопровода не было, причем воду он возил не в бочке, а в огромной кадке, укрепленной на дрогах. Человек он был (умер в 1924 г., 79 лет) во многом оригинальный и интересный рассказчик. За чаем в харчевне он просиживал, когда не было работы, часа три и, угрюмо насунив густые брови, выдувал пять-шесть чайников чаю, т. е. 30—35 стаканов, и уже после такой порции принимался за щи. После щей, выпив объемистую кружку холодной воды, отправлялся на биржу.*

*Он много нюхал табак, в который подмешивал для крепости золу. Нос у него был короткий, но очень толстый, и он, собираясь нюхать, стучал по нему двумя пальцами, приговаривал:*

*— Ну-ка, Господи благослови... понюхать табачку на доброе здоровье!*

*Набив табачком обе ноздри, он принимался громко кряхтеть, а потом чихать. Чихал он оглушительно и долго, задрав голову кверху и держа в руке красный грязный платок.*

*Это и кряхтенье, и чиханье выводило из себя жену харчевника, женщину очень нервную и раздражительную. Она принималась выталкивать Кадушкина из харчевни, а тот, упираясь, продолжал чихать по-прежнему. И не раз он доводил ее до слез, до истерики. Она ненавидела его всей душой, один вид его приводил ее в содрогание. Получив известие о его смерти, она вздохнула с облегчением и, перекрестясь, произнесла с чувством глубокой благодарности:*

*— Слава Тебе, Господи, слава Тебе! — и потом говорила каждому из постоянных посетителей харчевни: — Слыхали хорошую новость? Кадушкин подох! Убрался-таки наконец. Да уж и пора: черти давно в аду с фонарями искали его. Окачурился, старый мерин.*

*Рассказывали, что за несколько дней до смерти Кадушкин пожелал исповедаться и во время исповеди сделал выговор священнику за то, что тот исповедовал его «не по правилам».*

— Нетто это исповедь? — говорил он с пренебрежением. — Ты должен сперва изругать меня самыми подлыми, самыми паскудными словами, а потом уже спрашивать о грехах. Тебе деньги платят, а не щепки.

Нюхать табак он перестал только за три часа до смерти.

— Не могу, — проговорил он, выпуская из косяку щей руки тавлинку. — Видно, Кадушкину каюк... нанюхался...

## 2

Ты об этом доме меня спроси, я тебе все расскажу и разъясню, как и с чего это дело началось и чем кончилось.

А это, будто в нем черти пляшут, балы устраивают — ты этому не верь, это только белой кобылы сон и больше ничего. Все это пустое. А что действительно в доме ночью и стуковень, и громовень идет — так это верно.

Ты вот слушай, я тебе всю историю расскажу, кто этот дом построил, кто жил в нем и как на него нашло проклятье. Все это не зря, а дело серьезное.

Построен он давно, сто лет с лишком будет. Это сейчас же после того, как Наполеон из Москвы ушел. А строил князь Оболенский. Тогда вся Москва обгорелая была. Народно поджигали, чтобы французов выкурить. Всю Москву огню предали. Ну, и допекли Наполеона, он и убежал.

Так вот князь Оболенский и построил на Арбате дом. И раньше его же дом был на этом месте, да он сжег его. Ну, а жил он в новом доме или не жил — не знаю. Одно знаю, что князь Хилков снимал в аренду этот дом, квартировал в нем, и в нем же свою кончину нашел. А князь этот был не простой, ученый человек. Раньше он за границей жил и учился. Все экзамены хорошо сдал, да мало ему этого было. У него, видишь ли, такая зацепка была в голове: хотел вторым Брюсом сделаться. Вот, видишь, какой он рейс взял. Вот какой полет захотел сделать человек!

И была у него старинная книга — Брюсово сочинение. Большие деньги он отдал за него, тысячу или полторы. Ну, понятно, человек хотел наукой навеки прославиться, вот и не пожалел на книги деньги. А все же напрасно он так возмечтал — не сделался бы вторым Брюсом. Может, чем другим и прославился бы, только до Брюса не дошел бы. Это оставьте ваше попечение. И раньше многие добивались попасть в Брюсы, и теперь сколько профессоров и докторов добиваются, да не выходит ихняя затея. Вот и Хилков тоже возмечтал и принялся по Брюсовой книге учиться.

А жил скромно: пиров, балов не задавал и в карты не играл, не позволял себе этой мошеннической операции, ведь тут только шулерам да жуликам везет, а честный человек всегда в проигрыше. Самое мошенническое занятие, и тот, кто его выдумал, обязательно был аферист на все руки, жулябия первого сорта.

Ну, а Хилков держал себя в стороне от этих картежников, да и голова у него была не тем забита. Жил потихонечку и прислуги немного держал: лакея да повара. А вот эта прислуга и погубила его. Повар-то, правда, не при чем — лакей постарался, он отправил князя на тот свет горшки обжигать.

И подлая же тварь был этот лакей! Забрал он в свою дурацкую башку такую вещь: волшебником захотел сделаться. Ну скажи, пожалуйста, ему ли об этом помышлять? Лакейское ли дело заниматься волшебством? Ведь при месте был человек, и жрал вволю, и жалование хорошее шло, и всегда одет чисто, обут, и работа легкая. Какого еще чорта не хватало?!

Так мало этого — захотел еще в волшебники попасть! Разумеется от сытого життя: закопался у подлеца жир. Понятно, от барина перешло к нему это. Может, барин

когда и показывал ему эту книгу Брюсову, может, хвастал, что вот, мол, через эту книгу того-то и того-то можно добиться.

Вот лакей и замыслил украсть у князя книгу. Думал — раскроет ее и сразу волшебством просветится. Хорошо заприметил, какая из себя есть эта книга, и как раз князь пошел на прогулку, он ее и попер. Ну, царапнул он ее великолепно, а не знает, что с ней делать. Раскрыл — и глаза вылупил, ничего не понимает, ни одного слова. Видит — не про него писана эта грамота. Бился-бился, ничего не выходит.

А тут, как на грех, барин скоро с прогулки вернулся. Что тут делать? Испугался, закрутился, заметался, как бес от ладана, и не знает, как с книгой быть. Метался-метался, помчался на кухню да и сунул книгу под плиту. А повар свое дело делает, ему невдомек.

И вот слышит лакей — подает барин звонки, зовет его. Ну, летит. А князь сам не свой: хватился книги, а книги нету.

— Где, спрашивает, книга?

Ну, что сказать на это лакею?

— Не могу, говорит, знать, ваше сиятельство. Может, куда завалилась?

— Поищи, — говорит князь.

Вот лакей и принялся искать. Сюда заглянул, туда заглянул — нет нигде. Дурака такого валяет, морочит князя. Тут и князь стал помогать ему. Вдвоем принялись они передвигать столы, диваны, шкафы — на весь дом возню подняли. Ну, понятно, не нашли книги, давно уже истлела, дымом пошла.

А князь весь потемнел. Стоял, думал, думал... Выгнал лакея. Вышел лакей, стоит под дверью, думает, вот-вот барин позовет. Только не зовет его барин. Вот он набрался храбрости, заглянул в кабинет, смотрит — висит в петле: гвоздь в стену вколотил и на шнурке повесился...

Тут лакей и заорал, гвалту наделал на целый дом. Сбежался народ, пришла полиция... Принялся пристав за лакея, за повара. А лакей говорит:

— Ничего не могу знать, ваше благородие. Все книги читал, а какая причина — не знаю.

Ну, понятно, погубил, чортова сволочь, человека, да и «не знаю». А повар и на самом деле ничего не знает. Он на отлете, его дело — кухня.

А как тут правды добьешься, да и кому надо? Повесился и повесился. Значит, смерть такая пришла.

Ну, похоронили князя. После сродственники приехали, забрали имущество, освободили дом. Только недолго стоял этот дом порожняком: снял его один господин семейный. Снял и переехал. Вот живет сутки, живет другие, а на третьи — бежать.

— Пускай, говорит, чорт в этом доме живет, а не я, православный христианин.

— Что такое? — спрашивают.

— Да в нем, говорит, жить нет никакой моготы. Как полночь, так тут и пошла по всему дому возня: и столы, и шкафы, и диваны передвигают, и кровати, и кушетки, и стульями гремят. Такой стуковень поднимут — волосы дыбом становятся. А засветишь огонь — нет никого и все в порядке, все на своем месте. Потушишь огонь — опять пошла возня.

Не поверили ему, думали — колокола льет. Нет, однако, и другие квартиранты больше трех суток не выживали, такое беспокойство. Вот и не стал никто в нем жить. Да будь он проклят, чтобы за свои деньги житья не иметь! А от какой причины эта возня — никто объяснить не мог. Потом-то уж лакеишка этот разъяснил.

А ему плохо пришлось, так плохо, что хуже и некуда: совсем спился, не за грош пропал. Не прошло ему злодейство его. Затосковал, стал пить. И на местах служил, не без дела был, а вот замучила тоска, он и принялся пить. Ну, как запил, его в шею:

кому нужен пьяный лакей? А тут он давай пить и пить. Пропился догола. Оборвался, обтрепался, в опорках — хитрованец настоящий. Все шлялся по кабакам, стрелял. Вот тут он и делал разъяснение насчет этого шума, возни этой.

— Это, говорит, покойный барин, князь Хилков, Брюсову книгу ищет. Это он возню поднимает. — А сам плачет. — Я, говорит, всему причина, я погубил барина через свою собственную дурость.

И рассказал, как он жил у князя Хилкова, как задумал сделаться волшебником, как книгу Брюсову украл и сжег и как через это князь повесился.

— Тут, говорит, во всем виновата моя глупость, несоображение. Князь хотел на Брюса экзамен сдать, так он ведь для этого учился, науку проходил. А я, говорит, без всякого учения хотел постичь волшебство. Вот, говорит, в чем моя ошибка была! — И все плачет...

Ну, подносили, кто рюмку, кто шкалик... Тоже ведь жаль человека, да уж и стар был, седой весь... Так он и околичивался по кабакам. Что это за житье? Хуже собачьего! И подумаешь, ему ли не житье было? Все готовое, жалованье хорошее... Живи себе, не тужи. А вот по глупости сунулся не в свое дело и человека погубил, и сам на мучение пошел... дошатался, на улице и помер. Кто же виноват, как не сам?

*Записано от картузника [1] Семена Кондаршева, лет пятидесяти.*

### 3

Говорят, будто целая семья, семь душ, повесилась в этом доме. Будто жил один человек с женой и пятеро детей было. И вот этот человек фальшивые деньги делал, а дети и проболтались — все малютки были. Полиция и дозналась. Пришла арестовывать. Двери заперты изнутри. Сколько ни стучались — не открывают. Взломали дверь. Смотрят — висят муж, жена и пятеро детей. Будто в газетах писали об этом.

*Рассказывал в харчевне неизвестный мне рабочий.*

### 4

Про этот дом рассказывают на разные лады, вот будто по ночам кто-то ходит по комнатам, стонет. Говорят, муж жену зарезал, а сам застрелился. А за что — не знаю. И вот после этого никто не хочет жить в этом доме.

*Рассказывал укладчик дров на дровяном складе, Андрей Яковлев.*

### 5

Слышал еще до войны, будто привидение по ночам ходило в дому. Все в белом, а мужчина или женщина — разобрать нельзя. И был приказ, чтобы полиция подкараулила. Вот стали караулить. Смотрят — идет. Тут давай палить в него из револьверов. Зажгли огонь. Никого нет, а пули на полу лежат. Ну, может, было что другое, а на привидение повернули. Да мне это ни к чему. Люди говорят — слушаешь, не заткнешь уши.

*Рассказывал водопроводчик С. Менков.*

Давно знаю этот домина, лет тридцать — все пустоует, все порожняком стоит. Никто жить в нем не хочет от беспокойства... Покою нет.

Слышал — такое тут дело: будто, как полночь — музыка и заиграет похоронный марш... настоящая взаврадашняя музыка. Ну, играет вовсю... А как дадут свет — нет никого, ни единой души... Погас свет — опять началась музыка... Ну вот, это беспокойство и есть, а прочее все спокойно, никакого скандалу нету. Конечно, какой сон при музыка? Ну вот, по такой оказии и нет квартирантов. Да и кто пойдет в квартиру такую с музыкой? На беа она сдалась?

А музыка эта вот откуда — тут происшествие. Кровь человеческая тут пролилась. Один граф ли, князь ли смерти себя предал. Из полковников был, и жил в этом доме. А жена у него — красавица на всю Москву. Вот через нее и пошло: с офицером драгунским сбежала. А полковнику от этого срамота. День, другой сумрачный ходит, все молчит... После того созвал офицеров, пир устроил. Вот и сидят эти господа, пьют, едят, и музыка тут играет... Ну, одним словом, бал. А на дворе ночь. Вот полковник говорит:

— Вы на часы смотрите. Как будет двенадцать часов, скажете мне.

Ну, они не знают, к чему это, а все же давай смотреть на часы. Ну, хорошо... Вот смотрят на стрелку. И вот стрелка как раз на двенадцати остановилась... Они и говорят:

— Ровно двенадцать, минута в минуту. Тут он шинпанского стакан выпил.

— Я, говорит, через срамоту пропадаю, жена осрамила меня кругом. Я через эту срамоту и глаза никуда показать не могу. — И после этого приказывает солдатам-музыкантам: — Музыка, играй похоронный марш!

И как музыка заиграла, он и бабахнул себе в висок. И тут ему конец. Ну, сам себя убил — его дело. Чего уж тут? Конечно, нехорошо, грешно...

Он вот виноватит жену: срамоту напустила на него. Да ведь как тут по совести рассудить? Ну, убежала, не она первая, не она последняя. Мало ли таких канареек? — сколько угодно. И что же — все в висок себе стрелять за такую пустяковину? Конечно, ему срамота: полковник, а жена беглянка. Ну, не стерпел и сгинул человек через эту канарейку самую. Только нехорошо и грех большой...

Ну так вот, с той поры в этом доме музыка играет. Ну, какой квартирант станет жить? Жуть возьмет такая и скажешь: «И даром не надо мне этого дома».

И давно толкуют про это самое. Ну, которые и говорят — «неправда». Ну, ежели неправда, с чего же никто не нанимает его? Квартиранта и арканом в него не затянешь. Стало быть, правды-то есть сколько-нибудь. Вот и хозяин, сказывают, давно откачнулся от него. Продавал все... Расхваливал — хороший домик. Только, видно, дураков еще не нашлось, чтобы этикие дома покупать. Вот он и стоит без квартирантов, с одной этой музыкой.

*Записано от старика нищего, Алексея Голубева, крестьянина Тверской губернии. В Москве он живет, по его словам, лет сорок. В молодости работал на земляных работах, был копачом, был носильщиком, носил кирпичи на постройку. Живал в дворниках, но ужиться не мог из-за пьянства. Пить начал смолоду, не переставал и в старости. Пьянство и довело его до нищеты. Познакомился с ним в 1921 г., в харчевне, встречался с ним несколько раз, потом потерял из вида.*

*Этот дом, бывший особняк, стоит на Арбате под номером 14 и представляет собой большое старинное одноэтажное каменное здание с подвальным помещением и довольно обширным двором, в глубине которого видно одноэтажное строение, вероятно, когда-то*



служившее кухней и людской. Обращает на себя внимание фасад главного дома с огромным шестиколонным балконом и десятью высокими окнами. Парадный подъезд очень незатейлив: это обыкновенное крыльцо из тесаного камня со ступеньками с трех сторон. Над ним покоится на двух железных столбиках тоже незатейливый зонтик. Ворота железные и, кажется, не очень давнего происхождения. Со двора, недалеко от ворот, имеется другой подъезд — высокое открытое каменное крылечко, украшенное одним стоящим бронзовым львом. Говорят, был и другой, но он куда-то исчез.

Произвести более или менее детальный осмотр дома со двора и познакомиться с расположением его комнат мне не представилось возможности. Точно так же не удалось установить, кем и когда он был построен.

Среди старожил Арбата он известен, помимо названия «проклятого», еще как дом князя Оболенского. Одна из записанных мною легенд строителем его называет также князя Оболенского, а время постройки относит приблизительно к 1813 г. — сейчас же после того, как Наполеон из Москвы ушел. Одна из моих знакомых, живущая более двадцати лет на Арбате, говорит, что владельцем дома называли князя Хилкова...

Мое знакомство с домом началось с июня 1919 г., когда я по май 1921 г. торговал книгами на его подъезде. В 1919 г. он был необитаем, затем в нем поместилась Государственная закройная, мастерская, на которую однажды летом бандиты сделали налет: связали сторожа, забрали несколько сот катушек швейных ниток и благополучно скрылись. Вскоре мастерская была переведена в другое место. Около этого времени во дворе вспыхнул пожар: загорелся небольшой сарай, который быстро и сгорел до тла.

Затем в доме находился главный склад спичек — «Главспичка», после него — какая-то канцелярия, потом — контора винной торговли «Винторг», которая находится в нем сейчас.

О том, что дом носит название «проклятого», я узнал от некоторых из моих покупателей. Мои расспросы относительно происхождения этого названия дали такие результаты: о том, что он пользуется худой славой, известно многим, но очень немногие из них знакомы с обстоятельствами, при наличии которых создалась такая печальная известность. Те же, кто был осведомлен об этих обстоятельствах, не могли, за малым исключением, изложить их в более или менее законченной форме рассказа, легенды, а передавали их в виде скомканных отрывков, снабжая выражениями «говорят», «будто», «правда ли, нет ли», что говорит о не вполне доверчивом отношении их к описываемым событиям. Со своими расспросами я обращался к рабочим, ремесленникам, уличным и базарным торговцам, а также к некоторым из интеллигентных людей, главным образом, к тем, которые сравнительно давно живут на Арбате. В последнем случае я узнал немного. Оказалось, что многие из них даже и не подозревали о существовании «проклятого» дома на Арбате, и только в одном случае жена профессора рассказала, что в начале девяностых годов распространился слух о привидениях и ночных плясках духов в этом доме. Затем полицейское расследование выяснило, что в подвальном помещении дома собирались воры, жулики и устраивали свои оргии. По изгнании этих непрошенных квартирантов прекратились в доме ночные пляски духов, но название «проклятого дома» утвердилось за ним на том основании, что в нем когда-то произошло выдающаяся по своей обстановке кровавая драма. Произошла ли эта драма в действительности — рассказчица не знает. ... [2]

# Красная площадь

## Иван Грозный и Малюта Скуратов

*Сапожника Василия Парфеныча Алексева, старика лет шестидесяти или немного старше, я знал очень мало, да и то со слов других. Встречал я его в трактире довольно часто, но всегда в компании наших общих знакомых, и мне все как-то не удавалось побеседовать с ним вдвоем. Возможно, что это в конце концов удалось бы, если бы не помешал, как я думаю, один случай.*

*Собирая в Москве по таким модным местам, как трактиры и харчевни, произведения устного народного творчества, я, в силу необходимости, избегаю делать дословные записи их, так как в противном случае вокруг меня создалась бы атмосфера подозрительности и недоверия и меня стали бы сторониться, как зачумленного. Но иногда, хотя и очень редко, приходится делать исключения для малоизвестных и представляющих большой интерес в историческом или художественном отношении песен, предварительно объясняя, для каких целей записывается та или иная песня. В большинстве случаев эти объяснения сводятся к тому, что «за песню заплатят деньги».*

*Одну из таких песен, в свое время запретную, а теперь, можно сказать, забытую (о ходынской катастрофе, происшедшей 18 мая 1896 г. в дни празднования коронации Николая II-го [1]) я записал в присутствии Василия Парфеныча и других трактирных знакомых. Последние, удовлетворенные моим объяснением, не придали этому обстоятельству особого значения, но Василий Парфеныч, по-видимому, взглянул на дело иначе, потому что после он все допытывался у моих знакомых, на что понадобилась мне именно «Ходынка», а не какая-либо другая песня и что я, «собственно, за человек такой».*

*В трактирах я известен как «книжник», т. е. торговец книгами, так как действительно, в течение пяти лет продавал на улицах Москвы книги, но кое-кто знает меня еще за «бывшего учителя» и потому только, что я за короткое сравнительно время научил грамоте сына одного из трактирщиков, умного и очень способного мальчишка.*

*Мне думается, что этих данных в связи с таким подозрительным занятием, как записывание запретных песен для каких-то таинственных целей было достаточно, чтобы поселить в душе Василия Парфеныча чувство недоверия и неприязни ко мне, по крайней мере, я заметил, что именно после этой записи он стал намеренно избегать совместного со мной чаепития.*

*Но, может быть, это и не так, а просто не понравился я ему и невзлюбил он меня. И я очень сожалею об этом, так как в лице его потерял хорошего рассказчика, о чем сужу по легенде об Иване Грозном, рассказанной им в кругу наших общих знакомых за чаем.*

*Биографические сведения о нем, которые я добыл от его знакомых, скудны и неинтересны. Родом он, по словам одних, из коломенских мещан, другие называют его ярославцем; в Москве живет он давно. В молодости, как большинство сапожников, работал у хозяина, потом попробовал было сам сделаться, хозяином — открыл маленькую мастерскую, женился. С мастерской дело пошло плохо, и он прогорел; в семейной жизни ему тоже не повезло — жена прожила с ним год и ушла к своему прежнему любовнику. Так он и остался одиноким до самой старости и живет полегоньку — немного работает, немного выпивает.*

*Иван Грозный родился в грозовую ночь. Вот поэтому-то и прозвали его «Грозный», а не потому только, что он людей мучил и казнил. Это уж после, как он стал царем, пошло на прибавку. А главное тут — грозовая ночь.*

А что казнил он много народу, так это действительно правда. Разговаривать зря не любил: чуть что не по его — голова с плеч долой. А заправилой главным у него был Малюта Скуратович.

— Ну-ка, говорит, Малюта Скуратович, наведи порядок. А Малюта мастер был на это: кого удавит, кого на кол посадит, кого живьем сварит.

А тогда бояре были и пуще всего боялись веревки: не любили, чтобы в петле висеть. И просили они Ивана Грозного отменить веревку.

— Отмени, говорят, эту казнь. Пусть, говорят, лучше будет пролитие крови: хоть, говорят, на мелкие куски изрубь, только бы не петля, потому что это самая подлая смерть.

А он им говорит:

— Для подлецов и казнь подлая. Кто что, говорит, заслужил, тот то и получай.

А это вот какая тому причина, что они не хотели петлю. Которого казнят, тому, конечно, все равно: веревка — веревка, кол — кол, топор — топор. Его дело такое: рассчитался и ступай в землю. А вот его сродственникам, которые в живых остаются, не все равно.

— Д-а! Твоего отца царь подлою казнью казнил! Значит, ваша порода такая подлая, что подлою казнь заслужила! — вот что скажут этим родственникам. А им от этого позор. Для них лестнее было бы, если бы ихнему отцу голову топором оттяпали, только бы не веревка. А веревка — Иудина смерть.\*

Понятно, это в старину люди так понимали о себе: совестились, наблюдали амбицию. А теперь всего больше совесть цыганская, а про амбицию и говорить не приходится: ну, какая у цыгана амбиция? Ты ему наплюй в глаза, а он скажет: «Божья роса». Теперь так и норовят обложить... Обставит тебя и смотрит тебе прямо в глаза. Да это что там — смотрит! Он еще на твой счет чаю напьется! Вот какой пошел продавной народ!

Это вот тоже одному такому Обьегору Обьегоровичу подкинул я подметки, каблуки новые сделал... Товар поставил что надоть, по доброй совести. За пятерик сторговались...

— Сейчас, говорит, Парфеныч, нет ни копья, а завтра получка, принесу. — И вот уже третий год идет и все несет. Намедни встретил на улице:

— А-а, говорит, здравствуй, Парфеныч! Ну, как дела?

— Да какие наши дела? — говорю. — Дела, говорю, прямо сказать: наплевать да размазать. Вот, говорю, иду получать долг с такого же охмурялы, как ты: два рубля второй месяц не платит.

А он хоть бы что, ну, хоть бы одним глазом моргнул! Точно его это и не касается.

— Есть, говорит, у тебя расчет половинку горькой на паях раздавить?

Взяла меня тут досада, обложил я его матом.

— Бесстыжие, говорю, твои бельмы! Ты бы, говорю, вместо того, чтобы половинки раздавливать, хоть бы по полтиннику в месяц платил мне.

— Отдам, говорит, не беспокойся. К чему, говорит, дробить? Только деньгам перевод. Я лучше целиком отдам.

Вот ведь какой обормот! Ну, какая у него может быть совесть? Вот и судись с ним. Скажет: «Я его впервые вижу», и ты же останешься в дураках. Да и не мое это дело — судиться. Сорок лет работаю, ни с кем не судился, а на старости лет не пристало срамиться.

Вот на таких бы артистов Ивана Грозного суд: там бы живо научили ихнего брата долги платить. Там ни повесток, ни протоколов, а просто дело разбиралось:

---

\* Смертная казнь посредством удушения веревочной петлей в русском народе издавна считалась одной из самых позорных казней, как оскверняющая душу казненного. Применялась она к тяжким преступникам или же к тем, которых, в тех или иных видах, хотели заклеймить позором.

— Ты это что же, чортова на тебе голова, человеку за работу не платишь?  
— Да я, говорит, и гроша ему не должен.  
— А! Не должен? А ну-ка, Малюта Скуратович, узнай, должен он или не должен?

Ну, Малюта что учить? Развернется — бац в ухо, да вцепится в волосы и пошел таскать... уж он его куделит-куделит...

— Должен, должен! — кричит. — Сейчас отдам!

— Сколько же ты должен, шарлатанская твоя морда?

— Да я, говорит, господин царь Иван Грозный... — или как там еще называли в старину?.. Тогда ведь этого не знали: «ваше высочество», «ваше величество» — а просто было, как вздумается, так и называли. — Да я, говорит, два рубля должен...

— Два? А ну-ка, говорит, Малюта Скуратович, мой верный неизменный слуга, отпусти-ка этому шеромыжнику горячих лозанов, по копейке за штуку. Поведи-ка, говорит, ты этого афериста на Лобное место, пусть, говорит, помолится Богу, а то он уж забыл, как лоб крестят.

Вот Малюта сгребет его, раба Божия, за воротник и поволокет на Лобное место:

— Раздевайся, молись Богу да прощенья, говорит, у народа проси.

Ну, как помолится, поклонится на все четыре стороны света белого, и тут скамандует Малюта:

— Ложись! — И тут он научит его, как надо платить долги, тут он разъяснит ему, какое есть Лобное место. Тут такое дело: ложится человек и не знает, встанет или тут же ноги протянет.

А Лобное это место вот почему: ведь когда надо было рубить голову человеку или, скажем, только спустить с него шкуру, сейчас велят ему молиться и кланяться народу. Вот он и молится, кланяется, стучается лбом... Вот от этого самого она и есть Лобное... Ну, тоже когда голову снесут: упадет и стукнется лбом... Мало ли голов слетало — все кровью залито было... Вот оно, какое это место. [2]

Это вот тоже история: Наполеон хотел узнать, какое это — Лобное место. Это в двенадцатом году, когда он в Москве объявился. Вот приезжает на буланом коне и спрашивает:

— А где это, говорит, тут у вас, на Красной площади, Лобное место?

Ему и указывают:

— А вот это, говорят, самое. Вот он посмотрел, посмотрел:

— Ну-ну-ну, — говорит. — Это действительно!.. Конечно, человек по описанию знал... Да ему ли было не знать! Такой умнейший человек, да чтобы про Лобное место не знал. Да он все, все на свете знал! Хоть чего и не видал, а знал по книгам. А тут своими глазами увидел, какое есть русское Лобное место в Москве.

— Действительно, говорит, это самое настоящее Лобное место.

Ну, еще бы не настоящее! Головы, как капустные качаны, каждый день катились. Иван Грозный не любил попусту говорить.

— Я, говорит, такой царь: казнить, так казнить, а миловать, так миловать.

Ну, а все же Малюта поумнее его был. А отчего поумнее, так тут такая история. И вот какая эта самая история случилась.

Это раз заходит Иван Грозный с Малютой к одному боярину в гости. Ну, может, на именины, а то просто — захотел на стороне попить-погулять... Во дворце надоело: все свое, и чего захотел, того и спрашивай, — отказу не будет. А тут — ешь, что подадут. Ну, может, и не это, а была другая причина... Одним словом, зашел он в гости с Малютой к этому самому боярину.

Вот сидят, пьют-едят, речи говорят... Все как следует. А у этого боярина мальчонка годовалый по полу ползает. Ну, может, немного постарше был... Ну, хорошо. Вот, значит, и ползает этот мальчонка, боярский сын, а из себя такой хорошенький...

Вот Иван Грозный возьми да и посади мальчишку этого к себе на колени... А мальчишка тут и наделал...

Как увидел Иван — взбеленился:

— Малюта, кричит, удави этого мальчонку!

А Малюта говорит:

— Я кого хочешь удавлю, но только дай, говорит, наперед тебе слово сказать.

— Ну, — говорит Иван, — какое там слово, сказывай...

— А вот какое, — говорит Малюта. — Ты хоть и царь, а дурак!

Иван Грозный и глаза на него вытаращил:

— Как ты смеешь, кричит, да я, говорит, из тебя пепел сделаю!

А Малюта подставил ему шею и говорит:

— Меня не напугаешь. Сколько, говорит, ни живу, а умереть должен. А нынче ли умру, завтра ли мне все едино. А только, говорит, ты настоящего дела не знаешь. Ты, говорит, подумай, кто такой этот мальчишка? Ведь он, говорит, еще дите, ничего не смыслит. Нешто, говорит, он понимает, что ты царь? Он, говорит, еще не в разуме и для него все равны... Вон, говорит, ходит по двору курица: приди к ней царь, приди нищий — ей все равно. Ее, говорит, дело зернышки собирать да яйца нести, а кудкудачет она, говорит, одинаково, что при царе, что при нищем. Она, говорит, — курица, и мозги у нее куриные, дурацкие мозги... Так, говорит, и этот мальчишка... Вот, говорит, смотри: сделаю ему испытание, узнаешь, какой у него ум.

Вот взял Малюта три тарелки: в одну насыпал верхом золота, в другую — алмазов, изумрудов, а в третью — горячих углей, настоящего жару. И поставил он эти тарелки на полу, потом пустил мальчонка на пол и говорит царю:

— Ты, говорит, смотри, за что возьмется мальчишка...

Вот мальчишка пополз, пополз... цап за угли и заорал — руку обжег.

Тогда Малюта и говорит царю:

— Видел, какой у него ум?

— Твоя правда, — говорит царь, — не за что мальчонка давить.

Снял он с себя одежду и говорит:

— На, говорит, Малюта Скуратович, за твою верную службу. Носи, говорит, на здоровье.

А Малюта ему в ответ:

— Я, говорит, слава Богу, еще не сошел с ума, чтобы обгаженную одежду носить. Я, говорит, не какая-нибудь подлая тварь, а первый после тебя человек, и мне, говорит, подобает честь первая после тебя.

Ну, конечно, знал, что нужен царю, вот и говорил так. А то бы, если бы не то, нет-то сказал бы так? И за такую бы одежду в ноги поклонился... Ну, тоже и царь понимал, что без Малюты ему никак нельзя быть. Вот он и не осердился на его слова, а только говорит:

— Твоя правда. После такого, говорит, дела мне не подобает носить эту одежду, и тебе, говорит, тоже не подобает, а потому, говорит, забери ты себе это золото и эти алмазы.

Малюта и забрал.

А боярин только помалкивает. Это золото и изумруды эти его были, а только он ни слова... А что бы сказал? Ну, скажи он: «Это мое золото, это мои алмазы», так они сейчас бы открутили ему голову и мальчонка этого удавили бы и сожгли бы дом. Боялись они кого, что ли? Оба владыки были, вот и лютовали...

Собрались: царь — зверь и палач, и такой же Малюта, да еще злее.

Ну, все же долютовались. Пришло время и не стало им житья: как ночь, так и приходят, которых они казнили. Придут и тоскуют... Это ихние души приходили. Вот царь да Малюта — что тут делать? Взялись молебны служить. Только служат-служат, а толку

нет, еще больше стали приходиться... Вот пришло лихо царю и Малюте. Малюта, как оглашенный, заметался по Москве. Метался, метался, и сгинул. «Где, где Малюта?» — нигде не видно, нигде не слышно, точно сквозь землю провалился. Думали — в реку бросился, утоп... Только если бы утоп, то всплыл бы, признали бы... Его ли не признать? Да его разбойничью рожу всяк признал бы... Ну, нет и нет, так вот и пропал... И никто не знает, что с ним стало, и в книгах об этом ничего не сказано. [3]

Ну, один пропал. После черед за царем пришел... А его черва одолела... Загнило его все тело, язвы на руках, на ногах пошли и завелись в них черви. Так живьем и едят его... Он к докторам и лекарства разные... И чего-чего не перепробовал: и травы разные, и составы... Нет, ну хоть бы тебе самая малость облегчения... А те, которых он казнил, не отстают: как ночь — они уже являются... Ну, и съела его черва... помер. Ну, как помер, тут многие перекрестились: «Слава Тебе, Господи!» Да и как не перекреститься, ежели каждый час мучения от него ждал...

Ну, как ни мучил, а ему тоже пришлось лихо. Так и заел его червь... А про Малюту ничего неизвестно, какая его смерть. А тоже, гляди, не лучше Ивановой — тоже, небось, где-нибудь окачурился, как собака... Может, удавился в лесу...

## Постройка кремлевских стен в Москве

Эти стены Кремлевские царь Иван Грозный построил.[4] Погнал из деревень народу множество, может, тысяч двадцать.

— Чтобы, говорит, в один месяц было все готово.

Ну, стал работать народ. А платил царь каждому человеку по пятнадцати копеек в день. А какие это деньги? На них рабочий человек сыт не будет.

И много тут народу от голода помирало. А царю что: одни умрут, других пригонят.

Да это еще что — голод! Колотили, били людей. Такие были приставлены вроде десятников с палками да кнутьями. Человек еле-еле ноги таскал, а они кричат: «работай!» Да как вытянут, вытянут палкой. Ну, через силу работали. Работает-работает, сковырнется, и ноги вытянул. А на его место сто новых найдется. А царь говорит:

— Душа из вас вон, а чтобы в месяц все готово было! Ну, мастера и старались — себя и людей не жалели. И сколько народу загублено.

Ну, все же к сроку кончили. А царь только посмеивается:

— Иной бы, говорит, эти стены три года строил, а у меня в месяц готово.

Вот и недаром старые люди говорят: «Кремлевские стены на костях человеческих стоят». Так оно и есть.

*Записано в 1925 году от печника  
Якова Васильевича Пчелкина, в трактире*

# Храм Василия Блаженного

## 1

Храм Блаженного построил Иван Грозный.

— Меня-то, говорит, народ и без церквей тысячу лет будет помнить, а я, говорит, хочу, чтобы и отца моего помнили, родителя Василия.<sup>[5]</sup>

А про себя-то он верно сказал, что народ не забудет его: жестокий был царь, прямо сказать, кровопивец. Мучил людей — кожу с живого человека сдирал, в кипятке варил, на огне жег... Ну, только не зря, а как кто провинится. И тоже с разбором казнил: ежели ты простой человек, мужик или рабочий, тебе меньше наказание... Ну, оттяпают топором руку ли, ногу ли — и ступай, проси Христа ради, больше с тебя не спросится. А ежели ты, положим, князь или там купец, или из дворян, — он тебе покажет, какая у него есть казнь: сперва пальцы все отрубит, потом жилы начнет вытягивать, а то возьмет, с живого кожу снимет. Оттого и Грозным его прозвали: грозу на всех нагонял...

Ну вот, значит, и говорит:

— Хочу церковь Василия Блаженного построить, чтобы на удивление всем была.

И приказал отыскать лучшего мастера. Только никто не идет — попрытались, попритаились, боятся. Думают — не угодишь, тут тебе и смерть. Ну, смерть-то ничего, один конец, а вот как начнут жилы вытягивать... Ну, и не шли.

А только все же выискался один такой мастер.

— Я, говорит, могу сделать, только чтобы ни в чем задержки не было.

Царь и говорит:

— Задержки не будет, я ничего не пожалею. Ежели угодишь мне — озолочу тебя. А ежели изгадишь, то казни еще не было, какой я тебя казню.

А этот мастер тоже не из робких был.

— Ладно, говорит, давай материал, давай денег.

Ну, царь исполняет все, что он прикажет, и ни в чем отказу не было. Вот стал строить мастер. Строит и строит. А царь придет, посмотрит, а в дела не вмешивается, потому что мастер еще заранее сказал ему:

— Ежели будешь мешать, брошу работать, не боюсь твоей казни.

Вот царь ничего и не говорил мастеру.

И строил мастер, лет пять, а то и все десять — не знаю, сколько времени строил. А только, действительно, выстроил всем на удивление. Царь остался доволен:

— Это хорошо у тебя вышло, говорит. А лучше можешь сделать?

А мастер возьми и бухни:

— Могу, говорит.

Тут царь и принялся ругать его:

— Ах ты, говорит, сукин сын! Ежели можешь, отчего не сделал? — и приказал отрубить мастеру голову.

А после жалел:

— Действительно, — говорит, — нехорошо я поступил: он бы мне другую, получше церковь выстроил.

Ну, что жалеть? Надо бы подумать об этом раньше.

Эту церковь выстроил, верно, Иван Грозный, только не им она начата была. А жил тогда в Москве один такой юродивый — Василий Блаженный. От него и пошло начало этому собору, а Иван Грозный на готовое пришел. Ну, правда, не пожалел своих денег.

А этот юродивый зиму и лето ходил в одной рубахе и босиком. До колен была рубаха, просто женская рубаха. И шапки не носил. Зимой-то какие морозы? Теперь нешто морозы! Раньше галка на лету замерзала. Плеснешь, бывало, воду, а падает лед. Вот какие морозы были! А Василий этот в одной рубахе ходил, и ничего.

И собирал он деньги. А собирал так: придет на рынок, подымет полу и стоит, а сам молчит... Ну уж народ знает: начнет класть в подол — кто пятак, кто копейку, кто сколько может. И как наберет полную полу, сейчас бежит на Красную площадь, где теперь Василий Блаженный стоит. Прибежит и примется бросать деньги через правое плечо. А они падают — пятак к пятаку, копейка к копейке, три копейки к трем копейкам. Сами по порядку падали.

И много было таких кучек денег. И никто их не трогал, и воры не трогали. Всяк смотрел, а взять боялся. И вот почему боялись брать эти деньги: раз нашелся такой человек — дай, говорит, возьму денжат немного. Пришел ночью, набил карманы. А тут и серебряные были деньги, и золотые. Ну, наложил в карман, хочет идти, а ноги не идут. Он и так, он и сяк — не идут, хоть ты что хочешь делай. Ровно бы кто гвоздями прибил их к земле.

Вор и испугался. Думает: «выброшу деньги». А деньги не идут из кармана. Мучился-мучился, не идет его дело на лад. Да так всю ночь и простоял. А тут утро. Ну, народ видит: стоит человек у Васильевых денег.

— Ты чего тут?

— А вот, говорит, Бог наказал меня за воровство. — И рассказал, какая его постигла беда.

А Василия юродивого тут нету он уже спозоранку побежал на базар. Ну, народ смотрит на того вора и удивляется. Тут доложили царю про такое дело.

Вот приходит царь и давай ругать вора:

— Ах ты, говорит, такой-сякой! — Уж он гнал, гнал... Ну, тоже, может, не раз и матюгом благословил.... — Тащите, говорит, его, подлеца!

Стал народ тащить вора и не может стронуть с места. Тут царь и говорит:

— Надо Василия подождать, без него ничего не выйдет.

Ну, ждут. А народу собралась целая масса. Конечно, каждому любопытно посмотреть. Ждали, ждали Василия. Ну, прибежал, давай деньги бросать через плечо. А тут — царь. А только Василий этого не разбирал: царь и царь, а только он свое дело делает. Вот покидал все деньги, посмотрел на этого вора, погрозил ему пальцем. И тут вора отпустило. Он поскорее выбросил деньги из карманов, хотел уходить. Только царь говорит:

— Посадить этого подлеца на кол, чтобы не воровал святых денег!

Ну, его живо посадили. Поорал-поорал и подох.

Только вот по этому самому и не трогали Васильевых денег. И Василий их не караулил и никто их не караулил, а взять всяк боялся. Кому охота на колу сидеть?

А на что собирал Василий деньги — никто не знал. И долго он их собирал. А сам уж старый стал.

Вот раз видит народ: копает Василий яму на том самом месте, где деньги бросал. А для чего ему эта яма, никто не знает. Народ собрался, смотрит, а он все копает. Вот выкопал яму, лег около нее и руки на груди сложил.



— Что же это такое? — думает народ. Да тут один человек разъяснил:

— Да ведь, говорит, помирать собрался Василий.

Тут сейчас побежали и сказали царю:

— Василий Блаженный помирает.

Вот царь поскорее собрался, приходит. Василий и указывает царю на деньги, указывает на карман. Дескать, забери эти деньги. А сам тут умер. Вот царь приказал все эти деньги покласть в мешки, сложить на воза и отвезти во дворец.

А Василия на том месте похоронил.

И после того приказал строить церкву Василия Блаженного на том же самом месте. Ну, и своих денег не жалел.

А про то, что он велел отрубить мастеру голову или еще как по-особому его казнил — ничего не знаю. Только думаю, что этого не было, потому что же за дурак такой был царь? Человек такую удивительную церковь построил, а он его казнил. Может, тут что иное было?..

*Эти две легенды записаны мною в Москве в марте и июне 1924 г. Первую из них я услышал случайно в трактире за чайным столом от неизвестного мне посетителя. Вторую рассказал сапожник Иван Васильевич Шамкин, которому я предварительно передал содержание первой легенды. Шамкин отнесся к ней отрицательно, как, по его словам, к неправдоподобной. Свою же легенду он считает правильной, «потому что она идет исстари».*

## Марьино роццо

С этим человеком я не был знаком и до сих пор не знаю, кто он такой. Встречал я его два раза в харчевне «Низок», помещавшейся в подвале дома № 20 на Арбатской площади, и раз в трактире на Смоленском рынке, где купил у него книгу.

Впервые встретил я его весной 1923 г. По каменным, избитым тысячько ног ступенькам в «Низок» спустились два человека: один слепец с вытекшими глазами, еще довольно молодой, лет тридцати пяти, с большой гармонией, висевшей у него на ремне через плечо, другой, ведший его за руку, был человек за пятьдесят лет с черной с проседью, коротко подстриженной бородкой, в старой солдатской шинели, с валторной под мышкой.

Заметно было по их лицам, что оба они немного «подержали чорта за уши», т. е. выпили. Спустившись в подвал, валторнист провел слепца во вторую комнату и, усадив его на скамейку, обратился к обедавшей и чаевавшей публике.

— Граждане, — проговорил он хриповатым голосом, — вот мы сейчас сыграем для вашего удовольствия, а вы пожертвуйте кто сколько может в пользу инвалида, потерявшего зрение на войне. Ну-ка, Ваня, приготовься, — сказал он затем слепцу. — «Чудный месяц» или «Путилова» громыхнем, что ли?

— Да мне все едино, — равнодушно отозвался слепец. — Давай и «Чудный месяц».

Взял он два-три аккорда и заиграл, а валторнист для чего-то постучал ногтями по трубе и припал губами к амбушюру. [6] Играл Ваня так себе: не хорошо и не дурно, но мотив «Чудного месяца» не давался ему. На одном колене он спотыкался и «заезжал в чужой огород». Не ладилось дело и с валторной: она никак не могла попасть в такт, да и сразу становилось видно, что владелец ее не заправский музыкант.

Но Ваня все же сумел выйти из затруднения, перейдя на веселый и задорный «трепачок», нечто среднее между «казак-вальсом» и «боярыней». На этом трепачке он, должно быть, набил руку, потому что играл его гладко, что называется, без сучка и задоринки. И с

валторной дело пошло на лад, и музыканты разошлись вовсю. Выходило неплохо, не доставало еще бубна, пляса и пьяного разгула.

На лицах сидевших за столами заиграла веселая улыбка, и уже кое-кого подмывало пуститься в присядку, по крайней мере, Вася, молодой паренек, завсегдатой харчевни, начал подергивать плечами и притоптывать босыми ногами, но в этот момент появился хозяин харчевни и прекратил игру.

— Милиция скажет: у меня пьянство с музыкой происходит, — сказал он валторнисту. — Вам — ничего, а меня оштрафуют.

Валторнист взял под мышку трубу и с картузом в руках обошел публику, потом подал руку слепцу и поднялся наверх. Я спросил Васю, не знает ли он, что за человек этот валторнист.

— А черт его знает! — отозвался Вася. — Мало ли тут разных дьяволов шатается? Всех не узнаешь.

Да что за человек? — продолжал он, усмехаясь. — Не видишь, что ли? Наш же брат, отряха-мученик.

Так, с легкой руки Васи, я и прозвал про себя валторниста Отряхой-мучеником.

Второй раз я встретил его недели две спустя, в той же задней комнате «Низка». Он был один и уже без валторны, сидел за общим столом и, уминая гречневую кашу со щами, перекорялся с сидевшим против него за чаем портным Василь-Ванычем. Оказывается, до моего прихода в комнате зашел разговор про убийство грабителями в Марьиной Роще трех человек, о чем в тот день сообщала газета. Что было говорено про это убийство, не знаю: я пришел позже, когда начались пререкания относительно происхождения названия «Марьиная Роща».

Всезнающий Василь-Ваныч уверял, что «это название пошло от повелительницы разбойников Марьи, которая жила в лесу», стоявшем на месте нынешней Марьиной Рощи.

Отряха-мученик не был согласен с Василь-Ванычем.

— Брехня! — бросил он, уминая кашу.

Василь-Ваныч обиделся и не захотел остаться в долгу.

— Мне нет никакого резону брехать, — возразил он. — Пятьдесят три года живу на свете и, слава Богу, никто не скажет, чтобы я хоть раз сбрехал, а теперь, на старости лет, и подавно не стану брехать. Но, действительно, есть на свете такие подлецы, которые брешут, как собаки.

— От подлеца и собаки слышу, — отразил удар Отряха-мученик. — Но, — погрозил он Василь-Ванычу ложкой, к которой пристали крупинки каши и кусочки капусты, — если была такая повелительница, то как и зачем поселилась она в этих местах? Ведь пришла же она откуда-нибудь, не из земли же выросла, как бурьян!

— Совершенно верно, — покорно согласился Василь-Ваныч, — не из земли. Про нее есть целый рассказ, история такая есть, да я запамятовал.

Отряха-мученик с видом сомнения покачал головой. Тарелка перед ним была уже пуста, он облизал ложку, достал папиросу и закурил.

— Действительно, — заговорил он, пуская дым через ноздри, — была и Марья, только не эта дурацкая повелительница разбойников. И не одна была она... Тут — роман\*, книга, все подведено по порядку, все описано как следует с понятием и разумением, а не с ветру взято. Тут, голубчик мой, люди умные поработали, чтобы подвести итог. Тут дело сурьезное, а не побасенки пустые. Люди головой работали, размышляли, а не бухвостили языком.

После такого вступления Отряха-мученик, подстрекаемый язвительными замечаниями («Тоже, должно быть, бряхенька», «Наболтать всяк может, а попробуй с умом расска-

---

\* В московских низах произносится роман, а не роман, потому что, как мне объяснили, Роман — мужское имя, а роман — книга, в которой описывается про любовь или еще про что-нибудь интересное.

затъ») большого любителя занимательных историй — Васи, нашел нужным приступить к повествованию о том, с чего пошло название «Марьина Роцца». Но прежде было еще одно маленькое вступление, заключавшееся в матерной ругани по адресу «дураков, которые ни уха, ни рыла не смыслят, а тоже суются с своим дурацким мнением». Хотя это было сказано, как мне кажется, всецело на счет Васи, но Василь-Ваныч и на этот раз обиделся.

— Ну-ну, — промолвил он, — послушаем, что скажут умные люди, послушаем, как они по-разумному расскажут.

Рассказ Отряхи-мученика не сразу пошел складно — как будто немного спотыкался, но затем, подгоняемый матом рассказчика, покатился по ровной, гладкой дороге. Им заинтересовались все находившиеся в комнате, и особенно Вася, который, облокотившись на стол, слушал, не спуская глаз с Отряхи-мученика, и, когда тот кончил рассказывать, он первый похвалил его:

— Вот это так, — сказал он, — вот это я понимаю. Это, действительно, можно сказать, правда. А то — «повелительница разбойников»... Хе-хе. И чудодей же этот Василь-Ваныч: сморозит такое, что только смейся!

Но Василь-Ваныч не хотел сдаваться: хоть он и признавал, что Отряхин рассказ «похож на правду», однако, настаивал на том, что «настоящая правда» там, где главным действующим лицом рассказа является «повелительница разбойников Марья». Вся беда Василь-Ваныча была в том, что сейчас он никак не может припомнить эту историю.

— Помню, — продолжал он, — была Марья очень красивая и очень суровая. Скажет: «сделай то-то и то-то» — и делают. А кто ослушается, тому пуля в лоб. Ну, а вот как она пришла в роццу и чем закончилось дело, не могу припомнить.

Отряха покачал головой, усмехнулся и махнул рукой: дескать, мели, Емеля!.. Поднялся и ушел.

Последний раз я видел его уже в 1926 г. в одном из трактиров Смоленского рынка: все в той же шинелишке, он ходил от столика к столику, предлагал «интересные книги».

В том, что он стал продавать книги, не было ничего особенного: тогда многие из безработных занялись этим делом, тем более, что государственное издательство из своего запаса национализированных книг отпускало их желающим по очень дешевой цене.

Не знаю, как вообще шла торговля у Отряхи, но в этот раз ему положительно не везло: кому бы он ни предложил книгу, все только отмахивались, не желая даже взглянуть на нее. Он был раздосадован, что видно было по его лицу, и, проходя мимо моего столика, уже не считая нужным остановиться, очевидно, будучи уверен, что и я отмахнусь от него. И когда я позвал его, он глянул на меня с недоверием, но все же приблизился к столику.

— А ну, посмотрим, что ты за грамотист такой? — проговорил он с оттенком насмешливой пренебрежительности. — И был он очень удивлен, когда я, выбрав книгу, не торгуюсь, уплатил ее стоимость.

— Ну-ну, — покачал он головой, — а я ведь думал, что и ты такой же аргутан, как вон те, — указал он глазами на сидевших за столиками. — Ни один даже не взглянул. От книги отмахиваются, как шелудивая собака от мух.

Я предложил было ему стакан чаю, он отказался.

— Какой чай! — возразил он. — Надо товар сбывать, а не чай распивать. — И, пожелав мне «всего наилучшего», он направился к выходу.

Марьина Роцца, так-растак! Нешто это настоящее ее название? Разбойничья заводилка, мошенническое гнездо — вот как надо бы назвать. Какое это место? Пригон воров и жуль! Тут тебе и голову оторвут, и фальшивых денег наделают. Какие тебе требуются? Бумажки? Получай! Серебро? Имеется и серебро. Паспорт понадобится — ступай в паспортную контору, выдадут без замедления. Казенную печать подделать надо — и это можно... Все можно, только заплати. Человека отравить тре-

буется — есть и на это мастера. А насчет воровства что и толковать! Шубу у тебя украдут, тебе же продадут, и ты не будешь знать, что это твоя шуба. Вот какие мастера! Одно слово, разбойничий вертеп!

А вот прозвали «Марьяна Роцца», так и пошло, так и привилось это прозвище. Ну, если пошло, значит, есть причина: без причины ничего не бывает. А причина такая: лакейская любовь. Тут ведь целая история, целый роман — великолепная книга! Это не то, что напишут гнусность и говорят: «роман». А тут все у места, все определено, все разъяснено, указано — как, что и почему. Тут собачьего гавканья нет, а начинается с дела.\* А дело это взялось с лакея Ильи. У помещика он служил. В крепостное время история происходила...

И жил этот Илья у одного барина лакеем. Парень молодой, собой красавец. А этот помещик раз в месяц в город ездил по своим делам. И стоял тут на перепутьи постоянный двор. Помещик и останавливался на этом дворе, и пока там лошадей кормят, он чаю напьется или кофию. А у этого хозяина, который двор содержал, была дочь, девка Марья, молодая, красивая... И вот этот Илья-лакей врезался в нее... И она в него таким же порядком. Словом, обоюдно. А как это дело у них сошлось, рассказывать — долгая музыка.

Ну, как делаются такие дела? Ведь не один раз барин останавливался на этом постоялом дворе. Ну, Илья видел Марью, и она его видела. И тут уж, конечно, то-се... А там дело и пошло на лад. Ну, может, Илья из города подарок какой привезет ей: ленточку тайком сунет, или духов, или помады. А раньше помада была. А духи назывались «амбре». Я еще захватил: в таких фигурных пузырьках были, а помада в баночках. И была помада розовая и зеленая, душистая такая...

А тогда и мужчины голову мазали помадой. Да и сам я помадился. Конечно, чуть-чуть, лишь бы волосы пригладить, чтобы торчмя не торчали, а так, чтобы мало-мало приличие было. Помажешь, пригладишь — оно и хорошо. А то ведь иной возьмет, да целую банку изведет на свою голову. Намажет свои волосищи и ходит, как какой-нибудь негодяй. Срамота одна! А это амбре женщины и девушки употребляли. Тоже — и мужчины. Ну, мужчины — для дурацкого шику. Мужчине совсем это не пристало, чтобы душиться. Помада для головы — это да. Это такая вещь, для всех — и женщинам, и мужчинам, а духи — женщине. Ей это идет: ленточка там, колечко... сама чистенько одета... Тут и духи у места. А мужчине это не пристало. Только есть и мужчины — и-и-и, надушится!.. Дурость одна...

Ну, ладно. Вот, значит, у этого Ильи да Марьи любовь закрутилась обоюдная. Только Илья метил так, чтобы жениться на Марье, а не то, чтобы обставить девку и тягу. Этого не держал в мыслях человек.

А как женишься, когда тут баринова власть? Дозволит — женишься, а не дозволит — хоть в лепешку разбейся, ничего не поделаешь!

Вот Илья и стал просить барина. А с Марьей и ее родителями у него былоговорено. Оставалось дело за помещиком. А помещик и слышать не хочет.

— Чтобы, говорит, такой глупости я от тебя и не слышал. Так как, говорит, моя власть над тобой, то я, говорит, хочу, чтобы ты до скончания моей жизни при мне лакеем оставался. И никакой, говорит, тебе жены не надо.

А Илья давай его просить, молить. А барин уперся на своем: «Не позволю!»

Ну, что тут делать? И повесил Илья голову. Ну, и рассказал Марье и ее родителям обо всем. А тем печаль, а пуще всего Марье. А Илья говорит:

— Еще раз попрошу, а там — суди меня Бог.

А что задумал — не сказал.

---

\* На языке московской улицы «делом» называется уголовщина. Сухое дело — воровство, и мокрое — разбой, грабеж, сопровождаемые убийством или ранениями. Отсюда «деловой» или «деляга» — вор, разбойник и вообще что называется «преступный элемент».

Ну, хорошо. Вот пришло время помещику в город отправляться, и едет он с Ильей. Едут на тройке, и все в порядке у них, аккуратно. Вот приезжают на постоянный двор. Кучер сейчас лошадей кормить, а барин за кофий принялся. А Илья тем временем уже пошущукался с Марьей.

— Ты, — говорит, будь начеку: как, говорит, кликну тебя — бегом беги ко мне. — И после этого идет к барину: — Не губите, говорит, ваша милость, ни меня, ни себя, дозвольте, говорит, жениться на Марье, а ежели, говорит, не дозволите, суди меня Бог!

И как сказал он это, барин весь так и закипел:

— Ах ты, говорит, сукин сын! Ты, говорит, еще угрозу произносишь! Да я, говорит, тебя, паршивца, в ступе истолку!

Тут Илья выхватил из-за голенища нож и — раз-раз! — барина по горлу. Барин повалился на диван, кровью облился.

Вот тебе и «в ступе истолку!» Самого зарезали, как барана.

Ну, хорошо. Вот, значит, полоснул Илья барина, сейчас нож на старое место, за голенище, сунул и вышел, а дверь хорошо за собою затворил.

Вот он какой аккуратист был! Иной с перепугу сам не свой бы стал, а у него все прилично вышло. Конечно, заранее он это дельце обдумал, обсудил.

И как вышел он на двор, кричит кучеру:

— Ступай к барину!

А тройка уже готова: садись да поезжай. Вот кучер поскорее к барину идет, думает, что тот и взаправду зовет. А Илья тоже скорым шагом к тройке направляется. А тут — Марья. Он и говорит ей:

— Садись скорее!

Вот Марья живо села, а он на козлы вспрыгнул, вожжи взял.

— Ну-ка, пошевеливай!

И как тройка выскочила со двора, он и засвистал. Тут лошади взялись и понесли!

А что произошло — никто не знает. Видят, Илья правит, а вместо барина Марья сидит, а к чему это? Что такое случилось? — Неизвестно. Уже после-то дело разъяснилось, узнали, что Илья барина зарезал.

Ну, дали знать начальству. И понаехало этого начальства чортова уйма. Пошли тут допросы и принялись тут Марьиных родителей турсучить. А чем люди виноваты? Не они резали, не они учили Илью. Ну, да ведь начальству за кого бы не зацепиться, а только бы зацепиться!

А барина похоронили, отпели «вечную память!» И после того такое рассуждение было у начальства, как бы Илью поймать. А спросить, где ловить? И не скажет никто, потому что не знает, куда Илья девался, куда на тройке ускакал.

А Илья не дремал, в леса забрался и разбоем занялся. Через эти леса дорога большая прошла, вот он тут и пристроился рыбку ловить. Идет ли кто, едет ли кто, он сейчас — «Стой! Подавай все, что имеешь, не то нож в бок!»

Ну, что тут поделаешь? Разбойник, нетто его упростишь, умолишь? И отдает человек все, да еще в ноги поклонится, ежели живым отпустит. А который заупрямится, душа из того вон: зарежет и обберет донага.

Ну и Марья тоже заодно с Ильей: обрядилась в мужскую одежду и вроде помощницы у него, кого ножом пырнет, кого кистенем пристукнет. На то уж пошла. Понюхала человеческой крови, и ничего ей не страшно. Конечно, Илья втравил ее в такое дело. Ну, да и человек такой уродился.

Вот хорошо... Вот они, значит, и орудовали вдвоем, только видят — неспособно им работать, много добра мимо уплывает. И это вот почему так: одиночку-то они легко обработают, а вот как идет большой обоз и людей при нем много, так тут не

выскочишь и не крикнешь «Стой!» Тут смотри, как бы самого не ухлопали... Ну, вот, по такой причине они только посмотрят на обоз в лесу, да и облизнутся: хороша, мол, Маша, да не наша!

Только Илья не такой был парень, чтобы горе горевать, а со смекалкой был — подыскал себе подходящих товарищей, таких же отчаюг, и поначалу к нему присоединилось пятеро, а потом целая шайка набралась — человек двадцать, а он был главарем, атаманом шайки.

И вот тут-то разошлись, разгулялись разбойнички, показали, какие они удалые молодца! Конечно, это ведь только к слову говорится «молодцы», а на самом деле какие же они молодцы? Сволочь, последние люди. Что волки, то и они.

И принялись они рвать, терзать, и ни конному, ни пешему не было пути. И с год они так разгуливали, кровь человеческую проливали, а потом пришел им конец: попиrowали и баста! Послали на них роту солдат, да деревень пять сбили на облаву. Вот их окружили, и некуда им деться. Что остается тут делать? Вот которые были поудалее, пошли напролом: семь смертей не бывать, одной не миновать! Ну, тоже надеялись пробиться. Только и солдаты не зевали — давай их пулями угощать... И легли эти самые «проломщики» — кого сразу уложили, а кого ранили, потом прикладом по башке доби́ли... А другие разбойники сдались в плен. Они думали — их посадят в острог, а потом можно будет убежать... Ну, их вот как посадили в острог: тут же в лесу повесили на деревьях и так оставили висеть на корм воронью. А иначе как же с ихним братом обходиться? Пожалуй, посади их в острог, корми, а они убегут и опять начнут грабить, убивать... Да на кой чорт они сдались? Самое лучшее — уничтожить всех без остатку и все тут!

А все же главный коновод, атаман шайки, Илья да Марья, ушли. Хитрые оба были: почуяли — беда надвигается и заранее дали тягу, обдурили своих товарищей и поминай их как звали! И взяли они направление на Москву. А как добрались до этого, по-прежнему сказать, белокаменного города, разъяснить не могу, потому что не помню, в каком порядке описан ихний маршрут. Да это и не суть важно: как бы ни добрались, а добрались. Но только не в самой Москве стали они жить, а под боком, в лесу. Это вот где теперешняя Марьяна Роща. Там тогда не было ни домов, ни улиц, а стоял лес. Нельзя сказать, чтобы преогромный дремучий лес, а все же порядочного размера был. И в этом самом лесу они и поселились: построили избушку, а вернее, землянку выкопали и стали жить.

Но только не спроста они облюбовали это местечко в лесу, а тут была ловушка для разного сорта людей: кто на приманку шел, тот и попадал в капкан. А приманка тут была такая: Марья ворожейкой, знахаркой объявилась. А мозговала ли она на самом деле по этой части или только так дым в глаза пускала — неизвестно. Да тут и не то важно, а другое. Пусть и не знала ничего, а тут надо побольше надымить, напылить, чтобы фальши никто не распознал. Тут сумей взять на пушку\* и умника, а не только одного дурака, и пройдет о тебе слава хорошая, и не будешь ты голодный сидеть, а будет тебе почет и уважение и зашевелятся денежки в твоём кармане. А Марья, с разбойниками живя, многое от них переняла, многому наловчилась. Вот и пустила она молву о себе, что ворожить может и лечить может. Вот и стал народишко Божий похаживать из Москвы к Марье: у одного вещи пропали — надо поворожить, у другого поясница разболелась — поправить требуется, а вот кому и корень приворотный понадобился — это насчет того, чтобы его полюбили. А Марья на все мастерица была,

---

\* «Взять на пушку» на языке московской улицы значит обмануть путем провокации. О происхождении этого выражения мне ничего не известно. Быть может, оно принадлежит к числу тех бессмысленных, но ходовых выражений, которыми улица очень богата, таковы, например, «хочу жрать, как из ружья», «пока» (вместо «до свидания» или «прощай»), «ничего преподобного» (вместо «ничего подобного») и т. д., не говоря уже о похабщине.

ни в чем людям не отказывала. Ну, а знала ли она действительно или только народ туманила, это ее дело. Да может что и знала...

Но только поначалу-то все народец хаживал безденежный. Кто крынку молока принесет, кто хлеба, кто еще чего... А после, как дорожку проторили, стали и богатенькие приходить и всего больше купчики... А Илья днем на глаза народу не показывался, поблизости хоронился и надзор за этими прихожанами имел. Когда одна беднота ходила — не трогал ее, а как стали наведываться богатые, вот он возьмет того-другого, затащит подальше в лес и обберет, а кого и пришьет.

И после такого его занятия пошла молва, что в лесу завелись разбойники. И вот пришла из Москвы облава, принялась шарить по лесу, а Илья взобрался на высокую сосну, на самую верхушку, и просидел там два дня. Ну, облава ни с чем и отъехала, а Марью и не потревожила — думала, что та одна живет.

И после такой оказии Илья потишел, не стал обижать проходящих, а придумал другое дело: пошел в Москву и там сошелся с жуликами. И тут пошла работа: где кладовую взломают, заберут все, где магазины обчистят, или еще — ночью в глухом месте человека разденут. И так хорошо пошло у них это занятие, что лучшего и не надо. Наворуют, нагрябят, давай кутить с девками, бабами...

И такое удовольствие было Илье, что он и Марью забыл: по неделям глаз к ней не казал. Ну, и Марья не глупа была, уразумела, почему он ее в забвении оставляет. Только она не пошла доносить на него, а сошлась с купчиком одним. Он ли к ней сперва пришел, она ли ходила к нему в Москву — рассказать не могу, не помню. Кажется, так дело было: он пришел к ней поворожить насчет своего дела, увидел ее и выиграл в нем кровь. А может, как-нибудь иначе. Ну, как бы там ни случилось, а дело хорошо наладилось. И стал этот купчик похаживать к Марье, стал подарочки понашивать. И чего только не дарил! И шали, и на платье, и серьги... Ну, конечно, водочки, закусочки какой поприятней. И денег немало передавал.

А что поделаешь? Шутишь, что ли, с любовницей? Жене откажешь, а любовнице принесешь: она тебя так распалит, что ты как чумовой станешь! Это, конечно, которая с огнем любовница. А то ведь мало ли — ни то, ни се? А у этого купца жена хорошая была, дети. А он вот к Марье зачастил. Тут уж ничего не поделаешь — кровь заиграла.

Ну, хорошо. Вот они и любилась этот купчик-голубчик да Марья. А Илье и в голову не приходило, что Марья предмет себе завела. Но только стал он замечать: обновки у Марьи появились.

— Это откуда у тебя? — спрашивает.

— А это, говорит, купчиха одна подарила. Я, говорит, поворожила ей хорошо, она и подарила.

Ну, он ничего ей на это не сказал, будто поверил, а сам в сомнении находится. И давай следить, подслеживать. Скажет: «я иду в Москву», а сам притаится и надзирает. Вот раз видит: идет этот купчик. И как он его увидел, словно в сердце его кольнуло. «Это любовник ее» — подумал и проследил.

Вот видит — идет купчик к землянке, а он за ним назирком, а у самого нож в руке. Вот этот купчик подошел к землянке, а тут Марья поджидает. И давай они целоваться, обниматься. Тут Илья как выскочит — раз! купца в бок ножом. Купец и повалился. После давай Илья Марью кромсать. Всю истыкал, испырял, горло перехватил.

И тут напал на него испуг. Сколько людей раньше убивал, не страшно было, а тут испугался и пустился бежать. И как убежал, нет о нем ни слуху, ни духу.

А Марью и купца народ нашел. Ну, эти разные люди, которые приходили к Марье воровать или за лекарством. Приходят. Смотрят — лежит Марья вся изрезанная, и купец рядышком лежит. Марья-то уж мертвая была, а купец еще живой. Вот взяли

купца, привезли к жене и стали лечить. А Марью там в лесу и похоронили. Выкопали под деревом яму и похоронили. И не стали в Москву возить.

— Она, говорят, вон какая была, может, с чортом зналась. — Ну, это насчет ее ворожбы.

Ну и закопали под деревом, как собаку дохлую. Конечно, сволочи! Сами приходили к ней: «Поворожи, мол, родная, полечи, дорогая», а как зарезал ее Илья, и стала как бы вроде собаки дохлой и хоронить ее по-настоящему не сочли нужным. Ну, а все же, как там ни считали ее, а с той поры пошло прозвище этому лесу «Марьино Роща». Вот откуда идет это название, а не то, что будто бы эта Марья повелительницей разбойников была. Это неправда. Илья действительно был атаманом, это так, а Марья — какая же повелительница?

Ну, хорошо. Вот и пошло такое название этому месту.

А купец этот, которого Илья ранил, поправился и закаялся он с той поры по любовницам ходить. Оно, конечно, лестно, да опасно. Это еще хорошо, что Илья плохо ему угодил в бок, а то ведь на такого нарвешься, что с одного раза уложит в могилу. Ну, это одно, а второе — жена попрекала. Это, пожалуй, похуже ножа будет. Нож что? Раз-раз и кончен бал. А жена как примется пилить, так и конца не будет. Ну, конечно, ей обида... Вот от этого самого. Ну он, этот купчик, и остепенился. И жил себе, поживал. И прожил он еще лет тридцать, а может, и побольше, и стал совсем старый. А дети выросли. Двух дочерей выдал замуж за хороших людей. Ну, конечно, это только говорится так: «за хороших», а на деле-то, может, жулье оборотистое. Да и все мы хороши, пока спим... Ну, ладно... Дочерей, значит, вон из дому, а сына женил и передал ему хозяйство, а сам все больше к заутрене ходил. А тут умерла его жена-старуха. Вот его и взяло раздумье:

— Года, говорит, мои старые, смерть за плечами, а грехов много.

И надумал он ехать в Киев угодникам помолиться.

А тогда железной дороги еще в помине не было, а ездили на лошадях. Это вот теперь — захотел куда поехать, пошел, взял билет, сел в вагон... динь-динь-динь... ту-ту-у-у... и покати-ил... и ни черта не увидишь! Увидел что из окна, не успел путем разглядеть — уж за три версты умчался. А иной как завалится на лавку, так всю дорогу и проспит. Ну, что это за езда? Сидит человек, как истукан какой, а машина прет его. И ему, анафеме, горюшка мало.

— Я, говорит, не даром еду, а денежки за билет отдал. Что с него возьмешь? Да и все так ездят теперь. А тогда не то. Тогда едешь, едешь на лошадях, и чего только не насмотришься, чего не наслушаешься! Ну, когда погода стоит хорошая, сухая, тогда ничего — едешь себе полегоньку и все видишь. Ну, а как польют дожди, да как грязища эта начнется, и не приведи Бог! Проклянешь и дорогу, и богомолье это самое и самого себя! Нагрессишь еще больше! Ну, как-никак, а все же есть интерес. Вот и тот купец тоже ехал на лошадях. И дорогой услышал он про одного киевского отшельника: есть, мол, в Киеве такой отшельник — тридцать лет спасается в пещере, и народу к нему много ходит.

Вот купец и надумал пойти к этому затворнику. И как приехал в Киев, расспросил, где тот живет, и пошел. А затворник жил поблизости монастыря: в лесочку выкопал себе пещерку и спасался в ней.

Вот приходит купец, видит — старый монах, седой. И стал он просить монаха, чтобы тот помолился за него.

— Я, говорит, большой грешник, а сам отмолить свои грехи не умею, потому что, говорит, человек я простой и молитвы мои простые, а ты, говорит, знаешь по-настоящему молиться и ближе стоишь к Богу.

А затворник спрашивает:



— Что же это, говорит, за грехи у тебя такие особенные? Разбойником, что ли, был? Людей убивал?

А купец говорит:

— Разбойником не был и людей не убивал, а через меня, говорит, убили человека, женщину одну. — И рассказал он, как с Марьей жил, как Илья захватил его с ней, как ее зарезал, а его ранил. — Вот, говорит, видишь, какой мой грех. — И поклонился он отшельнику в ноги.

А отшельник заплакал и говорит ему:

— Не ты должен кланяться мне, а я тебе, ведь этот Илья, говорит, я и есть.

И рассказал он про всю свою жизнь: как у барина жил лакеем, как зарезал его через Марью, потом — как разбойничал в лесах, и как бежал оттуда и поселился в лесу под Москвой и как зарезал Марью и ранил купца.

— Я, говорит, когда Марью зарезал, очень испугался. Сколько, говорит, резал людей, насколько страшно не было, а тут очень испугался. Я, говорит, тогда убежал и долго скитался без всякого причала. А тут, говорит, один странный человек мне попался. И так, говорит, он мне понравился, что я ему душу открыл, во всем признался. Вот он-то, говорит, и уговорил меня идти спасаться, а если бы, говорит, не он, я так бы и пропал. — И опять заплакал отшельник, и купец, глядя на него, заплакал.

И сидят они вдвоем и плачут, обливаются слезами, два старика. А народ, который пришел к старцу, к этому самому отшельнику, смотрит на них и удивляется.

— Что же это, говорит, такое в самом деле: наш отче плачет, рекой разливается, и человек, который к нему пришел, тоже плачет, обливается слезой? — И спрашивает народ отшельника: — Отче, что же это такое? Мы, говорит, смотрим на тебя и удивляемся: чего это вы оба так плачете?

А старец отвечает:

— Эх, говорит, братия! Вы вот удивляетесь, что мы оба слезой обливаемся, а только, говорит, вас еще больше возьмет удивление, когда вы узнаете нашу совместную историю и даже, говорит, не поберите, подумаете, что я брещу. Ну, только, говорит, я не для брехни живу в этой пещере и тридцать лет Богу молюсь и разные слова вам говорю. А эта, говорит, наша совместная история вот такая. Этот вот, говорит, человек, который со мной сидит и плачет, — купец, а я, говорит, ранил его ножом в бок. Не теперь, говорит, ранил, а давно, когда он с моей любовницей Марьей жил. Я тогда, говорит, Марью зарезал, а его ранил.

А народ слушает и веры ему не дает, думает: нарочито он наговаривает на себя, для того, чтобы ему осуждение от народа было, а он будет терпеть и за это сбавление грехов ему будет. Вот какое дурацкое понятие имел народ о его словах. И стал народ допытываться у него насчет этой истории:

— Как-де, говорит, отче, так? Ты вот, говорит, у нас затворник, молишься и разные слова хорошие говоришь, а сам такое на себя наговариваешь, будто людей резал?

И от этих слов взяла старца досада: он правду говорит, а народ думает, что он на обман бьет.

— И что, говорит, вы за народ такой анафемский, не верите мне?! Неужели же, говорит, и в таком простом деле надо присягу принимать? Я, говорит, насильно никого не заставляю верить, а только говорю я с чистосердечием. А кто, говорит, не верит мне, тот есть скотина безрогая и сволочь, потому что, говорит, как сам избрежался, так думает, что и все брещут.

Ну, конечно, правда. Наш народ какой? Говори ему правду, скажет — «брехня», а сбрехи почудней, он поверит. «Вот это, скажет, так: тут все до единого слова правда».

И тут тоже так: не хочет верить, что старец разбойником был. А старец делает разъяснение:

— Вот, говорит, по этой причине, что я раньше разбойником был, я и попал в монахи. А то, говорит, что мне за нужда была бы удаляться от мира? Жил бы себе, как прочие, делом каким-нибудь занимался. Вы, говорит, послушайте, а я расскажу, какой я скверновец в миру был. — И стал рассказывать про свою жизнь, как он через Марью помещика зарезал, как сделался разбойником... Ну, словом, про всю свою жизнь рассказал.

А народ слушал, слушал и такой интерес его взял: простил ли Бог прегрешения старцу? И спрашивает он его:

— А скажи, отче, как ты думаешь, простил ли Бог тебе твои грехи или не простил, ведь ты по уши в человеческой крови?

А старец опять заплакал:

— Правда, говорит, братия, большой я грешник и не знаю, отмолил ли я свои грехи. Но думаю так, что хоть немного сбавлено мне грехов, потому что не зря же я молюсь тридцать лет. А там, говорит, кто знает? Я думаю так, а на деле, может, иначе.

Тут после этих старцевых слов купец видит, что ему здесь делать нечего.

— Что это, думает, за затворник такой, не знает, отмолил или не отмолил свои грехи? Как же, думает, чужие грехи он станет отмаливать?

И собрался он ехать в Москву и на прощанье говорит старцу:

— А ты, Илья, все же помолись за меня, может, Бог простит мой грех, к тому же мой грех послабее твоего будет. — И стал он давать денег Илье.

А Илья не дурак был — раскусил, что за птица этот купец.

— К чему, говорит, суешь ты мне деньги? Они, говорит, мне без надобности: пищу мне народ приносит, а больше мне ничего не требуется. Ты, говорит, думал, что я польщусь на деньги и сейчас поклон стану бить, твои грехи отмаливать? Так я, говорит, не продажная шкура, а я и без денег молюсь за всех, мало ли, говорит, я людей обидел? И за тебя молюсь, за весь народ молюсь, потому что, говорит, я перед всем народом виноват.

Ну, купцу не по сердцу пришлись старцевы слова, насупился и пошел, «прощай» не сказал.

И поехал он в Москву, а как приехал, заболел и помер.

А старец еще долго жил, лет, пожалуй, двадцать, а то и больше. И стала подходить к нему смерть, а он и говорит народу:

— Когда я помру, то чтобы обязательно хоронили меня люди всякого сословия, а не одна монашеская братия. Я, говорит, убивал и грабил людей всех сословий: едет, говорит, купец — подай его сюда! Катит помещик — пожалуйста сюда! Идет мужик — и его в ту же кампанию! Идет поп или монах — давай и монаха! Я, говорит, от всех сословий кормился, пусть все сословия меня и хоронят: чтобы все сословия меня несли. Я, говорит, никого не хочу обижать. — И вскоре после этого он помер.

А помер вот как. Приходит к нему раз народ. Ну, как раньше приходил, так и теперь пришел. А старец на коленях стоит, молится. Ну, молился, молился и этак потихоньку поворачивает назад голову, поворачивает... оглядывается, значит. Оглянулся и говорит:

— Погоди малость, сейчас за гробом пошлю.

А народ не знает, кому он такие слова говорит. И позади него никого не видно. А старец к народу обращается и говорит:

— Братия, ступайте поскорее в монастырь и принесите мне гроб: я умирать стану. Думал, говорит, еще годок-другой пожить, да видно, говорит, не нам знать, сколько кому жить на свете.

Тут-то народ и уразумел, что это он смерти сказал: «погоди малость». Значит, смерть свою видел, а народу ее не видно. И тут многие тогда поняли, что очистился он от своих грехов, а иначе как бы он увидел свою смерть?

И тут кто пошустрее был из народа, поскорее побежали в монастырь. Вот прибежали и говорят монахам:

— Давайте поскорее гроб — наш отче помирать собрался.

А монахи говорят:

— Какой он ваш? Когда он жил в миру, действительно, говорят, был ваш. А как, говорят, удалился от мира, стал наш.

А которые пришли за гробом говорят:

— В миру он разбойничал, людей грабил, значит, говорят, был ничей, а теперь, говорят, хоть он и стал монахом, а с вами не живет, ушел в пещеру, живет один. Народ, говорят, слова его слушает, народ и пищу ему приносит. Значит, говорят, он народа, наш.

Ну, с монахами нешто стоворишь?

— У нас, говорят, правила такие. — И не отдают гроб. Тут, которые пришли, бросились на них, хотели силой отнять гроб. Ну, а монахи закричали, заорали. Сбежалась тут со всего монастыря монашеская братия, заступилась. Так и не отдали монахи гроб, сами понесли.

Вот приносят и ставят около старца. А старец стоит на коленях, молится и плачет. Ну, конечно, не хотелось человеку свет покидать, а то, может, еще о чем другом плакал — кто его знает. И после, как помолился, поднялся, стал прощаться с народом.

— Простите, говорит, меня, много я душ погубил, весь человеческой кровью залит. — И опять заплакал, и народ тоже плачет.

И после того поклонился народу до трех раз и стал ложиться в гроб и говорит:

— Анафема — проклят тот, кто обмоет меня, как я помру. А монахи говорят:

— Отче, да ведь без этого нельзя, всех обмывают; такое, говорят, правило заведено.

А он их спрашивает:

— И на войне солдат, которых убьют, обмывают?

— Нет, говорят, не обмывают. Так ведь то, говорят, на войне, а тут войны нет. Тут, говорят, надо правила исполнять.

А он им говорит:

У вас правила одни, а у меня другие. Моя, говорит, жизнь тяжкая была: я, говорит, разбойничал, кровью человеческой обливался, а потом, говорит, стал каяться и каялся целых пятьдесят лет, и ни разу не мылся. И пусть, говорит, я такой явлюсь пред Господом: ежели, говорит, он простит мне мои грехи, так простит и грязному, а ежели не простит, так ты хоть пять часов парься в бане, не поможет. И как, говорит, я приказываю не обмывать, так и не должно обмывать, а кто обмоет, тот будет трижды анафема-проклят. Вот, говорит, какое мое завещание. Конечно, говорит, подлецам и завещание нипочем, они на свой лад сделают. Ну, только мое постановление такое: кто обмоет, тому проклятие отныне и до веку.

И после того лег он в гроб, сам руки на груди сложил и глаза закрыл. А народ смотрит и ждет, что дальше будет. Ждал-ждал... А старец лежит и хоть бы чуточку шевельнулся. Думали — уснул он. А он и взаправду уснул — на веки вечные. И очень удивился народ, что он не стонал, не охал, а так тихо помер. Ну, монахи не тронули его, не стали обмывать, а принялись панихиду служить.

А тут народ как прослышал, что старец умер, — валом повалил. И конные, и пешие со всех сторон направляются. Известно, каждому интересно посмотреть, как будут хоронить такого человека, который год разбойничал, а пятьдесят лет каялся. И всякого сословия люди тут были.

А монахи возгордились:

— Ежели бы, говорят, не мы, так отче так бы и пропал ни за понюх табаку.

А чего было брехать? «Ежели бы не мы»... Тут «мы» не при чем, а судьба его такая была: ему определено было сперва разбойничать, а потом каяться. Ну, а они-то нос подняли кверху, подумаешь, какие волшебники, так-растак! Они-то и обмыли бы старца, но побоялись, как бы проклятье на них не перешло. Ну, а все же хотели на своем настоять, хотели одни хоронить и чтобы гроб одним монахам нести. Только народ взбунтовался:

— Хоронить, говорит, всем миром, а не одним монахам! Как, говорит, завещал старец, так и должно быть.

А монахи заартачились:

— У нас, говорят, правила.

У них правила, а на старцево завещание наплевать! Вот ведь какие голубчики сизокрылые! «Мы, говорят, за мир молимся». Ну какое же это моление: гордыню напустили и против мира идут?

Только народ не поддался, как насел на них...

— Да мы, говорит, вам, чертям толсторожим, ребра переломаем, а своего не уступим.

А монахи ругаются, не хотят уважить народу. Ну, ругались-ругались, а сдались-таки. Похрапели, похрапели и потищели. И после с честью всем миром похоронили старца.

Только монахам не прошла даром такая спесь, эта собачья фанаберия: пришла бумага, не то от Сената, не то от царя... Ну да, конечно, от царя... такой приказ прислан был, чтобы выгнать из киевского монастыря всех монахов, а монастырь запечатать. Чтобы монахи три года находились на волчьем положении — где ночь, где день, а как три года пройдет, распечатать монастырь и опять принять монахов. А это им за то, что они хотели нарушить старцево завещание, хотели одни хоронить его. Вот за это самое. Потому что нет такого закона, чтобы духовное завещание нарушать. Умирает человек и говорит: «Вот то и то сделайте», или напишет такое распоряжение, и все по его словам должно быть сделано. Конечно, если он скажет: «надо зарезать вот такого человека» или «поджечь вот такой-то дом» — это уж не духовное завещание будет, а безумие. Ведь и духовное завещание не зря исполняют, а разбирают со смыслом. А то, пожалуй, иной назавещает разного безумства. Нешто мало таких: подышает, а все норовит сделать людям зло. Один уж таким зловредным уродился, а другой от полоумия. Вот поэтому-то, когда пишут завещание, зовут священника — чтобы не допускал сумасшествия, а чтобы порядок был. А священников нарочито пристегнули к этому делу. Это — укор всему духовенству: дескать, тогда монахи хотели нарушить старцево завещание, так вот мол, пусть теперь само духовенство следит, чтобы все как следует было. По-настоящему монахов сюда надо было запрячь, да ведь каждый раз не бежать за ними в монастырь, а поп-батя всегда под рукой. Вот его и тащут.

Ну, только это раньше так было. Как теперь дело делается, не знаю, да и знать не к чему: завещания мне не писать, у меня всего имущества, как у турецкого святого — табак да трубка. Какие уж тут завещания?

*Существует ли в лубочной литературе такой «роман», на который ссылается рассказчик, я не знаю, но, если он действительно существует, то, мне думается, в нем нет многого из того, о чем так пространно повествует «Отряха-мученик», ибо прежняя цензура, особенно бдительная по отношению так называемых народных изданий, не допустила бы такие места, где говорится о пререкании народа с монахами из-за гроба для старца, пререкания самого старца с монахами из-за обряда обмывания тела умершего и т.п. Все эти места надо отнести к народному творчеству...*

*Но возможно, что этого «романа» совсем нет и Отряха-мученик ссылается на него только для того, чтобы убедить слушателей в том, что все рассказываемое им — «суцая*

правда», иначе оно не попало бы в книгу. К такому приему «убеждения» прибегают и некоторые другие из известных мне рассказчиков, хотя должен сказать, что слушатели из низов не всегда относятся с полным доверием к книге, нередко замечая, что «и в книге много пишется пустого».

## Александровский сад

В один из дней весны 1928 г., выходя из Александровского сада через третьи со стороны Манежа ворота, я увидел в проходе их группу из трех-четырех маляров (все они были запачканы краской, известью); они стояли перед каменным столбом, рассматривая чугунные украшения на верхней части его, изображающие арматуру.

Начала разговора рабочих я не застал, уловил из него лишь две фразы:

— Должно, наполеоновская работа, — сказал один из них, кивая головой на столб.

— Не без того, — ответил другой, и вслед за тем маляры вышли из сада и, весьма возможно, тотчас забыли о том, что на несколько минут приковало к себе их внимание.

Эти две фразы заинтересовали меня и я, желая проверить, имеются ли в творчестве низов какие-либо указания на связь имени Наполеона с Александровским садом, предпринял собирание устных материалов о нем, как одном из памятников московской старины.

Чего-либо более или менее интересного в этом направлении я не узнал, за исключением довольно любопытной в бытовом отношении легенды.

Основателем сада в большинстве случаев называли императора Александра Первого, а причину его основания — желание увековечить такое выдающееся событие в исторической памяти народа, каким является война 1812 г; свое же название сад получил по воле самого императора, так как тот считал себя главным виновником изгнания французов из Москвы.

Что касается вопроса о том, принимал ли Наполеон какое-либо участие хотя бы в частичном украшении садовых ворот, то ответы получались с одной стороны неопределенные, вроде, например, такого: «Кто же его знает? Может, что и было», а с другой — резко отрицательные, как например: «Стал бы Наполеон заниматься такими пустяками! У него дела были поважнее».

Упомянутая же легенда, хотя и допускает возможность того, что «железки», то есть чугунные украшения на воротах «прибил Наполеон», но говорит об этом тоже неуверенно. О самой легенде могу сказать, что помимо своего бытового интереса она заслуживает внимания еще и в том отношении, что в ней не все вымысел, есть и правда, заключающаяся в описании изгнания «хитрованцев» из сада. По крайней мере, один из московских интеллигентных старожил, которого я познакомил с легендой, подтверждает это. По его словам в 80-х гг. прошлого столетия «хитрованцы» с весны и до осени располагались в Александровском саду, вдоль Кремлевской стены, и в одиночку, и целыми общинами и держали себя вполне независимо.

С утра и до поздней ночи сад оглашался матерной руганью, пьяным завыванием «романсов», а то и похабных песен, которые пелись нарочито громко, «чтобы все их слышали», на площадках шла игра в «орлянку», а на лужайках дулись в карты: «трынку», «фильку», «подкидного» и даже в «банкстон», т. е. бостон. Игры нередко сопровождались драками, переходящими в общее побоище.

Наконец, полиция обратила внимание на безобразное поведение «дачников» и в течение недели изгоняла их из сада обычными по тому времени полицейскими мерами, т. е. посредством заушения, зуботычины, закатывания «лещей», подзатыльников, таскания за «волосья» и «шивороты».

Изгнанники облюбовали было другое местечко — тоже у Кремлевской стены, против Исторического музея, но и отсюда были изгнаны в 1886 году тогдашним обер-полицеймейстером генералом Юрковским, который не раз посылал на них отряд конной полиции с приказанием бить их нагайками «без всякого милосердия».

О рассказчике легенды могу сообщить следующее: он седенький и низенький старичок лет семидесяти, ошарпанный, с длинным крючковатым носом, похожий на старого общипанного ястреба. Зовут его только по отчеству — Лукьянычем, так повелось смолоду и осталось на старость. Родом он не то из Костромы, не то из Ярославля, сам себя он называет неодинаково — то костромичом, то ярославцем. Пропитание он добывает нищенством, которым занимается уже около сорока лет, а раньше, когда был молод, жил в Ярославле у хозяина, занимавшегося извозным промыслом и державшего десять троек лошадей. Его рассказы об этом времени интересны, особенно описание зимнего пути, когда, по его картинному выражению, снег под полозьями песню поет. Особенно подробно и с видимым удовольствием вспоминал он ночлеги обозников на постоялом дворе, когда на столе появлялась хозяйская четвертная бутылка водки.

— Дерябнем мы, добрые молодцы, по чайному стакану и сейчас за ужин, — рассказывал он и с причмокиванием и умилением в голосе. — Первым долгом солонина, потом щи, потом каша... Налупишься, аж не вздохнешь!.. А теперь что? Пошли эти биштеки, так-растак! Его, чорта, и не угрызешь, подошва, да и только. Выдумывают разную чертовину с горохом — нешто от нее сыт будешь? Один перевод деньгам.

Но как же могло случиться, что Лукьяныч в тридцать лет пошел нищенствовать? Ведь эти годы — расцвет жизни человека, и ежели он не беспомощный калека, протягивать в эту пору руку за подаянием — позор. Так-то оно так, да что мог поделатъ Лукьяныч, ежели грыжа не давала ему работать? Потом поясницу разламывало, потом вступало в кость, так что, бывало, и ногой не повернешь. Ведь эта болезнь — что за штука? Ей только бы напасть на человека, а то и пошла корежить его на все лады...

Но о самой главной и, пожалуй, единственной причине Лукьяныч и словом не обмолвился — о четвертной бутылке! Прикладываться к ней он начал рано, прикладывался часто и в тридцать лет был форменный пьяница, им же он остался и на старость. Но нрава он тихого — не буянит, не орет зря, а любит, мало-мало насандалив нос, посидеть с хорошим человеком за чайком, поговорить... Во мне он обрел такого человека, потому что я просиживал с ним часа по два и с большим интересом слушал его рассказы о прошлых московских людях и их делах.

В конце августа 1928 г. у меня была последняя встреча с ним. В трактир он явился с «обновкой» — правой рукой на перевязи. Оказалось, что с неделю тому назад он, начав насандаливать нос, переложил лишнее, вследствие чего пришел в положение «еле можаху» и потом уж не помнил, где и как вывихнул руку, как очутился в отделении милиции.

— Ну, — продолжал он, — хоть и поставил доктор сустав на прежнее место, а все же рука побаливает, нельзя еще свободно действовать... Ложку ко рту еще можно поднести, а вот чтоб перекреститься, так это — чорта с два.

В эту последнюю нашу встречу Лукьяныч был особенно разговорчив. Сперва он подробно рассказал, как ему «исправляли» руку и похвалил доктора за то, что тот оказался умным и совсем не гордым человеком.

— Вот что возьми в резонт, — говорил Лукьяныч, попыхивая папиросой. — Который человек самый умный, в нем нет дурацкой гордыни, не напускает он на себя фанаберию, а обращается по-простецки. Он и со мной разговаривал, как вот я сейчас с тобой разговариваю — душевно. «Другой, говорит, на твоём месте, дедушка, давно бы окошел от водки, а ты, говорит, такой бравый молодчина — стоишь три чина. Тебе, говорит, и отвыкать от водки не следует, потому что горбатого только одна могила выпрямит. Оно и верно: не к чему отвыкать. В канцелярии я не сижу, портфель этот под мышкой не таскаю, а живу по Божьему произволению.

Потом он долго рассказывал о том, какие раньше питухи водились на Москве:

— Высадит четверть и хоть бы что! Только жрать побольше давай. А нынче народ пошел слабый — все норовит чего послаще хлебнуть, портвейну этого... А какой антерес? Только деньгам перевод. Да с портвейну валится и хоть бери его тут за рупь за двадцать...

С питухов он перешел на прежних благодетелей:

— Народ был все отменный, «тузья», (т. е. тузы) с хорошим капиталом. И у каждого свой характер, и вот тут надо бы уметь подойти так, чтобы тебе польза была.

Ну, Лукьяныч-то умел, и никогда этого не бывало, чтобы его в шею гнали, а всегда принимали «с почетом и уважением».

Среди этих благодетелей большою симпатией Лукьяныча пользовалась «старуха Коншина», т. е. Варвара Сергеевна Коншина, если не ошибаюсь, родоначальница московской фамилии Коншиных, женщина суровая и оригинальная... [7]

И с той поры исчез Лукьяныч, вот уже третий месяц я нигде не встречаю его и не знаю, жив ли он...

Про этот сад Александровский никто тебе верно не скажет, кто его развел... Слышал, будто царя Александра это работа, будто, как Наполеон ушел из Москвы, он и приказал, чтобы сад был.

— Пусть, говорит, чтобы память о Наполеоне осталась... А другие объясняют по-иному:

— Александра, говорят, еще на свете не было, а по саду господа офицеры разгуливали...

А кто развел — неизвестно. Ну, да развел же кто-нибудь, не сам же вырос! Да ведь у нас как? Положим, сад, дескать, для гуляния, чтобы публика променаж свой делала. Ну, ежели жарко, посиди на скамейке под деревом... И цветы тут — оно вроде как бы и приятно... Ну, только не для того этот сад, чтобы ходить гадить в нем... А все эта богатая, хива да хитрованцы... [8] Как наступит весна, они и пошли перекликаться:

— Федька-а! — орет один. — Ты где нынче дачу снял?

— Да я, говорит, в Сокольниках, у господина Бурьянова десять комнат заарендовал...

Значит, в бурьяне. Смеется, конечно.

— А ты, говорит, где?

— А я, говорит, фригилек в Александровском снял для себя, для супруги и для лакеев...

Понятно, дурака валяют...

День по кабакам шатаются, а спать в Александровский сад идут. Ну, иди к стене Кремлевской, спи благородно на травке... Только нешто у нас полагается по-хорошему? Это, дескать, не по-настоящему, а надо заорать во все горло, человека облаять и плюхнуться поперек дороги, чтобы проходу не было людям. Он лежит, храпит, а у самого портки худые... Ну, какая тут приятность? А скажи — камнем голову проломит...

А тогда был князь Долгоруков генерал-губернатором. Вот раз говорит жене:

— Пойдем в Александровский сад прогуляться.

Она говорит:

— Ну что ж, пойдем.

И пошли... Ну, может, поехали в карете. Тогда еще не было этой сволочи — автомобилей... И кто их выдумал — тот недобрый человек, только народу перевод. «Это, говорит, изобретение». Какое же это, так-растак, изобретение?.. Несется... гу-гу-у-у... Налетел на человека — раздавил. Собака попалась — раздавил, ребенок — тоже раз-

давил... Молодой ли, старый — всех давай без разбору... Вот какое это изобретение!.. Ну и поехал Долгоруков с княгиней... Князь сейчас цыгару закурил.

— Смотри, говорит, моя душенька... — Ну, может, еще как-нибудь иначе назвал, словом, вежливо. — Вот, говорит, цветочки, такой аромат...

А только жена сморщила нос.

— Да тут, говорит, такая вонища, что и не продохнешь... Тут, говорит, хоть топор вешай... Ты, говорит, цыгару куришь, вот дым и отбивает вонь, а ты брось цыгару.

Вот князь бросил цыгару, понюхал...

— Действительно, говорит, тут одна скверность.

И пошли они к выходу.

А босотня расположилась на скамейках, водку жрет и материт. Ну что ей князь? Пусть хоть сам Михаил-архангел с неба слетит — ей все нипочем...

Ну, князь поскорее уехал с женой домой. После-то, может, сколько пузырьков этого одеколону истратили, чтобы дурной дух отшибить...

И после того князь закричал:

— Позвать сюда полицеймейстера Огарева!

А этот Огарев не любил к мировому таскать: наколотит по зубам — вот и суд весь. А и матершинник же был! Уж он переплетает, переплетает... А ты, знай, помалкивай... Ну, ничего, обойдется... А сказал слово — съездит по зубам, собьет с ног, да как двинет носком в бок — месяца два трудно дышать будет.

Ну, приехал он к князю.

Как напустится на него князь, давай ругать:

— Ты, говорит, только взятки умеешь брать, а за порядком не смотришь. Ты, говорит, погляди, что делается в Александровском саду. Это, говорит, не Александровский сад, а Хитровка.

Вот Огарев и помчался в сад. А хива распивает. Развернулся... ка-ак резанет!

— Вон, так-растак! Чтобы духу вашего тут не пахло! — и пошел щелкать, кого по шее, кого палкой вдоль спины.

— Для вас, говорит, еще люминацию надо делать... — Ну, это он насчет фонарей, дескать, освещение. — Так у меня, говорит, для вашего брата огаревская люминация. — И наставил им фонари под глазами. Как звезданет — фонарь и загорится... Как двинут эти хивинцы из сада, аж пятки засверкали.

— Бежим, говорят, ребята! Осман-паша пришел!.. Всех разогнал Огарев и приказал вычистить сад. Одного этого навозу вывезли сто возов. И сторожей с метлами приставили: как идет какой квартирант, так его тычком в морду метлой, а то и по башке.

А на воротах дощечки такие были вывешены — ну, вроде, как бы таблички, объявление такое: дескать, в саду сквернословить не допускается.

Только ведь эти таблички для тех, кто совесть не потерял, а хитрованцу какая табличка требуется? Ахнул его в ухо — вот и будет табличка! А добрые слова ему ни к чему.

Ну, как ни трудно было, а все же выжили из сада этих квартирантов. Стали его охорашивать... Цветочки насадили, дорожки провели, решетку поставили. Она и раньше была, только абы какая. Железная-то, железная, да фасону не доставало... Вот и навели красоту...

Ну, тут не Огарева работа. Какой из него атитектор? Его дело — по зубам съездить, а эти вензелечки да узорчики — до этого он не дошел. Не нужно было — вот и не дошел...

А тут бахрушинские деньги играли. А Бахрушин — это который больницу выстроил. Да нешто одну больницу? Он много домов городу подарил... Фабрикант — сукна делал и миллионами ворочал.



А помер от тоски, через икону. Маленькая такая иконка была, в ладонь. Будто мать благословила его, когда он в Москву в лаптях пришел — ведь он из мужиков был. И будто от этой иконки счастье пошло ему. Староверская иконка. Сам он из староверов, из старообрядцев... И вот пропала эта иконка — украли... А кто украл — неизвестно. И публиковал он в газете, что кто принесет иконку, тому награда — пятнадцать тыщ... А кто принесет, ежели она за границу улетела?.. Вот он затосковал и помер... Такая молва идет, а там кто знает, как по-настоящему...

Ну вот, на бахрушинские деньги и обладили садочек. Да ведь у нас как? Сейчас цветы рвать... А к чему? Пусть растут, цветут — время придет, сами увянут... Ну, да теперь не сорвешь, а сорвешь — рупь штрафа плати, насорил семечками — тоже рупь отдай... прежняя-то дуринка отошла...

Ну так вот, значит, и дали саду красоту...

Тоже и Алексеев, городской голова [9], позаботился. Это которого застрелили. А застрелили свои, кто выбрал его в городские головы, тот и пулю пустил в него. А только напрасно сгубили человека — вреда от него народу не было. Он хотел, чтобы рабочему народу заработок был...

— Старые, говорит, дома все на слом и строить новые, а то еще, говорит, какой обрушится, много народу подавит...

Ну, богачам не понравилось.

— Мой, говорит, дом еще двадцать лет простоит и двадцать тысяч мне принесет.

— Ломай! — говорит Алексеев.

Ну, дома-то сломали, только и он сам не уцелел — и его тоже сломали. Нашли такого подходящего человечка — он и убил, а на допросе во всем сознался.

— Я, говорит, вашскородие, не от своего разума убил, а я нанятой человек: полторы тыщи мне обещали... А только, говорит, от Алексеева мне ни холодно, ни жарко было... Тут, говорит, вся причина — способность полторы тыщи мне обещали. — Все рассказал: и кто подкупил и кто револьвер принес...

Только не дали делу возгореться. Затушили, деньги помогли. А то, ежели бы дать ход, многим бы не миновать Сибири-матушки... А то взятки, мошенство... Вот и делу конец. Но только зря убили: от него плохо народу не было. Вот хоть этот сад возьми: мало ли его заботы было, чтобы по-хорошему вышло? Это ведь он приказал, чтобы песку привезли.

— Пусть, говорит, детишки в песочке копаются, пусть пирожки делают...

Да ведь у нас какие эти «детишки»? Сейчас черти на дерево занесут! А к чему? Нешто дерево для того, чтобы лазить на него, сучья ломать?.. А пороть или уши оболтать не позволяют...

— Ты, говорят, словом вразуми, а не палкой.

А чего ради я буду чужих детей вразумлять? Пусть хоть шею свернут, мне-то что? Оно, конечно, непорядок, а нельзя безобразия такое позволять, потому что не для них одних сад. Ну да это ихнее дело: как хотят, так и делают... И я как хочу... Да мне-то что ж? Мне корабля не надобно, а лишь бы нос мало-мало насаңдалить да чайку с хлебушком напиток, а большего-то и не дают. Ну, спасибо и на этом...

Вот и живу на старости лет... Живу, хлеб жую, время придет — помру... А это — похоронят ли в земле или станут в наверситете жир на лекарство вытапливать\*, или примутся жечь в этом самом карматории — мне все едино: мертвец и есть мертвец... А про эти железки, про которые говоришь, будто Наполеон к воротам прибил, ничего не знаю. Может и прибил. А что думаешь? На него похоже. В кулак шептать не любил, а сказал «сделаю» и делает. Сказал: «Иду на Расею, возьму Москву» — ну, и пришел, и взял... Ну, действительно, верно, пришлось уходить. А что поделаешь,

---

\* Легенда о том, что в университете вытапливают из трупов безпризорных мертвецов жир, который затем поступает в состав разных лекарств, до сих пор все еще не умерла в московских низах.

ежели вся Москва в огне и мороз? Над огнем да морозом царем не будешь... И ушел... А только как сказал: «Живой в руки не дамся» и не дался... Это не то, что Николай. Это — как сто лет сравнялось после Наполеона, приезжал он в Москву, в двенадцатом году... «Ура! Ура» — кричат, а он пулей пролетел в треклятом автомобиле и нельзя было рассмотреть, какой-то царь Николай... Ну, понятно, бонбы боялся... Дядю Сергея Александровича разорвали, вот он опасался, как бы и его не благословили... Да ведь Сергея-то Александровича нешто зря? Не будь химиком, а ежели Савва Морозов пожертвовал раненым солдатам одеяла, то и отошли их на войну, но не продавай на Сухаревке. [10] Вот за это и укротили...

Ну вот... А Наполеон что ж? У него этого шахер-махер не было, напрямик шел... Вот, может, взял и прибил эти дощечки: дескать, как я был в Москве, так вот чтобы память осталась... А может, и не так, кто же это знает?.. Дело темное. А на мое мнение все же надо рассуждение иметь. А то ведь спроси иного: «Кто Александровский сад построил?» Он и вытаращит глаза, и стоит, как Божий бык, и ни слова. Ну, скотина, одним словом... А мы вот разговариваем. У тебя антирес есть, ты и спрашиваешь, а я говорю. Чего же молчать, сидеть бирюками? Даден язык — говори. А то ведь иной насупится, молчит. И не знаешь, как об нем понимать: не то уж чересчур умный, не то пустая башка. А спроси:

— Гражданин! Какие ваши мысли-думы? Он и рявкнет:

— Не твое дело! Жрешь чай? Ну и жри, не замай других!

Гроза какая! Подумаешь, право, какой портупей-прапорщик! Ну, поганец... Это — как раньше в золотическом саду змеи-удавы были, такая же сволочь. А к чему гордиться? К чему храпеть да рычать? А ты — помягче, оно и ладнее будет.

## Московские чудаки

### Московский жулик Рахманов

*Фамилия его — Аксенов, но в районе Арбата, в низах которого он известен многим, его зовут «Аксенычем», а имя и отчество, кажется, никто не знает, по крайней мере, его знакомые, у которых я справлялся об этом, не могли назвать их. От него же самого я узнал, что звать его Иваном Михалычем.*

*Ему уже около шестидесяти лет, но он еще довольно моложав, и седого волоса на голове не видно. Усы и бороду он бреет; лицо у него смуглое, цыганское.*

*Занимается он сапожным ремеслом, которому научился у своего отца, и при случае говорит о себе как о выдающемся мастере, но другие, знающие его сапожники не считают его таковым и вообще отзываются о нем с пренебрежением, как о человеке легкомысленном, бахвале, большом любителе выпить и соврать, а некоторые из них называют его еще и «ба-лакирем» за то, что он «много мелет зря».*

*Какой он мастер — хороший или плохой — я не имел случая узнать, а как человека за три года нашего знакомства немного узнал его. Легкомыслия в нем, верно, много, и соврать он мастер, и выпить тоже, но и те, которые так отзываются о нем, в большинстве случаев и к выпивке прикосновенны, и врут не хуже его, да и в отношении серьезности не могут служить примером.*

*Говорить Аксеныч любит, даже чересчур любит, но в харчевне или в трактире, где обыкновенно происходят и происходили наши встречи, все много говорят. Многие приходят*

сюда только для того, чтобы побеседовать за чаем, а трактирная беседа уж известна: она длится час, а то и два-три. Но в то время, как большая часть беседующих бывает занята так называемыми деловыми разговорами, то есть сплошь да рядом разговорами о нудных мелочах дня, Аксеныч часто делает экскурсии в область прошлого Москвы или в область народной фантазии. Почти всю жизнь он прожил в Москве, знает и любит ее, и когда начинает рассказывать о ней, перед слушателем восстает в своеобразном освещении старая, 70—80—90 годов, Москва с ее «хозяином», генерал-губернатором князем В. А. Долгоруковым, с обер-полицмейстером Козловым и его помощником, прозванным за долголетнюю службу в одной и той же должности «вечным», полковником Огаревым, с кулачными и петушиными боями, с пьяным разгулом купцов, с похождениями прославленных народной молвой жуликов, разбойников, с народными гуляньями, с знаменитыми адвокатами, игроками, песельниками, плясунами и т. д. И когда он бывал в ударе, чему много способствует хорошая порция «водочки-матушки», рассказ развертывается, становится красочнее. За время наших свиданий за чаш в трактире он рассказывал мне много интересных историй и легенд. Из них я записал легенды о Л. Н. Толстом, адвокате Плевако, жулике Рахманове, ученом и волшебнике Брюсе, но много слышанных от него легенд и рассказов остались незаписанными.

Аксеныч — неграмотный, как он сам говорил мне, но однажды я видел, как он, уткнувшись в газету, медленно шевелил губами. Оказалось, что он, хоть с трудом, может по складам прочитать печатное, но такое знание грамоты, по его словам, все равно, что незнание.

Познакомился я с ним в 1924 году в трактире, находившемся на углу Арбата и Гоголевского переулка, [1] в доме № 8. Тогда он, не выпуская изо рта большой трубки, но затем вдруг перестал курить и начал нюхать табак. О причине такой перемены он рассказал мне целую историю. Оказывается, его старый знакомец, на которого он уже двадцать лет шил обувь, «врач медицины»...

— Доктор медицины, — поправил я его.

— Нет, — возразил он, — врач медицины... Докторов медицины хоть пруд городи, а это — врач медицины. Это — самый наивысший...

Ну и говорит:

— Брось ты курить, а то у тебя чахотка будет. Ты лучше нюхай, потому что табак слезу гонит, а слеза глаз очищает. А это, говорит, для зрения очень полезно: дальше видеть будешь.

Вот и стал я нюхать... Оно и правда, что хорошо. А то от этого курения только копоть на сердце садится.

Рассказал он мне и о том, как надо готовить табак, сколько влить в него мятого масла, как переминать его и хранить в закупоренной бутылке. Преподал он и правила «благородного» нюхания.

— Нюхать, — говорил он, — надо так, чтобы прилично было. А то ведь иной нюхнет и весь перекорежится, весь сморщится, закричит, точно бы ему шило в нос воткнули, а другой напхает в обе ноздри чуть не полосьмушки табаку и ходит, как дурак, бес перечь чихает... А что хорошего? Срамота одна, хамство... А надо так поступить, чтобы прилично выходило: возьми препорцию, какую твой нос выдерживает... Нюхнул, и сейчас платочком нос вытер... И чихать не надо, и кричать тоже. Оно и будет благородно. И не будет тебе осуждения от людей.

Сам Аксеныч именно так и нюхает. Своих хороших знакомых он любит угощать понюшкой, безразлично — нюхают они или нет.

Есть еще у него одна слабость — кума. Время от времени он приходит в трактир «здорово хватемши» и, улыбаясь и щуря маленькие черные глазки, начинает рассказывать кому-нибудь из своих знакомых о том, что он идет от кумы, которая «напоила, накормила его, наупотчивала». И примется громко, чтобы многие слышали, расхваливать куму:

— Эта женщина — одно великоление: вежливая, обходительная. Придешь — и не знает, где посадить. Сейчас — водочка, закусточка. Сама чистенько одета. Разговорец этот при-

ятный. А уж поет!.. Как зальется, зальется — соловей! И слушать одно удовольствие. Слушаешь, а сам хлоп рюмочку — и закусишь, хлоп — и закусишь... Оно и славно. А то что же это такое: утром грызня и гавканье и вечером тоже грызня и гавканье... Вон жена у меня. Ну, нет слов, хозяйка, да ведь грубость, неотесанность... А кума — что тебе поговорить, что спеть... Понимает вполне обхождение.

Один из старых сапожников, у которого я справлялся о том, на самом ли деле есть у Аксеныча кума, только рукой махнул:

— Шут его знает — промолвил он, — может и есть, а может — врет. Ведь его не разбираешь, когда он врет, когда правду говорит.

Но другой сапожник подтвердил, что кума действительно есть, он знает ее.

— Бабенка ничего себе, хозяйственная и рукодельница, только к чему она связалась с таким шеланутом? Ведь от него она и одного золотника пользы не видит.

Про этого жулика Рахманова история из ресторана «Прага» пошла, тут, собственно, и был начин рахмановскому делу. А «Прага» раньше нешто такая была, как теперь? Теперешняя что за «Прага»? Трактир. Заходи, кто хочет, хоть в опорках, лишь бы рупь за обед заплатил.

А тогда «Прага» на всю Москву гремела — все тузы наезжали: шико да с большими деньгами. А сунется какой неказисто одетый, так его, милака, сию же минуту в шею с лестницы спустят. Ну, положим, хоть и не в шею, а все же возьмут за рукав и выведут вон: дескать, не топчи паркет, не погань кресла плюшевые. Вот она какая была «Прага»!

И вот в этой «Праге» сидят раз два военных: генерал из Петербурга... А тогда и в помине не было ни Петрограда, ни Ленинграда, а называли по-старому — Петербург. Вот и сидят двое: генерал петербургский и наш, московский, полковник отставной. Сидят, винцо потягивают, разговаривают.

И дошел разговор ихний до того, какой город выше — Петербург или Москва? Генерал Петербург восхваляет, а полковник Москву.

Спорили, спорили... Каждый на своем стоит. Ну, конечно, выпито было хорошо, притом же у каждого свой гонор... И доспорились: какой жулик лучше — московский или петербургский? Только в Петербурге называют не жулик, а мазурик. Ну, да честь одна: что в лоб, что по лбу.

Вот полковник и говорит:

— Московский жулик везде в славе, поезжайте, говорит, хоть в Америку, и там его восхваляют.

А генерал досадует:

— Вы, говорит, уж очень-то вознесли своего жулика.

И заспорили они на двести пятьдесят рублей. На чьей стороне правда будет, тот и деньги получит.

А тут, в этом зале, сидел известный московский жулик Рахманов. Человек знаменитый был. Собственно, настоящая его фамилия Смирнов была, а Рахманов — жульническая. Только Смирновым никто его не называл, а все звали Рахмановым.

И вот сидит Рахманов неподалеку от этих военных и тоже винцо попивает. А одет шикарно: цилиндр, жилет пике... Сидит и слышит весь этот разговор промежду генералом и полковником. И про то, как они на двести пятьдесят рублей поспорили, тоже слышал. Вот встал и подходит к ним.

— Извиняюсь, говорит, я племянник Саввы Тимофеевича Морозова и сам, говорит, маленькую фабричку имею, тысяч на триста.

Генерал сейчас наливает рюмку хересу и говорит:

— Выпейте за нашу кампанию.

Вот этот жулябия Рахманов выпил и кричит половому, ну, этому, официанту:

— Подай бутылку кагорту!

А это тоже вино, только получше хересу будет.

А половые и сам хозяин Тарарыкин, которого «Прага» была, знали, что он перво-классный жулик, а только молчали. Да и какое им дело разбирать, кто жулик, кто не жулик? Им лишь бы одет вполне прилично был да побольше денег тратил, а там хоть сам Сатанаил будь.

И вот как Рахманов приказал подать бутылку кагорту, официант, как сумасшедший, кинулся бежать. И как принес бутылку. Рахманов подает ему трояк:

— Возьми, говорит, себе на водку.

Ну, конечно, хотел показать свою шикарность: дескать, что такое для нас трояк? Пустячок!

И наливает он три рюмки кагорту...

— Имею честь, говорит, взаимно в отношении кампании!

Ну, сказать умел! Он и иного присяжного поверенного за пояс заткнул бы. Ловкач!

Генерал и полковник видят — человек приятный и выпили по рюмке кагорту. И как выпили, Рахманов и говорит:

— Я слышал ваш спор насчет жуликов и держу руку за полковника, так как, говорит, мое мнение такое, что приз возьмет московский жулик. И сроку, говорит, даю неделю, а через неделю мы опять сойдемся за этим столом и за эту, говорит, неделю работа московского жулика по всему Петербургу прогремит и будет про то известно по всей Москве. А чтобы, говорит, наше слово было крепкое, без всяких мошеннических штучек, пусть свидетелем будет Тарарыкин. Ему, говорит, и деньги спорные надо отдать, чтобы в целости были.

Генерал говорит:

— Я вполне согласен.

— И я, — говорит полковник, — вполне согласен.

Позвали Тарарыкина, рассказали про спор и отдали ему 500 рублей.

После того Рахманов говорит:

— Вы тут допивайте мой когорт, а я побегу по своему делу.

Попрощался и пошел. Взял извозчика на вокзал и махнул в Петербург.

И сделал он там искусственные цветы. Ну, может, и не сам сделал, а нашел такого хорошего мастера. И были сделаны эти цветы из воску, очень нежные, чуть тронешь — осыпятся.

И как был приготовлен роскошный букет, Рахманов обрядился торговцем — оборванец-не оборванец, а около того — и пошел продавать цветы к Аничкину мосту.

И видит публика: цветы — что-нибудь особенное. Только кто ни спросит, он говорит:

— Проданы.

А тут едет в коляске князь Юсупов, главнокомандующий над Петербургом. Ну, вроде как у нас был генерал-губернатор, только чином немного повыше.

Рахманов и кинулся к коляске.

— Ваше сиятельство, — говорит, — купите цветы для вашей супруги!

Видит Юсупов — цветы удивительные, и приказал кучеру остановиться.

— Эти цветы, говорит, из-за границы привезены, у нас такие не растут.

Он думал — цветы заправдашние, природные и хотел их понюхать. А они пылью рассыпались и прямо ему на грудь. Вот Рахманов и захопотался.

— Извиняюсь, говорит, ваше сиятельство... — И принялся стряхивать пыль с его мундира.

Страхивал, страхивал и вытащил у него из бокового кармана сорок пять тысяч.

А князь говорит:

— Ну, твое счастье, что я с завтрака от царя еду, а то бы показал тебе, как мошеннические цветы продавать.

А Рахманов нарочно согнулся:

— Простите, говорит, ваше сиятельство, больше не буду. Тут князь поехал, а это жулье Рахманов давай Господи ноги, а у самого сорок пять тыщ в кармане.

А Юсупов, как приехал домой, хватить денег. Все карманы вывернул, а денег нет. Вот он позвал кучера и говорит:

— Видно, я обронил сорок пять тыщ.

А кучер говорит:

— А может, тот цветочник вытащил? Он, говорит, видно, парень-жох, глаза у него мошеннические.

Князь Юсупов подумал-подумал:

— Все может быть, говорит. — То-то, говорит, и старался так, мундир мой обчищал.

Вот князь подумал-подумал, взял и напечатал в газетах такое объявление: «Кто нашел сорок пять тыщ и принесет ко мне, тому третья часть, а кто вытащил их у меня из бокового кармана, тому третья часть и прощение».

А как прочитал это объявление Рахманов, сейчас оделся франтом и пошел к Юсупову. Приходит и говорит:

— Извиняюсь, ваше сиятельство, это я вытащил у вас сорок пять тысяч из бокового кармана, — и подает ему сорок пять тысяч.

А Юсупов не верит, что он вытащил:

— Как же это, говорит, так? Такой приличной наружности человек и по чужим карманам лазить?

А Рахманов смеется:

— Вот такие-то, говорит, приличные и проверяют чужие карманы. Только тут, говорит, я неспроста потянул у вас сорок пять тыщ, а на спор. — И рассказал, как полковник с генералом в «Праге» поспорили, как он полковникову руку поддержал и как поехал в Петербург и обработал князя.

— Я, говорит, ваше сиятельство, есть жулик Рахманов и на всю Москву такой удалой специалист. Супротив меня, говорит, и в Петербурге не найдется мастера. Я, говорит, мог бы сорок пять тыщ прикарманить, а только мне правда дороже денег. Как, говорит, я сказал в «Праге» генералу и полковнику, что моя чистая работа по всему Петербургу прогремит, так оно и вышло.

Юсупов и говорит ему на это:

— Честь и хвала тебе за твое искусство! Действительно, говорит, работа твоя тонкая. Это, говорит, ничего, что ты жулик, а только через тебя Москва супротив Петербурга побила лихорд. И за такую, говорит, твою отвагу каждый произнесет тебе похвалу. И как, говорит, я сделал объявление, то слово мое свято. Получай, говорит, третью часть — пятнадцать тыщ и еще, окромя того, пятьсот рублей награды за твое хорошее искусство. И взыскания с тебя никакого не будет. Я, говорит, не какой-нибудь мерзавец, чтобы свое слово ломать, а как написал, в объявлении, так и делаю — почестному.

И после того говорит:

— Ты пока что повеселись, а я прикажу в газетах описать про твое великолепное удалство.

И приказал он, чтобы отпечатали в газетах происшествие это без всякой утайки и чтобы все подробно было сказано.

И в газетах отпечатали все как следует, и была там сказана Рахманову похвала за его ловкость.

А Рахманов на рысках по ресторанам разъезжает. Одет шикарно: пенсне, перчатки лайковые... Идет в цилиндре, как какой-нибудь министр иностранных дел, и никому в голову не придет, что он — жулик высшего разряда.

Сидит себе в шикарном ресторане, кагортец попивает. А тут рядом тоже тузы кофий да шинпанское пьют и про жулика Рахманова разговаривают и ловкость его одобряют. А того не знают, что этот жулик тут же посиживает.

И как повеселился Рахманов, поехал в Москву, потому что срок подходил насчет того, чтобы с полковником и генералом повидаться.

А в Москве уже стало слышно про рахмановское дело, и потому стало известно, что газеты петербургские получили и прочитали, как Рахманов своей практикой отличился и взял приз на пятнадцать тыщ и еще пятьсот рублей награды за свое искусство. И про этот военный спор, как генерал с полковником насчет жуликов поспорил в «Праге», тоже прочитали.

Ну, хоть и прочитали, да немногие, и окромя того, сомнительность брали, думают — для красного словца пущено бумо, потому что газетам нельзя всегда доверять: иной раз как разбредутся — только слушай. Конечно, ихнее такое дело, лишь бы побольше пятаков в карман положить, а правда или неправда — какая им печаль? Вот и не верилось.

А генерал и полковник уже в «Праге» сидят. Потребовали бутылку коньяку, пьют, икоркой закусывают да Рахманова поджидают. И тоже не знают, как подумать насчет рахмановского дела: правда или неправда? Ну, все же полковника веселие берет, а генерал — кислый такой.

А тут Рахманов появился. Как пробило двенадцать часов, он и прикатил на рысачке.

А полковник показывает ему газету:

— Вот, говорит, прочитайте, как Рахманов Москву поддержал и через это разбогател, а я двести пятьдесят рублей выиграл.

А Рахманов говорит:

— Мне нет никакой надобности читать, потому что этот жулик Рахманов я и есть. А что, говорит, я тогда развел вам антимионию на параванском масле, будто я есть морозовский племянник, так это, говорит, для пущей важности. А то, говорит, скажи я вам, что я жулик Рахманов, так вы бы меня в шею вытолкали. Вот, говорит, я и взял напрокат в дяди Савву Морозова.

И стал он рассказывать про юсуповское дело:

— Я, говорит, на этом деле пятнадцать тыщ заработал, да еще награды за свое хорошее искусство пятьсот рублей получил.

И приказывает половому позвать Тарарыкина. И как пришел Тарарыкин, он и говорит:

— Тарарыкин, кричи «ура»! А Тарарыкин говорит:

— Я, говорит, еще, слава Богу, с ума не сошел, чтобы горло зря драть.

А Рахманов смеется:

— Эх, ты, говорит, чертушка немазанный. Да ты, говорит, нешто не знаешь, что Москва через меня лихорд побила?

У меня, говорит, пятнадцать тыщ в боковом кармане, да еще пятьсот рублей на мелочные расходы. Садись, говорит, на кресло и поздравляй меня.

И приказал половому подать дюжину шинпанского:

— По четыре, говорит, бутылки на рыло хватит. А мне, говорит, подай кагорту, а то шинпанское надоело: я, говорит, с князем Юсуповым ведра четыре вылакал.

Ну, конечно, нарочно пылит: дескать, хоть я и жулик, а с Юсуповым пьянствовал.

И как официант принес кагорту и шинпанского, Рахманов и развеселился:

— Подать, говорит, музыку! Хочу под музыку пить!

Понятно, в кармане тыщи — отчего не поваляжничать? Ну, кликнули музыку.

Заиграла музыка марш, а Рахманов рюмку кагорты выпил.

И Тарарыкин тоже не зеваает: дорвался до дармового шинпанского — стакан хлопает, другой наливает.

А генерал не пьет, раздосадовался, что у Рахманова пятнадцать тыщ в кармане. И говорит полковнику:

— С вашей стороны довольно совестно канпанию с жуликом водить.

А полковник говорит:

— Да я еще и одного глотка шинпанского не выпил! — И говорит Тарарыкину: — А ты, говорит, Тарарыкин, подавай сюда пятьсот рублей. Тебе, подлецу, на сохранение дали, а ты их хочешь замошенничать. Так этого говорит, не будет, я их из души у тебя вырву!

А Тарарыкин уже три бутылки шинпанского выдул. В голове немного зашумело, и говорит он полковнику:

— Мне эти пятьсот рублей все равно, что пятьсот копеек. Меня, говорит, вся Москва знает, тысячи доверяет. — И вынул из бокового кармана пятьсот рублей и швырнул на стол: — Получайте, — говорит.

Тут полковник и взъялся на него:

— Ах ты, говорит, поганый мухомор! Как ты смеешь бросать?

А Тарарыкин и говорит:

— У меня графы бывают, руку подают и мухомором не называют. Я, говорит, на вас обер-прокурору жалобу подам.

Полковник взял деньги и говорит генералу:

— Пойдемте к генерал-губернатору жаловаться на жулика Рахманова и на Тарарыкина, а то они уж очень-то много позволяют себе. Пусть-ка, говорит, он возьмет их на расправу.

И пошли вдвоем.

А тогда генерал-губернатором был князь Долгоруков, и очень любил он, чтобы Москва была прославлена. И как он прочитал в газетах, что Рахманов одержал победу, обрадовался и приказал приставу привести к нему Рахманова.

А пристав не знает, где Рахманова искать. Все кабаки обшарил, все трактиры — нигде нету, а насчет «Праги» и не подумал.

А тут полковник приходит с генералом, жалуются на Тарарыкина и Рахманова.

А князь говорит:

— Чего же вы обижаетесь? Тут, говорит, у вас дело полюбовное было. Вы, говорит, поспорили, чья возьмет, Москва или Петербург? И Москва, говорит, над Петербургом стоит выше. А насчет того, говорит, что Тарарыкин швырнул пятьсот рублей, так кто же вам велел со штатским человеком связываться? Он, говорит, дисциплину военную не знает. И я, говорит, не могу пустяки разные разбирать. У меня, говорит, сейчас сурьезные дела, а вы зря беспокоите меня. Это, говорит, довольно некрасиво и нахально с вашей стороны.

Вот генерал и полковник пошли с выговором.

Ну, полковник-то уже ничего: он выпорил двести пятьдесят рублей, чего ему унывать? А вот генералу не сладко. И обозлился он.

— Я, говорит, этого дела не оставлю. Посмотрим, как Москва бьет с носка. Я, говорит, докажу, что Петербург бьет по башке. — И поехал жаловаться к царю.



А генерал-губернатор позвал пристава и говорит:

— Вы вот все по кабакам да по трактирам Рахманова ищете, а он в «Праге» с Тарарыкиным пьянствует.

Тут пристав и взялся за ум, поскорее побежал и вытащил Рахманова из «Праги». Приводит к генерал-губернатору и говорит:

— Он и взаправду с Тарарыкиным пьянствовал на радостях.

А генерал-губернатор похвалил Рахманова:

— Сказал, говорит, князь Юсупов: «честь и хвала тебе», и я, говорит, то же скажу: честь и хвала тебе, что ты Москву поддержал.

И приказал генерал-губернатор в газетах напечатать, как Рахманов свое отличие показал и Москве сделал прославление. А Рахманова отпустил и пристава приказал не трогать его:

— Раз, говорит, князь Юсупов простил его, то и вины на нем нет никакой.

Рахманов и пошел. И раскутился же он! Да и как было не раскутиться: такая честь, такое возвышение! Чего ж ему не веселиться?! Зайдет в трактир:

— Пей, ребята! Рахманов за все платит!

Бывало, разнесет весь буфет, все переколотит, перековеркает, хозяину рыло исковыряет... Выкинет сотнягу:

— Получай да помни Рахманова!

А полиция и прикоснуться к нему боится. Пристав говорит:

— Мы не имеем права взять его, потому что ему дозволено от генерал-губернатора, так как он возвышение Москве сделал.

Ну, возвышение возвышением, а князю Долгорукову влетело здорово от царя. Сперва князю Юсупову, потом ему.

А тогда царь был Александр Третий. И прочитал он в газетах, как Юсупов восхвалял Рахманова, а тут еще генерал приехал из Москвы и наговорил царю, пожаловался. И насчет того сказал, будто князь похвалялся, что, дескать, Москва бьет Петербург с носка. А все ведь напрасно: князь совсем не это говорил. Он говорил: Москва бьет с носка, а генерал взял да и ввернул сюда Петербург. Ну, конечно, для того, чтобы больше яду было, чтобы царя сильнее разжечь.

Царь и закипел. И сейчас зовет князя Юсупова.

— Это, говорит, на каком же таком основании ты расхвалил до небес Рахманова, пятнадцать тыщ ему отвалил и еще награды 500 рублей и прощение дал?

А Юсупов стал во фронт и отрапортовал, как у него дело с Рахмановым было.

— Действительно, говорит, я отдал Рахманову пятнадцать тыщ и взыску с него никакого не делал, потому что такое мое объявление было и я, говорит, наперекор своему слову не пошел, так как совесть еще не потерял. А пятьсот, говорит, рублей награда была ему от меня за его искусство. И в газетах, говорит, я приказал напечатать на удивление публики.

Тут царь и закричал:

— Мне таких главнокомандующих не требуется! — И дал ему отставку.

А после и до князя Долгорукова добрался и написал ему строгий выговор:

— Хотя и была, говорит, твоя похвальба, что Москва бьет Петербург с носка, только этому не бывать. А ежели, говорит, Москва выехала на Рахманове, так таких Рахмановых в Петербурге хоть пруд пруди. А вашего Рахманова приказываю засадить в арестантские роты на три с половиной года.

Понятно, не по нутру было восхваление Рахманова.

Тут, собственно, Рахманов одна видимость. Главное тут — зачем Петербург ущипнули?!

Вот он и похвалился, что в Петербурге Рахмановыми пруд городи. Ну, уж, конечно, где там «пруд»? От обиды и зависти так говорил. Вот поэтому и одолела его злоба на князя Долгорукова.

Ну, князь тоже с норовом был, умел на дыбы встать.

— Я, говорит, готов и на каторгу пойти, а прощенного человека не стану судить. Такого, говорит, закона нету, чтобы прощенного человека в арестантские роты сажать. А ежели, говорит, через рахмановское дело возвышение Москвы над Петербургом произошло, так я тут не при чем. Я, говорит, не нанимал Рахманова обкрадывать князя Юсупова, а тут правда сама по себе наружу вышла.

Написал вот так и послал царю.

И как понюхал этого нашатырного спирту царь, и носом закрутил — не понравилось. И послал телеграмму, чтобы Долгорукову выходить в отставку. А князь говорит:

— Ну что же? Отставка и отставка — за правду и пострадать не позор. — И ушел в отставку.

А Рахманова царь не тронул — видно, совесть не дозволила.

Ну, Рахманов и жил себе, гулял напропалую. Бывало, зайдет в кабак. А тогда еще кабачки были — на каждой улице десяток, а то и больше. Трактиры само собой, а это кабаки — распивочно и на вынос.

Вот и придет. А люди с похмелья дрожат, дожидают, кто бы им стаканчик поднес. Глянет он на эту публику похмельную:

— Что, говорит, так-растак, согнулись?

— Да с похмельюги, говорят, пропадаем, Рахманов...

Тут он и крикнет хозяину:

— Ставь четверть! Подходи, ребята, пей, поправляйся! И сколько ни на есть народу, всех поил. Не разбираю, кого угощать, кого нет, у него все равны были. Приходи хоть сам чорт с рогами, а раз с похмелья — пей, поправляйся. И платил за все чисто-ганом. Не было у него такой подлости, чтобы обмошенничать. Обработать кого нужно — будь спокоен, обрабатывает, а мошенником, обманщиком не был.

И опять это — бедноты не трогал: пусть у тебя хоть четвертной в кармане, хоть больше — не тронет. Ну, а богатеньких поздравить — спуску не дает. Только не водилось за ним этого, чтобы с револьвером или с ножом грабить. А единственно брал он искусством. За то и похвала ему, и прославление. А с наганом на человека напасть да ограбить — какое же тут искусство? Это — разбой, грабеж, и тут ума большого не требуется. Тут у человека ни стыда, не совести нет, силком отнимать. А ты вот возьми искусством, тогда и будет тебе честь и хвала. А ежели ты знаешь только одно, что «руки вверх», так ты есть подлец, негодяй и название тебе — бандит.

Москва. 10 февраля 1928 г.

*Существует вариант этой легенды. К сожалению, своевременно он не был записан мной, потом, спустя некоторое время, я не мог восстановить в памяти ни своеобразного склада речи рассказчика, ни отдельных более или менее характерных выражений, поэтому привожу только содержание его.*

*В Москве, в бытность генерал-губернатором ее князя Долгорукова, жил очень ловкий жулик, известный по кличке «Петька Кочегар». «Кочегаром» же он был прозван за смуглый цвет лица.*

*Деньги у него не переводились, одевался он франтом, посещал лучшие рестораны, знакомился с богатыми людьми и похищал у них бумажники и часы.*

*Однажды сидел он в трактире Тестова (в Охотном ряду), пил вино. За соседним столом сидело двое отставных генералов — петербургский и московский. Они тоже выпивали и*

вели разговор о том, какой город лучше: Петербург или Москва. И каждый генерал свой город хвалил, и ни один не хотел уступить другому. И заспорили они, наконец, о том, какой жулик искуснее ворует: петербургский или московский?

Петька Кочегар слышал их спор, поднимается, подходит к ним и просит разрешения принять участие в споре.

Получив разрешение, он поддерживает московского генерала и уверяет, что московский жулик сумеет украсть у генерал-губернатора николаевскую шинель с бобровым воротником. [2]

Генерал из Петербурга поднимает его на смех.

Петька предлагает пари на пятьсот рублей.

Петербургский генерал согласен. Московский генерал тоже согласен, но его смущает то обстоятельство, что в случае проигрыша Москвы петербургский генерал получит 1000 рублей, а в случае выигрыша ее ему с Петькой придется получить только по двести пятьдесят рублей.

Петька устраняет это затруднение, отказавшись в пользу генерала от своей доли в выигрыше. Пари состоялось в присутствии нарочно вызванного в качестве свидетеля содержателя трактира Тестова, которому и были сданы на хранение спорные 1500 рублей. (О том, знал ли Тестов, что Петька Кочегар — жулик, легенда не говорит).

Спорицики условились встретиться через неделю в том же трактире и за тем же столом.

Спустя два дня после спора у генерал-губернатора был бал. Вечером съехались на бал генералы, графы, князья с женами и дочерьми. В числе гостей был и Петька, назвавшийся графом Кочегаровым. Потолкавшись среди гостей, он вышел на улицу. Вскоре после его ухода было обнаружено, что с вешалки пропала генерал-губернаторская шинель с бобровым воротником.

Была поднята на ноги полиция. Но она не только не разыскала вора, даже и на след его не нашла.

Наутро Петька явился к генерал-губернатору с украденной шинелью и рассказал, чего ради совершил он воровство.

Генерал-губернатор похвалил его за находчивость и ловкость, дал ему в награду триста рублей и подарил свою шинель, так как по правилам он не мог носить ту шинель, которая побывала на плечах жулика. (Что это были за правила, рассказчик не мог объяснить). Затем генерал-губернатор приказал подробно описать и напечатать в «Московском листке» всю эту историю — с чего она началась и чем кончилась. В условленное время генералы, прочитавшие это описание, собрались в трактире Тестова. Явился Петька в николаевской шинели. Позвали Тестова и потребовали от него спорные 1500 рублей. Петька взял из них свои пятьсот рублей, остальные взял московский генерал.

Царю Александру Третьему стало известно об этой истории. (Рассказчик не мог объяснить, сам ли царь из газеты узнал о ней или же кто-нибудь сообщил ему). И написал он выговор генерал-губернатору, чтобы тот больше такими делами не занимался, не восхвалял бы в газете жуликов.

В ответ на этот выговор генерал-губернатор написал царю, что правду, как и шило в мешке, не утаишь: рано ли, поздно ли, она все же выйдет наружу. Царь разгневался и уволил генерал-губернатора от службы.

Петьку царь не тронул, потому что Петька был прощен генерал-губернатором, а по тогдашним законам нельзя было наказывать человека за ту вину, которая ему была прощена.

Все же Петька кончил жизнь свою плохо. После кражи шинели он возгордился, стал изменять своей любовнице. Ту взяла ревность и она отравила его, а сама пошла в полицию и заявила о своем преступлении. Суд присудил ее к каторге, так как ему нет дела до того, из ревности или по другой причине убит человек.

Тот же рассказчик передает еще другую версию о смерти Петьки. Московские жулики завидовали его славе и решили пришить его. Один из них, затеяв с ним драку, пырнул его ножом в живот; от этой раны Петька и умер. Где тут правда, рассказчик не знает.

Он же рассказывает, что в связи с отставкой князя Долгорукова от должности генерал-губернатора в низах Москвы ходил слух, что отставка была вызвана получением им взятки в десять тысяч рублей от богатого еврея, железнодорожного подрядчика Лазаря Полякова за разрешение ему жительство в Москве, тогда как по закону о правах евреев, изданному Александром Третьим, тот подлежал высылке к месту своей прописки. Но рассказчик не верит этому слуху на том основании, что князь Долгоруков был очень богат, отличался щедрой благотворительностью и не стал бы марать руки из-за десяти тысяч рублей.

Возможно, что взятка была дана Поляковым кому-нибудь из начальствующих лиц Москвы, а когда это обстоятельство обнаружилось, вина была свалена на князя Долгорукова.

Другой рассказик, Василий Петрович Мазин, человек уже старый, столяр из Рязанской губернии, которому я передал легенду Аксеныча и вариант ее, находит, что в обоих случаях «история о жулике» передана мне неправильно. К сожалению, многое из этой истории он позабыл, но хорошо помнит, что спор произошел не между двумя генералами, а между двумя жуликами — петербургским и московским. Московский жулик взялся украсть енотовую шубу у самого генерал-губернатора князя Долгорукова, а петербургский жулик — ризу у архиерея, когда тот будет совершать богослужение. Московского жулика звали Максимом, имя петербургского жулика рассказчик не помнит.

Максим действительно украл у генерал-губернатора, а петербургский жулик попался в тот момент, когда, проникнув в алтарь, приготовился совершить кражу. На допросе он во всем сознался и по его указанию был арестован Максим. Воров судили и приговорили к ссылке в Сибирь.

Что же касается причины отставки князя Долгорукова, то, действительно, слух о получении им от Полякова десяти тысячной взятки ходил в народе, но насколько он был достоверен, рассказчик не знает.

## Граф Закревский и его беспутная жена

Федор Федорович Каретников — человек с продолговатым, покрытым рябинами лицом, с котиком, вместо бороды, светло-русых волос на остром подбородке, лет пятидесяти, родом из Ярославской губернии, по профессии точильщик. Мастер хороший, зарабатывает хорошо, но выпивает скверно, нередко через меру... Из запаса армии был призван в 1915 году на войну, на германский фронт; в одной из атак неприятельских окопов был ранен пулей в бок. Об этой атаке он рассказывал:

— Когда сидели в окопе, чуть не каждую минуту дрожал: все ожидал: вот-вот пуля стукнет в голову, — а пошел в атаку, так и мыслей никаких в голове не было. А как ударили в штыки, так совсем ничего: воткнешь штык словно бы не в человека, а в копну сена — сам так и лезет, ни за что не зацепится.

О своей же ране он рассказывал:

— Попервоначалу будто обожгло, да некогда было рассматривать: бой закипел в самый раз. А уж после, как выбили немцев из окопов, глянул — весь бок в крови. И до того, скажи, испугался, что винтовку уронил и сам повалился, а ведь и рана-то неважная оказалась — поза кожей пуля прошла. Ну, а все же два месяца пришлось в госпитале пробыть.

Как-то рассказывал он о расстреле двух санитаров, пойманных в мародерстве — грабили раненых и убитых: при обыске у них нашли около пятисот рублей золотыми, несколько

карманных часов и серебряных портсигаров... Приказано было расстрелять их. Сорвали с них погоны в знак лишения их солдатского звания, поставили лицом к заранее вырытой яме. Офицер скомандовал, полувзвод дал залп. Один из казненных упал в яму, а другой с минуту постоял и затем опрокинулся навзничь, ногами к яме... Столкнули его к товарищу, засыпали землей. Только и всего, но солдаты очень удивлялись, как это могло случиться, что человек, насквозь простреленный пулями, упал не сразу, а затем хоть и упал, но не так, как следовало бы...

Однажды Федор Федорович рассказал о графе Закревском и его беспутной дочери, [3] о чем он когда-то давно прочитал в книжке. Книжка так и называлась: «Граф Закревский и его беспутная дочь». Такой книжки я ни разу не встретил, хотя и просмотрел их сравнительно много. Справлялся я о ней у старых «читальщиков» Константина Яковлевича и Романа Василича, которые когда-то откладывали в сторону — один сапожный молоток, другой — портняжью иглу, чтобы скуки ради взяться за книжку. Первый пошарил-пошарил в своей памяти...

— Нет, — сказал он решительно, — такой книги не помню.

Зато второй утверждал, что не только книжка, но даже целый «роман» существовал под таким названием, только он не помнит, какого именно писателя — не то Загоскина, не то Пастухованизах книги. [4]

Ни у Загоскина, ни у Пастухова такого «романа» нет, но возможно, что среди лубочных изданий было нечто подобное ему, от чего теперь остался клочок в виде легенды, которую я и записал.

Была такая книжечка про графа Закревского: как он фальшивый развод дочери с мужем дал и через это в дураки попал. Так сам про себя и написал... А служил он тогда генерал-губернатором в Москве. Это еще при царе Николае Павловиче было. Его дом и теперь еще в Леонтьевском переулке стоит [5] — там он жил, там и помер... А помер, как выставили его со службы. И все через родную дочку произошло, через ее этот развод... А какая она из себя была — красивая или некрасивая, этого не знаю... Ну, может, и красивая. Но только вертела она отцом, как хотела: одна дочь была, вот он и позволял, а сам вдовцом был. И захотелось ей замуж... Вот и выбрала она сама жениха — полковника из Петербурга... Отец и благословил, а если бы не благословил, она бы глаза ему выцарапала: язва была порядочная. И как вышла замуж, муж оказался нехорош... А нехорош вот отчего: он хотел, чтобы было как нельзя лучше, а она хотела — чтобы было как нельзя хуже. Она думала, что на то и замуж вышла, чтобы по балам и машкерадам шататься: с утра заляется и нет ее до поздней ночи, а за хозяйством кто хочет смотри, хоть татарина шурум-бурума с улицы зови. Была, конечно, прислуга, а только какой же ей расчет стараться? Постараться, еще не угодишь и нехорош станешь — вот и не заботились, а так, шалая-валя, лишь бы не без дела сидеть... Видит муж — непорядок. Раз сказал, два сказал... А он ей стал, как чорт коростовый...

— Да ну, говорит, тебя к чертям! Надоел со своей злыдней!

А-а... надоел?

Р-раз! по-военному: за косы и сею-всю... Ну, завизжала, заорала, стала ругаться...

— Ах ты, говорит, обормотина проклятый! Давай развод!

А он говорит:

— Не могу: мы еще три года вместе не прожили.

А тогда такой закон был: развод только через три года можно было дать, да и то надо хлопотать у митрополита и сунуть кому следует тысченку-другую... Ну, конечно, эти разводы для богачей и дворянства, а для нашего брата какой развод? Только мать сыра земля и разводила. Это теперь хоть каждый деть разводись, а раньше и в помине не было, чтобы мужика с бабой развели...

Ну, как он ей сказал, она сейчас хвост в зубы, мотнулась туда-сюда... Только не выходит дело, и деньги не помогли... Ну, не вышло, охать и ахать не стала, полетела к папаше в Москву.

— Муж, говорит, подлецом оказался, бьет меня. Дай нам развод.

А он говорит:

— Как это возможно? Я ведь не митрополит.

Ну, ей ничего, что не митрополит, ей развод подай!

— Ты, говорит, в Москве повыше митрополита, ты царь и бог! Кто смеет с тебя спросить?

Он и забрал в голову, что это правда, взял да и написал, что, дескать, «полковник не живет с моей дочерью на законном основании, бьет и терзает ее, а потому жить им врозь». Подписал и казенную печать приложил.

Она и прилетела с этой разводной к мужу:

— Посмотри-ка, говорит, чортова образина: вот разводная!

Он видит — фальшивая разводная. Ему-то, собственно, жену пусть хоть черти возьмут, а досада его берет, что всю вину на него свалили. Вот он и подал жалобу царю.

— В Москве, говорит, два митрополита: один настоящий, из духовенства, другой фальшивый, из генерал-губернаторов. — И описал, как женился, как жена шаталась по балам...

Прочитал царь и говорит:

— Правда тут или неправда, не знаю. — И приказал это дело хорошенько разузнать.

Стали докапываться... Видят — тут одна правда, полковниково дело правое, он правду написал.

Царь рассердился и написал Закревскому:

— Какой, говорит, ты митрополит, ежели кадило не умеешь держать по-настоящему? Ты самозванец, а мне самозванцев не надо, потому что от них только одна подлость идет.

Ну, значит, Закревского в шею со службы.

Вот он прочитал эту царскую бумагу и говорит сам себе:

— Тебе, старому дураку, так и надо, чтобы не слушал свою беспутную дочь.

И написал он про себя такой стишок:

За дочь беспутную страдаю,  
За незаконный ее брак,  
И навсегда себя ругаю,  
Что стал на старость я дурак!

Он был и взаправду старый: семьдесят два года имел. И было ему большое огорчение, что выгнали его со службы. Жалование наплевать: у самого три миллиона в банке лежали, да еще дом стоил милён, а важны ему были почет и уважение.

А в Москве уже в трубы протрубили и в колокола прозвонили, что дали ему по шапке со службы за этот фальшивый развод. Вот он и сидел в комнате, как сыч в дупле, глаза на улицу стыдился показать.

Ну, и дочери тоже хвост пресекли: бумага такая от царя вышла — высочайшее повеление жить ей с мужем вместе.

Вот поймала ее полиция, приводит к мужу, а муж смеется:

— Вот, говорит, бумажечка, так бумажечка: высочайшее повеление. Довольно, говорит, тебе гойдаты, сиди дома и за хозяйством смотри.

Она и говорит:

— Да, мое теперь дело такое, покоряться надо. У вас, говорит, без меня не хозяйство, а чертовщина завелась, и порядку нет никакого. Вы, говорит, тут всю посуду запоганили...

Схватила кастрюлю — хлоп об пол! Схватила тарелку — хлоп!

Что ни схватит, то хлоп да хлоп... И самоварчики к чертям полетели, эти чугуночки...

Вот видит он — такое дебоширство в доме поднялось, и давай ее ругать:

— Ах ты, говорит, чортова сволочь! Да я, говорит, всю морду тебе раскровяню...

Она как стебанет его кочергой:

— Не сволочей тебя, подлеца! — говорит, да кочергой его, кочергой...

Он — бежать.

— Она еще, говорит, изувечит...

И разлетелся опять к царю.

— Так и так, говорит, ваше императорское величество, жена всю посуду перебила. Ежели, говорит, нам вместе жить, так надо заранее гроб заказать либо для себя, либо для нее, потому что мы дойдем до точки и примемся друг дружку ножами пырять...

А царь сердится:

— И до чего, говорит, ты надоел со своей женой, так это имрачение.\* Ну, говорит, ежели у вас идет собачья грызня, так уж лучше живите поврозь, а то вы и на сам-деле поубиваете один другого...

А полковник тоже не дурак.

— Дозвольте, говорит, получить такую бумагу, а то она мне не поверит.

Видит царь — надо парня выручить, и приказал выдать ему разводный лист...

И как получил полковник этот лист — побежал домой. Прибегает и говорит:

— Ты мне не жена и я тебе не муж, живи где и как хочешь.

Она посмотрела на этот лист и смеется:

— Давно бы, говорит, так. А то ишь какую моду взяли: хотели насильно припаять женщину к подлецу.

Поднялась и полетела в Москву, к папаше.

Прилетает — а папаша на столе лежит, помер.

— Ну, что ж, говорит, помер и помер: не до второго же пришествия Иисуса Христа было жить ему!

И как похоронила папашу, тут и закрутила вовсю: пиры, балы, именины. Музыка гремит, она пляшет, скачет...

Ну, понятно, не рыдать же ей при таком капитале! Вот и жила, веселилась.

Ну, и полковнику тоже не было необходимости плакать... Может, не раз молебен благодарственный отслужил.

## Губонины

*Прошлой осенью случилось мне пить чай в трактире за одним столом с неизвестным человеком, ужа старым, но еще очень бодрым для его лет.*

*Мы разговорились.*

*Он назвался мраморщиком, т. е. мастером по мраморным работам. По моей просьбе он рассказал о том, как шлифуется мрамор, чего я раньше совсем не знал, и о том, какой мрамор шел в работу раньше, какой идет теперь.*

\* Так в тексте. — Примеч. составителя.

Из того, что он рассказывал о шлифовке, я не все запомнил; меня больше заинтересовало знакомое, хотя и испорченное, название одного из средств, употребляемых в процессе этой трудной работы, это — «крам-бурун», брусок, которым сглаживаются неровности на мраморе после его отмывания. Изготавливается крам-бурун, по словам рассказчика, из смеси стальных опилок, наждака и стекла. Название его состоит из двух тюрко-татарских слов: кара (испорченное — «крам») — черный и бурун — нос. Такое название он получил от своего черного, точнее, темно-бурого цвета и формы, напоминающей длинный нос.

Что касается мрамора, то лет 20—25 тому назад употреблялся на постройки зданий главным образом итальянский мрамор, но он обходился дорого: на месте, в Италии, 6 копеек квадратный вершок, не считая расходов по доставке и пошлины; его стали заменять более дешевым уральским мрамором, затем тарусским, добываемым близ города Тарусы Калужской губернии, и кавказским. В одно время, до революции, пользовались так называемым «варшавским камнем», доставлявшимся из Польши. По крепости и чистоте отделки он в некоторых случаях мог заменить мрамор, но выяснилось, что пыль, образующаяся при обработке его, очень вредно действует на здоровье рабочих: попадая в дыхательные органы, она проникает в легкие, засоряет их. Рассказчику известны несколько случаев, когда мраморщики, долго работая над варшавским камнем, наживали чахотку.

Потом, разговорившись, мраморщик рассказал о тех московских подрядчиках-строителях, у которых ему пришлось работать. Долгие прочие он работал у Ивана Григорьевича Губонина. О нем и его дяде, известном в свое время Петре Ионыче, он рассказал много любопытного в бытовом отношении. Так как в его рассказе встречаются элементы легенды, то я счел нужным записать его.

Я этих подрядчиков на своем веку перевидал пропасть — мелких, и крупных, а только крупнее Губониных вряд ли и были: это из тузов тузы. Петр Ионыч и его брат Григорий Ионыч — с них и пошло в Москве губонинское дело. Да еще сын Григория Ионыча — Иван, вот эти трое и гремели подрядами и в Москве, и за Москвой. А прочие Губонины — это все шушера: не добытчики были, а мотыги — отцовский капитал размотали.

У Григория Ионыча я по мрамору работал, знал и Петра Ионыча, а он тогда уже давно провел николаевскую железную дорогу [6] и получил от царя за свою работу похвальный аттестат. И тогда он уж в полной силе был.

А брался он за самые что ни на есть трудные и самые грязные работы. Что ни болота, то ему и подай, что ни камни, горы, трущобы — подавай ему, он ни от чего не откажется. И представит тебе работу, как в чертеже указано. А работал на совесть, прочно. Понимающий инженер глянет и, хоть не знает, что тут Губонин работал, а сейчас скажет:

— Губонина глаз смотрел, Губонина рука направляла. Дело свое Губонин тонко понимал. И такого обычая держался. Собьет, бывало, артель человек в пятьсот, а то и больше...

— Вот что, говорит, ребяташки: работа будет тяжелая и грязная. Я, говорит, не хочу вас обманывать, а наперед объявляю: тяжеленько придется. Но только, говорит, надеюсь на вас, как на каменную гору — не дадите вы меня в обиду.

Тут рабочие и закричат:

— Не дадим, Петр Ионыч!

А он снимет картуз и поклонится им:

— Спасибо, говорит, ребяташки. Только, говорит, работа от нас не убежит, успеем наработаться, а давай-ка сперва попьем, погуляем...

И выкатит сорокаведерную бочку водки, а солонины — ешь до отвала! И тут примутся ребята гулять — недели две пьют без просыпу, а как отгуляются, тут только держись! По пояс в болоте стоят, в грязи копаются, а работают.



У другого подрядчика давно бы сбежали с такой работы, а у Губонина ничего, сойдет. А какой заболит от простуды, сейчас ему чайный стакан настойки на стручковом перце. Вот он дернет и ляжет, с головой укроется. Пот и прошибет его, болезнь потом и выйдет... Ну, и умирало немало народу — и настойка эта не помогала...

Ну и работают, бьются. А кончат — Петр Ионыч опять картузик снимет и поклонится:

— Спасибо, говорит, ребяташки, молодцами работали. И опять такое же угощение. Ребята пьют, а к Губонину денежки плывут.

Тонко понимал свою работу! И нажил он миллионы, да еще сколько домов, заводов было. Имение в Крыму, в Гурзуфе, купил, три миллиона отдал. [7] Прежний владелец заложил его в банке у Волковых — ихняя контора на Петровке была... Губонин у них и купил. И разработал он это имение на удивление. Развел виноградники, винный завод устроил, потом дворец воздвигнул — это одна красота и роскошь. Царю Александру III очень понравилось имение и хотел он его купить, а Петр Ионыч говорит:

— Продать и за сто мильенов не продам, а подарю с удовольствием.

Царь рассердился и давай его ругать:

— Ах ты, говорит, скотина! Да нешто ты мне ровня, что я от тебя буду подарки принимать? Да я, говорит, тебя за такие слова в бараний рог согну!

Ну, Губонин и тут вывернулся:

— Я, говорит, ваше императорское величество, не из дворянского сословия, а человек простой, из мужиков, без образования и тонкого обращения не знаю.

Царь взял да и выгнал его из кабинета. Тем и дело кончилось.

А царь помер, тут вскорости и Петр Ионыч за ним пошел. А до того на старости лет старостой был в церкви Параскевы-Пятницы на Пятницкой.

Сам он из мужиков. Как объяснял царю, так это правда: Коломенского уезда мужик был, из села Борисова. В этом селе он и церковь построил, а для себя каменный домик. И не жил в нем, а приезжал летом на крылечке посидеть. Приедет, посидит с часок и поскорее в Москву... И были наняты особые сторожа, чтобы охранять дом и не позволять садиться на крылечке. Так и стояли два сторожа с ружьями. А кто сядет на это крылечко, они подкрадутся... трада-ах! трада-ах! из ружьев... Ну, не пулями, а холостыми зарядами, лишь бы поугатать. Вот тот, который сел на крылечко, и кинется бежать... Бежит и орет с испугу... А сторожа ухватятся за бока и давай грохотать: ах-гра-ха-ха-ха!

Ну, понятное дело, озорство. Да ведь раньше чего только не было, особенно при деньгах... И сторожа эти получали по двадцать рублей в месяц, и харчи им от Губонина шли, и одежда.

А ходил Петр Ионыч грязно. Сюртук на нем старый, замасленный, а на картузе на вершок грязиросло, сапоги скособочены. Да и брат, Григорий Ионыч, таким же отряхой был. Тоже крупными подрядами занимался, только далеко ему до Петра Ионыча было. А вот сын его Иван весь в дядю вышел, даже превысил его. Это уж настоящий строитель был. Глаз верный, видел хорошо. Издали глянет на кладку:

— Разбей! — кричит. — Разбей, так-растак!

— Да ведь правильно, Иван Григорич, — говорят мастера. Посмотрят по отвесу. — Тут, говорят, и отклонения-то на одну сотую.

Только Иван Григорич не сдаётся:

— А-а, говорит, на одну сотую? А завтра на две соты? А послезавтра все к чертям полетит? Вы, говорит, в стороне, а Губонин в бороне? Так этому, говорит, не бывать! Разбей, провалиться вам в тартары!

А сам все матом, все матом... Ну, да ведь губонинский род — все матершинники были. Вон Петр Ионыч и в церкви ругался, когда старостой был. Поспорил раз с попом и давай его разбумаживать, давай разутюживать... Такой и племяш был. Не

разбирал: инженер — инженер, генерал — генерал, архиерей — архиерей, ругался при всех...

Ну и прикажет разобрать кладку... Начнут снова класть, а он тут же стоит, смотрит. Техник там, инженер — само по себе, а ему свой глаз дороже всего. Видит — не за что зацепиться, значит хорошо.

А когда строили Исторический музей — потеха с ним была. Это первая самая крупная была его работа.

— Я, говорит, ребята, так-растак, экзамент сдаю...

И носился же он по постройке!.. Везде глядит, во все вникает. Архитектором был Рязанов, по его чертежу, по его проекту строилось здание. [8]

Вот Иван Григорич ухватит его за рукав и тащит показывать:

— Это, говорит, так, а это — вот так...

Ну, тут хитрость, испытывал инженера, так ли, мол? Ну, Рязанов ничего, одобрял, и сам тоже в оба глядел. А кончили строить, Иван Григорич побежал молебен благодарственный служить...

— Ну, говорит, ребята, я экзамент вполне сдал.

Вот после музея и пошли у него крупные работы. Здание нового университета — его работа, рядом здание, где ресторан «Петергоф» был, тоже его, памятник в Кремле Александру Второму он ставил и по мрамору тоже его работа. Речку Неглинку надо было взять в одну трубу, — Иван Григорич, пожалуйста... Музей Александра Третьего — тоже его работа была... Торговые ряды, теперешний ГУМ, тоже он... Да разве же все упомнишь? А торговые ряды он не один строил, тут были и другие, а он взял на себя облицовку со стороны Красной площади, да еще внутри работу по мрамору. А проект был Померанцева. [9] Архитектор хороший, все хвалили, а только очень горячий. И чуть не с первого дня началась промежду им и Иваном Григоричем грызня. И все через характер Померанцева. Сурьезный такой был. Глянет на работу, а ты галтель на мраморе отделяешь.

— Дай-ка, говорит, молоток...

Ну, дашь... Вот он сейчас — трах! отбил кусок и пошел, ни слова не скажет. Тут вот Иван Григорич налетит, давай ругаться...

— Зачем, говорит, работу портишь? Ежели, говорит, мрамор нехорош, поставь крест, другим заменим. Зачем же ты работу хаешь? У меня, говорит, мастера на подбор на всю Москву... Ты, говорит, хороший архитектор, честь и хвала тебе за это, так ведь и я не навоз, а подрядчик-строитель. Я, говорит, так-растак, Исторический музей строил! — И как сцепятся, и пошли грызться.

Иван Григорич красный, как бурак, а Померанцев бледный, весь дрожит.

— Твоя теория, моя практика! — кричит Иван Григорич. А Померанцев:

— Практика без теории не бывает!

— Но практика теорию побивает! — кричит Иван Григорич.

— Скотина! — кричит Померанцев, а Иван Григорич:

— Ты скотинее меня, из скотин скотина!

И взяли они такую повадку, чтобы ругаться каждый день. Прибежит Померанцев:

— Где, спрашивает, Губонин?

— Не знаем, мол, тут где-нибудь. Он и кинется искать. Прибегает Иван Григорич:

— Был Померанцев? — спрашивает.

— Только что ушел, — говорим.

Ну, и этот кинется искать. А сошлись — опять пошла грызня. И дошло у них до того, что из Петербурга комиссия приезжала осматривать работы. Тут они опять сцепились. Генералы взяли под руку Ивана Григорича, повели, а он орет:

— Я подрядчик-строитель и не позволю свою работу порочить!

— Ты не строитель, а скотина! — кричит Померанцев. И его тоже взяли под руки, увели.

Ну, сколько ни ругались, а пришло время, опять сошлись, как начали строить музей Александра Третьего. Опять Померанцева проект был, [10] а подряд взял Губонин. Я тут не работал, а слышал от своих ребят, как Померанцев налетел на десять тысяч с своим характером... И тут он молоток пустил в ход: колонны разбивал — работа была не по душе. Губонин и говорит:

— Чорт с тобой, колоти, а за мрамор, работу заплатишь.

Ну, тот вынул десять тысяч и отдал.

— Мне, говорит, важны не деньги, а работа важна. А все-таки добился того, что сделали, как он хотел. Ну, а Иван Григорич не любил швырять деньги, а собирал, да и скуповат был. Нищему-мужчине и копейки не подаст, а вот старухам всегда подавал. Иную-то и сам подзовет:

— Ну-ка, мамаша, получай гривенничек!

И всех этих нищих старух «мамашами» называл и всем по гривеннику отпускал. И чего это полюбились ему старушки божий?.. Подаст гривенничек, снимет картуз и перекрестится. А картуз словно бы в масло опустил да в пыли вывалял, и чуйка на нем такая же... А дома — роскошь... Обои золоченые, паркет выпишной из-за границы, а мебель — на удивление. И придет он в такую роскошную квартиру весь в пыли, в известке, ляжет на диван с ногами, наплюет на пол...

Жена и слова не скажи, а сказала — заорет, возьмет топор, изрубит диван, да и жене даст по затылку.

— Тебе, говорит, диван дороже мужа. — И давай всех матом гонять: — И что это за дом такой треклятый, покою в нем нет человеку!..

А как большой праздник, обрядится в сюртук, понавешает медалей и ходит, брюхо выпячет... А за какую заслугу эти медали — не знаю. Ну, да деньги чего не наделяют? Они и медали навешают...

Конечно, был у него такой гонор, чтобы про него говорили и удивлялись: «Вот, мол, идет Иван Григория Губонин, подрядчик-миллионер»...

И была с ним раз такая оказия. Едет он раз в Петербург... Целый вагон первого класса для себя и лакея нанял. Вот едет, а сам в замасленной чуйке, а лакей во фраке. Вот на одной станции в этот вагон вошли два молодых офицера и оба с хорошей мухой. Расселись на диване, песни запели...

Иван Григорич и говорит лакею:

— Пойди скажи, что я нанял вагон для себя, а не для них.

Лакей пошел и сказал. Офицеры и давай ругаться:

— Великая, говорят, важность: купчина вислопузый расселся на диване, как свинья на именинах. Он, говорят, сидит и мы будем сидеть.

Ну, одним словом, по пьяной лавочке люди заскандалили. Вот Иван Григорич посылает за жиндаром. [11] И как пришел жиндар, он объяснил насчет этого хулиганства.

— Мне, говорит, только бы фамилии этих офицеров узнать да еще в каком полку служат.

Офицеры это слышат:

— Мы тебя, подлеца и негодяя, ни чуточки не боимся. Сколько, говорят, хочешь жалуйся на нас. А фамилии наши вот какие, — и сказали, как ихние фамилии и в каком полку они служат.

Вот Губонин записал в записную книжку, а сам не остался в этом вагоне, пошел в третий класс. А лакею говорит:

— Так как ты вроде господина во фраке, то и оставайся в первом классе, а я, говорит, из мужиков и пойду к мужикам.

И перешел в третий класс. А как приехал в Петербург, и принялся хлопотать. И стоило ему это дело 20 тысяч, и все же добился того, что офицерам приказано было просить прощения у него, а если не хотят, вон со службы. И как добился своего, укатил в Москву.

И вот присылают ему депешу... Это вот теперь пошло «телеграммы», а раньше просто депеши были. И присылают депешу, что такого числа приедут к тебе офицеры прощение просить.

Вот он того числа надел рваную рубаху, лапти обул и пошел в конюшню чистить... Ну там — чистить-не чистить, а с метлой на самом навозе стоит.

Вот приезжают эти молодые офицеры.

— Где, спрашивают, господин Губонин?

А лакей говорит:

— Вон, конюшню чистит.

Офицеры не верят, а все же пошли посмотреть. Приходят, смотрят — стоит мужик с метлой. Они думают: «Это не Губонин».

— Где, спрашивают, господин Губонин?

А он говорит:

— Я самый и есть Губонин, только, говорит, я не господин, а подрядчик из мужиков. А вам, спрашивает, что требуется от Губонина? Должно, дом хотите строить, только ведь я меньше не беру подряда, как на двести тыщ.

— Нет, говорят, какой там дом! А мы приехали прощение у вас просить. — И объяснили это самое дело, как они в его вагоне скандалили. Он и говорит:

— А я про это дело давным-давно позабыл. Стоило ли, говорит, по таким пустякам утруждение принимать?.. Это, говорит, должно, жиндар наделал вам хлопот...

Они отвечают:

— Ну, жиндар или кто еще другой, а нам приказано прощение просить, а иначе вон со службы...

Он и говорит:

— Ежели такое дело, то Бог с вами, я вас прощаю.

Ну, им этого мало:

— Вы, говорят, дайте депешу, что прощаете нас, а то нам не поверят.

— Ну, ладно, говорит, пойдите в кабинет...

Вошли офицеры в кабинет, глянули, а там одна роскошь!.. Кресла, диваны, зеркала да позолота... Тысяч на двести этот кабинетик! А Губонин, весь в грязи, уселся в бархатное кресло, написал депешу и отослал с лакеем.

Вот офицеры и спрашивают:

— Какая же вам, собственно, нужда при ваших мильенах братья за метлу?

А он говорит:

— Да что поделаешь, ежели конюх запьянствовал? Лакеи же отказываются конюшню чистить.

Вот, говорит, и пришлось мне поработать.

Ну, конечно, тень на палец наводит. Ну, они, может, и поверили. Попрощались и пошли...

Ну, он так жил, а сынки зажили по-своему. Он вот все в чуйке замасленной ходил да мильены наживал, а сынки обрядились в пинжаки да и протерли мильенам глазки. Они показали им, как в банке для процентов лежать... И домам, и заводам тоже указали дорожку: все, до единого перышка, пустили в трубу.

Сам-то Иван Григорич неученый был, только и знал, что писать да читать, а сыновей в гимназии обучал. Вот они и постигли всю науку, до самого корня дошли. Научи-

лись на собак брехать. Капиталы-то он им оставил, а ум свой позабыл дать, вот они и вышли олухами царя небесного. Ну, ни к чему, ни к какому делу не способные.

Попервоначально взялись было за подряды: дескать, по отцовской дороге пойдём. А сами-то в подрядах ни бе, ни ме, ни кукареку.

Ну и прогорали: тут неудача, там неудача...

Да и не подряды были у них на уме, а вот кутнуть хорошенько в ресторане перwokлассном, да подхватить певичку или наездницу из цирка, — вот это так! Да чтобы побольше шуму, грому...

Вот и прошумели, прогремели, все отцовское наследство на ветер пустили... Ну, хоть бы что-нибудь такого сделали, за что было бы добрым словом помянуть, а то ведь ровно ничего ни себе, ни людям. Все богатство дуром пошло, развеялось.

## Солодовников

*Познакомился я с Сергеем Ефимовичем Мосоловым в 1923 г. в Москве. В то время я продавал на улице книги, он нередко приносил на продажу старые иллюстрированные журналы и романы (бесплатное приложение к журналу «Родина»). Было ему лет шестьдесят с лишком, лицо у него было очень некрасивое, особенно длинный, тонкий и крючковатый нос. Это лицо да еще довольно толстая железная палка, его постоянная спутница, на одном конце изогнутая наподобие кочерги, послужили поводом для других торговцев, моих соседей, дать ему кличку «дьявола с железной палкой».*

*Мы скоро сошлись с ним, потому что я платил ему за журналы и романы дороже остальных торговцев, делился с ним табаком, который тогда нелегко было достать.*

*По вечерам мы встречались в харчевне «Низок» за чаем. Он оказался человеком разговорчивым и веселого нрава, особенно когда ему удавалось «хватить» самогону.*

*По его рассказам, отец его был штукатур из Владимирской губернии, сам он родился в Москве, в ней же прожил всю жизнь, никуда не выезжая. Отец был пьяница и от пьянства умер, когда ему было девять лет. Мать, торговавшая на рынке печенкой и требухой и тоже любившая выпить, отдала его в учение к сапожнику, от которого он сбежал. Потом он был в учении у столяра и слесаря, но ни у кого ничему не выучился — убегал от хозяев, скитался по улице, занимался попрошайничеством и мелким воровством. Восемнадцати лет он в первый раз попал в тюрьму за кражу. Тюрьма совсем развратила его. По выходе из нее он занялся торговлей, продавал на улице яблоки. Остепенился он двадцати трех лет и с тех пор до старости жил в дворниках.*

*За чаем он просиживал часа по два и всегда находил о чем поговорить. Рассказчик он был хороший; от него я записал легенду о Гавриле Гавриловиче Солодовникове, московском купце-миллионере.*

С чего взялось богатство Солодовникова, точно не знаю, а слышал, будто он первоначально солодом занимался — солод где-то под Костромой варил. И будто от этого солода и фамилия ему пошла, Солодовников. А сам был мужик деревенский.

Ну, варил солод, продавал, деньги прикапливал, а как накопил — пришел в Москву, и пришел мужиком, в лаптишках.

Вот он понюхал, чем в Москве пахнет, осмотрелся. Видит — работать можно. Торговлишку какую-то открыл. Дальше — больше, стал деньги на проценты отдавать. И, сказывают, давал так: даст рупь, а возьмет три, а иной раз и все пять. Словом, обдирал человека донага.

Тут вот ему и пофортило, тут и повезло, поплыли денежки в карман. Понастроил домов, а всего больше за долги брал. На Лубянке свой пассаж выстроил, в наем

отдавал, — вот денежки и поплыли к нему. Сначала в тысячах считался, а потом до милльенов дошел. Вот и вошел в силу, тут ему почет и уважение: Гаврила Гаврилович господин Солодовников, купец первой гильдии. Вот так рассказывали, а как оно было в настоящем деле, не знаю. Может, по первому разу пришил\* кого-нибудь богатенького и начал свою коммерцию...

А жил скупо, и даже вполне можно так сказать, что жизнь его была свиная. Ходил неважно, одежда старенькая, обтрепанная. Нищие и не просили у него, знали: что у камня попросить, что у Солодовникова, все едино. А жрал все больше вчерашнюю гречневую кашу. Раньше насчет пищи в Москве была благодать: на пятак щей, на три копейки хлеба, на три каши — так на целый день. А ежели возьмешь вчерашней каши, так тебе на три копейки дадут столько, что и не осилишь. Вот Солодовников и ходил по трактирам есть эту кашу. В ином трактире столько останется, что и девать некуда. А посуду опростать надо. Вот повар велит выбросить ее на помойку, а буфетчик говорит:

— Не надо, придет Солодовников, всю полопает.

А Солодовникову сколько ни дай, все под метелку уберет и ложку оближет. И всегда он больше трех копеек не платил. Да уж и знали по всем трактирам, какая его плата. И больше ради потехи берегли для него кашу. Наложат миску гора-горой и подают:

— Смотрите, говорят, как Солодовников трескает кашу. Ну, народ, который в трактире, и смотрит. А ему что?

Смотри — не смотри, а он себе чавкает, как свинья. Нажрался и пошел. И все пешком ходил, хоть десять верст, хоть дождь, а он идет себе пешком. Раз только по какому-то случаю взял извозчика, гривенник заплатил, так разговору было по всей Москве.

— Солодовников на извозчике ехал, — говорят. А другие не верят:

— Этого, говорят, быть не может! Он, говорят, скорее с Ивана Великого торчмя головой вниз бросится, чем извозчику заплатит.

Вот какой он был раб Божий, обшитый кожей. Ну, словом, человек кремневого состава. И приди ты к нему, попроси выручить из нужды, и если у тебя нету дома под залог, одной копейки не даст. Ползай перед ним на коленях — и не посмотрит. А то сам вызовется помочь. Ну, не всякому, а кто по сердцу придется.

Примерно, начнет какой-нибудь человек торговлишку, деньжата последние ухлопает, а товаришку мало. Вот он и бьется, за каждую копейку трясется. А тут сам господин Солодовников к нему жалует:

— Возьми, говорит, у меня триста целковых под вексель, без процентов. Расторгуешься отдашь.

Тот и рад. Возьмет, вексель даст на год. И прикупит товару. «Ну, думает, теперь дело веселее пойдет».

Только глядит — идет к нему Солодовников. Придет и начнет учить, как надо торговать, какой товар ходовой, какой нет. И как заведет свой органчик, так и не скоро кончит. И все разъяснит, все растолкует. И пойдет домой, а на другой день опять идет. И опять примется разъяснять: ду-ду-ду-у... Как дятел сухое дерево долбит, так и он словами. И дня не пропустит, чтобы не прийти. Это ничего, что дождь ливня льет или мороз такой, что воробей замерзает. Ему это нипочем, а ему требуется указание сделать этому купчишке. Молния сверкает, гром, как из орудия, гремит — тра-да-ах!.. А Гаврила Гаврилыч идет по этому важному делу.

И вот он доведет этого лыком шитого коммерсанта до тоски.

— А дай, думает, хвачу шкалик-другой. — И выпьет. Ну, хмель, действительно, ударит в голову, а только тоска еще пуще хватает. Вот он и давай на Бога жаловаться:

\* На воровском жаргоне «пришить» — убить кого-нибудь.

— Я, говорит, никого не убил, никого не ограбил и не обмошенничал, — за что же ты меня обижаешь, зачем ты на меня Солодовникова напустил? Или, говорит, может, такая моя планида, что в проклятый час меня мать родила?!

Ну, и закурит, закрутит дня на три, на четыре.

— Все равно, говорит, не пей — толку не будет, пей — то же самое. Так уж лучше, говорит, я выпью, горе размыкаю.

Ну, а как проспится, и думает, как ему от Солодовникова избавиться и по векселям не платить. И поскорее своим же купчишкам сбудет товаришко за полцены, а сам сидит в пустой лавке, ждет Солодовникова.

Вот приходит Солодовников, глянет, видит — пустые полки.

— А где же товар? — спрашивает.

— Да что, Гаврила Гаврилыч, — говорит купец, — не повезло мне. Видно, не в добрый час я начал торговать. Тоска, говорит, меня одолела, я и пропил товар. Теперь, говорит, хоть повесьте меня, а платить по векселям мне нечем.

Вот Солодовников и говорит:

— Запирай лавку, пойдем в трактир, обсудим.

Ну, запрет, идут... Приходят. Солодовников и говорит:

— Требуй на три копейки вчерашней каши.

— Помилуйте, — говорит, купец — да я лучше обед потребую, на обед еще есть у меня.

— Делай, что тебе велят, — говорит Солодовников.

Ну, потребует купец каши. Принесут целую миску. Солодовников и накинется на нее, словно бы три дня голодал. Всю, как есть, пожрет, достанет из кармана вексель и подает купцу:

— На, говорит, получай. Да когда, говорит, придется у кого занимать, вспомни, как Солодовникова кашей кормил.

Подыметесь и пойдет, и после на того купца и не глянет, словно бы и не знает его.

Вот он какой был! Иному должнику копейки не простит, крест с него снимет, а тут за вчерашнюю кашу вексель на три сотни херит. Такой уж, видно, нрав был у него.

Мильонов сколько у него было? Раньше богаче его ни одного человека в Москве не нашлось бы, а вот возьми его — при таком богатстве ходил апельсины воровать.

Торгуют на улице лотошники яблоками, апельсинами, вот у них он и воровал. Около его пассажа на Лубянке они всегда стояли. Публика тут почище, побогаче — вот они тут и устраивались со своими лотками. А он каждый вечер ходил на воровство. Яблоки ему не надо, а вот апельсины подай.

Ну, они стоят, поджидают покупателя.

Вот он подкрадется, цап апельсин, да скорее в пассаж, там и слопает. А лотошники уже знают его повадку. Чорт, мол, с тобой, жри! А то ведь, ежели они заскандалят с Солодовниковым, так тот позовет городского и прикажет всех их прогнать. Ну, они и молчали. Только ежели который издали заметит его, то подаст сигнал товарищам:

— Смотри, ребята, в оба — Солодовников идет!

Вот тут ему никак нельзя украсть, потому что они следят за ним. И станет он скучный такой:

— Нынче, говорит, мне не пришлось попробовать апельсинчика.

А что такое этот апельсинчик самый? Десять копеек цена ему была, а какой похуже, так и за восемь можно было взять. Ну, и взял бы, купил по-честному, не велик расход, разору от этого не было бы. Так вот нет! Ему украсть бесприменно надо! Ворванный вкуснее...

А еще вот... Уж и не знаю, правда ли это? Да ведь, если народ говорит, так что-то было... Это будто вечером приходили к нему два человека: один на гармонию играл, а другой — матершинник, ну, который матом ругается.

И будто каждому человеку за час рупь от него шел. А ихняя «работа» такая была: станет Солодовников на колени перед образами и давай молиться, а они — один на гармонии играет и поет, а другой матерно ругается. А ругается по-настоящему. Приказ такой от Солодовникова был, чтобы ругаться забористее. Ну, они и стараются: один на гармоньке наяривает, другой материт. А сам Солодовников поклоны бьет.

А это для соблазна надо было: дескать, вот вы безобразничаете в моем доме и вас следовало бы по шее выгнать, а я терплю, молюсь, и грех не на мне, а на вас, мне же через мое терпение сколько-нибудь греха скостится. Вот, видишь, на что бил человек: через чужой грех себе спасенье хотел получить! И вот, как час окончится, этих «соблазнительей» из дому вон, а Гаврила Гаврилыч почитай что святым в постельку ложился. Хе-хе-хе!.. Вроде бы какого отшельника, который в пещере 20 лет спасался. Ну, конечно, капитал позволял, чего же смотреть? При капитале все можно.

Ну и жил он, над копейкой дрожал, а как помер, наследнички живо распределили его денежки — нашли им место. Пошли эти пиры, театры. Циркачке букет цветов, а кругом сотельными бумажками обернут. Или возьмет бумажку в 15 рублей, зажжет на свечке и папиросу закурит: «У нас, мол, хватит капиталу!» Только ненадолго хватило, скоро дымом в трубу пролетел этот капиталец. И эти наследнички самые обтрепаями стали. То шинпанское не по вкусу, а то, как сиволдаю стаканчик попадет, так аж весь задрожит. Хватит, да корочкой ржаной и закусит. А раньше-то от котлетов нос воротил.

*Солодовников Гаврила Гаврилович — богатый купец-миллионер, своими скупостью и причудами был известен всей Москве. Умер в конце семидесятых или начале восьмидесятых годов прошлого столетия, оставив огромное состояние. Дома он завещал в пользу города Москвы; наследники судебным порядком оспаривали правильность завещания; это судебное дело тянулось до Февральской революции и осталось неоконченным.*

## Корзинкин

Мало ли было этих богачей московских. Одних Морозовых сколько! Потом пошли Коншины, Бахрушины, Прохоровы — да всех и не упомнишь. Мало ли. А только богач богачу рознь... Иной на готовое пришел: отец нажил, отец припас. А ты вот приди в Москву в лаптях и всего капиталу у тебя пятак, и тысячи наживи. Вот это дело! За такое дело вполне можно сказать тебе одобрение: «Хвала и честь твоему уму». Это, действительно, с гроша пошло твое богатство. Какой-нибудь несчастный пятак пришел и с него вошел в тысячи. Это, действительно, смекалистый ум. А чтобы готовым капиталом распорядиться — это не хитрость. Ты вот сумей-ка нажать.

А только богач богачу рознь... Про других богачей не говорю, не знаю, как они там наживали свои капиталы, а вот про Корзинкина слышал от знающего человека. Это который чаем торговал Корзинкин, фамилия известная. Его дома и на Покровке, и на Тверской. На Тверской один дом, это как идти к Иверским воротам, вот, не доходя немного, по правую сторону стоит большой домина.

Человек известный Корзинкин, когда-то гремел. И был он человек особенный. Такой обычай был, такой он порядок в своем доме завел: чтобы ни одна вещь не выходила из его дома, даже какая-нибудь пустяковина нестоящая, чтобы не пошла по людям.

Возьми вот такой предмет — картуз. Носит, носит его Корзинкин, смотрит — засалился картуз, пора новый надевать. Он и наденет, а этот старый в землю зако-



пает — пусть гниет. А чтобы нищему отдать — так это Боже сохрани. Он нищему новый картузик купит, а чтобы свой отдать — ни-ни. Яму выкопает и похоронит: «С Корзинкиной головы на чужую не переходи». Вот такой порядок был у него. Одежда износилась, рубаха ли, штаны ли — сейчас похороны. Сам яму выкопает, сам землей засыплет. И всякую вещь так. Взять ведро. Продырявилось — сейчас хоронить. Такой чудодей был.

Это тоже вот. Жила у него лошадь, жила-жила, свое отработала, состарилась. Иной бы татарам на убой продал, а он ее на дачу отправил и конюха особого приставил к ней. Кормил, поил хорошо. Живи, отдыхай на старости лет. И сена ей лучшего вволю, и овсеца, и отрубей. И уход самый хороший. Иной человек такого ухода не видел. Ну, как ни кормил, как ни ухаживал, а подохла лошадь — пора пришла. Так что ж ты думаешь? Он и ей похороны устроил. В саду яму выкопал и похоронил.

И все у него так было... Курица сдохнет — не смей в навоз бросать, а похорони. Вот какого он порядка придерживался.

А сам из мужиков, настоящий деревенский мужик. И в комнате у него был такой шкаф, весь из стекла, а в шкафу этом — рубаха холщовая, вся изорванная, да штаны такие же рваные висели, да еще пара истоптанных лаптей. Это он в такой одежде вперые в Москву пришел работать.

Ну, мужик не дурак был. Сумел шевельнуть мозгами, ему и повезло, он и разбогател. Только хоть и разбогател, а роскоши не придерживался. Не было у него этой дурацкой моды, чтобы пыль в глаза пускать... Эти разные там финтифлюшки — этого не было. По простоте жил. Идет по улице, и не подумаешь, что Корзинкин-миллионер идет: картузик на нем простенький, сюртучок тоже простенький (тогда купцы все больше в сюртуках ходили), такой сюртучок — самый простой, и сапоги не ахти какие... Идет себе полегоньку с палочкой... Посмотришь — подрядчик маленький, самый грошовый подрядчик. А раскуси-ка его — он тебе все правила жизни разъяснит. Башка. Ему не вотрешь очки, не скажешь — надо полтора пуда краски, когда ее от силы требуется фунтов пятнадцать. Его не обставишь. Он на глазомер определит, сколько требуется материала. Он сам из семи котлов кашу едал. И тебя-то самого по твоему носу, по твоей ухватке определит — настоящий ты мастер или только шантарпа грошовая. Его не проведешь. Он и городскую жизнь знал, и деревенскую. И простой был, не кичился своими миллионами. Он и сыновей своих учил, как надо жить. Подведет к этому шкафу стеклянному и говорит:

— Вы не задирайте носа. Смотрите, в какой одежде родитель ваш пришел в Москву.

Ну, сыновья для блезира и посмотрят. Ну, да ведь и люди-то они не отцовского калибра. Они все на рысачках, да на автомобилях, и шагу без них не сделают, да все с портфелями, все с портфелями под мышкой. А старик отец и не потрогал этот портфель, а миллионы нажил. Да и что такое портфель? Одна только платформа: всего больше для пущей важности. Напихай в него бумаги себе какой, а со стороны люди подумают — дела. Да мало ли чего не положишь? Вон у нас на работе техник тоже портфель таскает. По первоначальному мы думали: чертежи человек носит. А в нем вот какие чертежи: полбутылочки брыкаловки да закусочка — колбаска, булочка. Отвернется, запрокинет голову и дует прямо из горлышка. Выпьет сколько ему надо, закусит, и пошел за работой доглядывать:

— Тут вот колер пусти погуще, то-се... — Нос-то насан далит — ему и нейметя. Ну, парень, однако, ничего: и дело знает, и человек снисходительный...

Ну, а Корзинкину к чему портфель? Он и без него знает, что ему требуется. Тоже вот эти рысаки да автомобили — не признавал их. Ну, может, раз в год, а то и два возьмет извозчика. А то все пешочком, все пешочком. Тут не скупость. Тут укрепление ног. Нежностям не потакал. Ему этого пирожного и не показывай. Он лучше ломтик чер-

ного хлебца с солью съест — тут пользительнее будет. И шинпанского ему не надо. Он водочки по препорции выпьет и закусит добре — оно и будет ему на здоровье.

Ну, а все же был чудачок. Бывало, увидит нищего:

— Эй, живая душа на костылях! На-ко вот тебе, поди, дерни шкалик. — И подает нищему семь копеек. А нищий и рад: отчего не дернуть? С нашим, мол удовольствием.

Вот он поскорее идет в кабак, а Корзинкин не отстает от него.

— Я, говорит, хочу посмотреть, как ты водку будешь пить.

Ну, а нищему что?

— Хочешь? Ну и смотри. Идем вместе.

Вот и приходят в кабак. Требует нищий шкалик, пьет, а Корзинкин смотрит на него и морщится.

— Ну как? — спрашивает.

— Хорошо! — говорит нищий. А Корзинкин смеется:

— Вот то-то и есть, — говорит. — А то согнулся в три погибели.

Вот видишь, какая его забава была. Ну, только больше шкалика не поднесет, да и не всякому нищему подносил, а глядя по человеку. Зря деньги не швырял. Жил скромно. Ну, и скаредом не был, над копейкой не дрожал, бедному человеку не отказывал, помогал. А к Пасхе и Рождеству особое подаяние было. Только тут он не касался, не его забота была: жена распорядилась, она уж знала, что и куда послать. По тюрьмам да по замкам целые возы подаяния посылала.

Арестанты глянут в окошко:

— Ну... Корзинкина обоз валит.

Это не то, что сунул нищему копейку, да и велишь: «за упокой души Варвары, Митрофана, Ивана»... Целый список, целое поминанье за одну копейку. А тут придут воза три, получай, что следует по положению. А помянешь ты добром Корзинкина или не помянешь — твое дело.

*Записано летом 1925 г. от маляра Андрея Степановича (фамилия неизвестна), старика лет шестидесяти.*

*Какому именно Корзинкину посвящена легенда, я не мог установить, так как упоминаемые в ней дома на Покровке и Тверской улицах принадлежали разным лицам этой фамилии. Вообще собрать более или менее точные сведения о Корзинкине мне не удалось, и лишь в одном случае от бывшего торговца И. Г. Колосова, имевшего на Сивцевом Вражке бакалейную лавочку, я узнал, что действительно был такой старик Корзинкин: чаем торговал и ходил пешком в длиннополом сюртуке и с палочкой. Чай его славился, самый ходкий чай был под названием «красненького» — брал густым настоем. Что касается «порядка», по которому ни одна вещь из имущества не должна была выходить из его дома, — Колосов об этом ничего не слышал.*

## Корзинчиха и Коншиха

*Неизвестный, лет пятидесяти, по виду похож на рабочего-сезонника. Встретился я с ним в чайной на улице Герцена (бывшая Никитская), за общим столом. Во время нашего чаепития в чайную вошел пьяный нищий и, обходя столы, просил «поддержать его существование на земле». На его просьбу никто не отозвался. Он принялся ругать посетителей «свиньями», «скотами» и «подлецами». Хозяин чайной стал выпроваживать, но тот упирался и буянил. Был вызван милиционер, который и убрал его.*

*Этот случай дал повод к разговору за нашим столом о нищих. Один из собеседников рассказал о том, что после смерти одного нищего в его тряпье было найдено две тысячи рублей. Затем разговор перешел на благотворителей прежнего, дореволюционного времени, которые своими подаянками «распложили нищих». Упомянутый выше неизвестный рассказал о двух благотворительницах, вдовах чаеоторговца Корзинкина и фабриканта Коншина.*

Корзинкин, который чаем торговал, как помер, жене три мильена чистоганом оставил да еще магазины, дома. А сама Корзинчиха уж старая была. И разохалась:

— Ох, ох... Какая уж тут торговля? говорит. Дай Бог и без торговли мильены прожить.

И не стала больше торговать, а все по церквам да монастырям ездила молиться. И был ей от духовенства почет: по одну сторону игумен стоит, по другую — архимандрит, а сама она в кресле сидит: ногами болела, вот и подавали ей кресло. Посидит, встанет, помолится и опять сядет.

Вот какое ее было житье на старости лет: все молилась да вздыхала. И жила бы она себе без хлопот, да тут искушение нашло на нее. Приезжают раз к ней важные особы:

— Мы, говорят, приют для бедных старушек строим, и все у нас готово и план есть, только для начатия десяти тысяч не хватает.

— Ну что ж, говорит она, возьмите десять тыщ, только в дело произведите.

Они взяли и произвели себе в карман.

А управляющий, который за ее домами смотрел, сомневается насчет приюта. — Дай, говорит, пойду посмотрю, что там за приют.

Пошел, искал, расспрашивал и никакого приюта не нашел. Пришел и докладывает Корзинчихе:

— Это, говорит, не приют, а лишь одна аферистика. И разъяснил про это мошенство.

Она и разохалась.

— Ох, ох... Какие, говорит, бессовестные люди есть на свете. Лучше, говорит, заключенным в тюрьмах помогать, потому что не все за вину сидят, есть и без вины страдают.

А управляющий говорит:

— Много не надо посылать, а сперва, говорит, сделайте испытание — пошлите сотенную.

Она и послала сто рублей.

— Хоть, говорит, по пятаку на человека, лишь бы без обиды разделить.

Ну, начальство «разделило»: «катеньку»\* в портамонет положило, а портамонет — в карман.

— По две, говорит, с половиной копейки на человека пришлось.

А управляющий не верит, пошел, все разнюхал, разузнал. И опять докладывает Корзинчихе. Она в огорчение пришла и опять разохалась:

— И где, говорит, только стыд у людей? Арестантов, говорит, и тех обижают.

И приказала хлебное подаяние делать арестантам: кусок булки с фунт — порция на человека. Ну, хлеб начальство не трогало. Только арестанты под конец недовольны стали:

— Что это, говорят, Корзинчиха, так-растак зарядила все хлеб да хлеб, а нет, чтобы пирожка с капусткой прислать!

---

\* На кредитном государственном сторублевом билете царского времени имелось два изображения (одно из них водяное) императрицы Екатерины Второй, отсюда название этого билета «катенька», «катуша», «катеринка».

Ну, понятно, шпана\*, что с не возьмешь? Ни стыда, ни совести у людей.

Управляющий и говорит:

— Одна неблагодарность: матерно ругаются, требуют пирогов с капустой.

Она опять:

— Ох, ох... С этими, говорит, мильенами только нагресишь.

Понятно, нагресишь. Сынков у нее не было, вот и нагресишь, а были бы, так от мильенов и звания не осталось бы — нашлось бы для них местечко тепленькое. Вон, еще до войны, шатался по Москве Солодовникова племянник обтрепанный, ошарпанный, одним словом, хитрованец.

— Угости, говорит, брат, рюмочкой. Я Солодовникова племянник.

— А мне-то, говоришь, какая радость, что ты Солодовникова племянник?

— Да я, говорит, за шесть месяцев по трактирам, по кабакам восемьдесят тыщ наследства пробуксирил! — А сам в опорках и весь дрожит с похмелюги.

Ну, что с ним станешь делать? Возьмешь и поднесешь:

— На, на, мол, пей, ежели ты такой артист.

Вот кому бы корзинчихины мильены! Он не стал бы охать да вздыхать, а живо бы к делу определил их.

А Корзинчиха что? При муже до старости прожила, свету настоящего не видела и как обращаться с народом, не знала. Вот и охала с мильенами своими, как квочка с цыплятами.

А то еще была Коншиха. Тоже муж оставил сколько-то мильенов — пять или больше, фабрику, и дом на Пречистенке с мильен стоит. С виду суровая такая была старуха, а звали Варвара Сергеевна. Ну, тоже помогала бедным, нищей братии — обмывала, обряжала, кормила. Только заведено было у нее не как у людей, а на особый лад. Придет, бывало, какая-нибудь бабенка-пьянчужка... И-и... расплачется, расхнычется — косушку сорвать метит. Глянет на нее Коншиха раз, другой, нахмурится.

— Ты это, говорит, что же раба Божия, неумывкой ко мне пришла? Анисья! — кричит.

А эта Анисья кухаркой была, лет десять у Коншихи жила и с ней в одну дудку играла. Вот и явится, а Коншиха приказывает:

— Возьми, говорит, эту рабу Божию на кухню, пусть рожу вымоет да ручищи и башку тоже. Щелоку, говорит, и мыла не жалеи, а то на ней грязиросло на вершок. Рубаху дашь чистую, а ее рубаху под плиту — нечего, говорит, вшей разводить.

Ну, Анисье это не впервые, вцепится в «рабу Божию», как кобчик, потащит на кухню. Как примется башку ногтями скрести, так той в пору кричать. И вымоет, принарядит, поведет напоказ. Оглядит Коншиха.

— Ну вот, говорит, мало-мало на человека стала похожа. Ты, говорит, раба Божия, водку пьешь?

А та и залянется:

— Дай, говорит, Бог, сквозь землю провалиться, ежели пью. Не потребляю, говорит, Варвара Сергеевна, я такого напитка.

Ну, Коншиху не обманешь, она видит сову по полету.

— Врешь, врешь! — говорит. — Тебя по бельмам видно, что трескаешь. Анисья, говорит, дай ей водки, накорми, да полтину в зубы — пусть идет на все четыре света белого.

И опять поведет Анисья бабу на кухню. Закатит ей чайный стакан водки, щей нальет, мяса наложит не жалеючи. Та с голодухи и накинется... Жрет, жрет и отвалится.

— Не могу, говорит, больше.

---

\* Шпана — презрительное название арестантов и босяков. Слово тюремного происхождения: арестанты шпаной называют вшей, уподобляя последних по обилию их на каждом из них тонкорунным овцам шпанской породы, известным на юге России под названием шпанки.

— Нет, — говорит Анисья, — жри все до конца, не то за пазуху вылью, а чашку об твою башку разобью.

Ну, что поделаешь? Хочешь-не хочешь, а надо доедать. Вот через силу докончит все и разопрет ее, как свинью. Тут Анисья и выдает ей полтину:

— Ступай, говорит, и вот тогда-то приходи, да смотри, не умывайся, а чем грязнее будешь, тем лучше.

Вот видишь, чего требовалось Коншихе и Анисье — человека мыть. Это самое главное ихнее дело было. А придет какой чисто вымытый, так это для Коншихи вроде как бы обида.

— Ты это, говорит, раб Божий, куда пришел? На бал или в театр? Вон! Сию минуту вон! Чтобы твоего духу не воняло!

Ну, тут поскорее беги без оглядки, не то дворник кулаками на улицу вышибет.

Вот как обходились с чистыми людьми, а какой-нибудь рванине, что ни на есть последнему хитрованцу — почет, только чтобы обязательно голову мыть. Такой уж закон был у нее. Кто ни приди — баба или мужчина, а не минует Анисьиных рук. Ну, понятно, кто от такого добра откажется? Тебя задарма вымоют, рубаху дадут, водкой напоят, накормят да еще полтинником наградят, а ты на дыбы станешь? Так это — одно остолопство.

А все же нашелся и супротивник. Тоже хитрованец, Федором Семеньчем звали. Здоровенный старичище был, пьяница из пьяниц и матершинник, одним словом, последняя сволочь. А ему почет от Коншихи шел. Ну, почет не почет, а кормили хорошо и водки тоже неплохо давали. Вот он и хаживал раза три в неделю. Только все же под конец поругался из-за этого мытья.

Приперся раз здорово под шахве\*. Анисья потащила было его мыть, а он уперся и давай матюкаться.

— Что это, говорит, так-растак, вы такую акробацью взяли — беспрерменно человека мыть? — И пошел раздумывать и Коншиху, и Анисью. А те ничего: стоят да посмеиваются.

Его еще пуще зло взяло от этого смеха:

— Ноги моей у вас больше не будет! — кричит, и ушел. Ушел и с месяц не показывался. Так что же скажешь?

Ведь послала Коншиха дворника за ним! Пошел дворник, разыскал на Хитровке этот «драгоценный алмаз», привел. Коншиха и напустилась:

— Совесть, говорит, есть у тебя? Почему столько времени не приходил?

А он и говорит:

— Да что, Варвара Сергеевна! Когда ни придешь, все мыть да мыть.

Она и давай его пробирать:

— Да как же, говорит, вас чертей, не мыть? Ведь обовшивели все с головы до пят!

А тому и сказать на это нечего, потому что — правда. Да и на самом деле, какое уж хитрованское житье? Постоянно в грязи, в навозе, как тут не быть вшам?

Ну, и потащила его Анисья на кухню и обработала за мое почтение. Принарядила, водочки поднесла, а насчет этого кушанья, так жри на выбор что хочешь: тут и жаркое, и курятина, индюшати́на, котлеты и разная премудрость под соусом. Он и пошел трескать. Сам потом рассказывал про это угощение:

— Моя, говорит, братцы, канплекция того не позволяла, сколь много я тогда этого великолепного кушанья поел.

А тут еще Анисья рупь ему сунула — он и сам размяк, стал опять ходить, да только скоро спекся, опился водки. Ну, подох и подох — тужить о нем некому было,

---

\* Шахве — испорченное французское слово *chauffé* — подогретый; в переносном значении — находящийся в легком опьянении, навеселе.

собаке собачья честь. А Коншихе не до него было, другим делом занялась: собор в Серпухове начала строить. Сама она серпуховская была, вот и хотела, чтобы память о ней осталась, да через одного монаха вся ее затея распалась.

Шут знает, откуда он явился, прислонился к Коншихе и все проповедовал, как надо на свете жить по-праведному. Только эта его проповедь мошенническая была: хотел голову человеку затуманить, а сам целил Коншихин капитал царапнуть. Он такое мнение в своем уме положил, что, дескать, Коншиха старуха дурашливая и обмануть ее ничего не стоит. А Коншиха еще не потеряла ума и хорошо понимала, каким духом дышит человек. Слушать она слушала его рацеи, а кошелек подальше держала.

Вот он молол-молол да раз и говорит:

— Что это, Варвара Сергеевна, такое? Вокруг вашей головы сияние.

Она и спрашивает:

— А какое же это сияние, отец?

А он возьми и брякни:

— Да я, говорит, так разумею, что вы вполне просветились, а святым, говорит, деньги один только соблазн. Лучше, говорит, давайте, я их на монастырь потреблю.

Тут она хлоп, хлоп! его ладонью по щеке.

— Ах ты, говорит, сукин сын! Да как, говорит, ты осмелился грешного человека к святому приравнять?! — И еще его хлопнула.

А было в самом Серпухове, при народе... Ну там, свой народишко, который при ней находился. И как она отхлопала его по щекам, он озлился и с кулаками налетел было на нее да сам попал в переплет. Как сгребли, как пошли мять... Уж они мяли, мяли... еле жива оставили. Проскрипел он два дня и ноги протянул. Ну, сейчас эти доктора натомировать, уж без этого у них никак невозможно. Вот разрежали, распотрошили, смотрят — печенки отшиблены, два ребра перебиты.

— Да тут, говорят, убийство!

И задымилось было дельце немалое, да сейчас же затушили: три тысячи роздали нужным людям, и дело насмарку. Еще монаха и виноватым сделали:

— Так, говорят, ему и надо, не распускала бы зря длинный язык!

Ну и сволокли раба Божия на кладбище, похоронили, и как не жил на свете.

А Коншихе дело это не прошло даром: растревожилась она, совсем расхворалась. Лежит в постели, охает и все монаха клянет:

— Этот, говорит, окаянный дух, монашек непутевый, все дело испортил: не дал собор достроить, да и самое в гроб уложил: чую, говорит, смерть моя идет.

Ну, поохала да той же дорогой вслед за монахом пошла. А собор так и остался недостроенным: фундамент заложили, стены начали было выводить, да на том и дело стало.

*В. С. Коншина («Коншиха») — жена известного в свое время московского фабриканта-мануфактуриста, в низах Москвы помнится только людьми старого поколения. По словам одного из них, она действительно принимала у себя во дворе нищих, оделяя каждого двадцатью копейками, нередко давала им белье, которое, по обыкновению, пропивалось. Приказывала ли она мыть голову нищим и гнала ли со двора чисто одетых просителей, рассказчик не знает, но ему известно, что женщин-нищенок, приходивших к ней с кучей детей, взятых «напрокат», она не жаловала, как обманщиц.*

## Козьма Дмитрич Молодцов и нищие

*Старичок-нищий лет семидесяти, кривой, с редкой бородкой, в 1924 году зимой был постоянным посетителем харчевни «Низок».*

*Обыкновенно к вечеру после обхода города он спускался в подвал, где помещалась харчевня, заказывал щи или кашу и ел, сидя в шапке и рваном полушубке, а когда принимался за чаепитие, снимал их.*

*В харчевне и на улице он был известен под кличкой «Николушка-свет», хотя имя его было Никифор. С чего взялась эта странная кличка, он и сам не знал, взялась же она давно, лет сорок тому назад, а он в то время уже нищенствовал.*

*Откуда он был родом, точно узнать не удалось. Как-то он мне говорил, что родился в Москве, «от купца и офицерской дочери», в другой раз пространно рассказывал о том, как провел он детство в деревне у своего родного дяди и как во время игры в «чижика» ему выбили глаз. Где тут правда — не знаю.*

*Во время наших бесед о старом московском времени он рассказал об одном из благодетелей нищей братии — купце Кузьме Дмитриче Молодцове. Этот рассказ был мною записан под живым впечатлением слышанного, а рассказ о другом таком же благодетеле, интендантском чиновнике Васильеве, своевременно не был записан, вследствие чего многие из его более или менее характерных подробностей утратились из памяти и поэтому я передаю лишь содержание его в общих и кратких чертах.*

*Васильев жил в Москве, в одном из домов насупротив Страстного бульвара. Имел он обыкновение каждое утро оделять нищих деньгами: мужчин пятнадцатью, а женщин двадцатью копейками, и никогда не оделял медными, а всегда серебряными монетами. Кончилось это благотворение для него печально: он растратил большую сумму казенных денег, попал под суд, потом — в тюрьму. На суде он не оправдывался, объяснив, что намеренно тратил казенные деньги ради нищих, потому что нищие — люди обездоленные и помочь им необходимо, своими ли собственными деньгами или казенными — безразлично. А когда суд приговорил его к арестантским ротам, он сказал:*

*— Ну что ж? Арестантские и арестантские. Был я в чинах, жил при полном своем удовольствии, а теперь остался без чинов и на арестантском положении.*

*Тесть Васильева, важный генерал, хотел было выхлопотать у царя ему помилование, но Васильев сказал ему:*

*— Нет, не надо мне царского прощенья: раз суд определил мне тюремную жизнь, я и должен испытать ее.*

*Так он и остался в тюрьме, там и умер.*

*В последний раз я встретил «Николушку-свет» летом 1925 года на Арбате. Тяжело волоча ноги по тротуару, он пробирался по направлению Смоленского рынка и на ходу стонал:*

*— Ой, батюшки! Ой, матушки! Не забудьте старого старика.*

*Я остановил его, предложил ему «курнуть», что он любил.*

*Во время курения он сказал:*

*— Что за диковина такая? Как-то сразу я ослаб, ноги не хотят работать и весь будто разваливаюсь.*

*— Старость подошла, — сказал я.*

*— Ну, старость! — возразил он. — Оно, действительно, мне уж больше семидесяти, так ведь живут люди до девяноста и до ста. Годы тут ни при чем. И вот что удивительно: ни капли не болел, а сразу ослаб. Видно, на свалку пора, а не хотелось бы. Там такого денька, гляди, и не увидишь. Ишь, благодать какая, теплынь!..*

*Потом я больше не встречал его, видно, и на самом деле попал он «на свалку».*

Раньше были благодетели, не забывали нищую братию. Вот, сказать, купец Молодцов Кузьма Дмитрич — у Рязанского вокзала торговал, бакалейную и мясную лавку имел, — так он особого обычая придерживался насчет нашей братии и голубей, ну, этих, простых голубей, бесприютных, которые без хозяина. Это теперь их почти не стало видать — в голодные годы пожрали, а до революции их в Москве миллены были и никто их не трогал, а еще кормили: старухи сидели с овсом, подойдет кто, купит копейки на две, разбросает.

И Молодцов их тоже кормил, только по-особому, с нищими вместе. И такое правило было у него: как наступит утро, он и вывозит на площадь короб белого хлеба, мешок овса и денег-медяков. И главный приказчик Иван Мартьяныч при нем.

А наша нищая братия уже собралась и голуби тысячами над площадью носятся.

Вот Кузьма Дмитрич снимет картуз, перекрестится:

— Ну-ка, говорит, Иван Мартьяныч, начинай с нищих. Откроет приказчик короб, примется оделять. Получил ломоть — подходи к Кузьме Дмитричу, от него три копейки тебе будет. Не получишь ни больше, ни меньше, — всем поровну. И как получил свою порцию, проваливай, уступай место другому.

Покончат с нами — давай голубям овес кидать. А голубей эти-их... может, тысяч двадцать.

Раскидают, разбросают, идут торговать. А около лавок уже народ толпится. И даже многие из дальних кварталов приходили. У самих под носом лавки и товар лучше и дешевле, так нет, это не то, у Молодцова лучше! А Молодцов всякую заваль за хорошее спускал: и селедки тухлые бывали, и мясо тоже подгуливало. За такое мясо в другой лавке ругань была бы обязательно, а у Молодцова — ничего, сходило, да еще как сходило-то!

И через нищую братию, и через голубей такое уважение было Кузьме Дмитричу, и нарочито приходили посмотреть на эту раздачу. И шла про него хвала, и все одобряли его. А он человек смысленный был и с покупателем обращаться умел — с кем пошутит, побалагурит, и выходило у него по-хорошему. И приказчиков к тому же приучал, и сыновей.

А сыновей у него было двое: Петька и Капитошка, и оба женатые, и оба ребяташек имели. И оба прохвостами были — рыжие, злые, все шипели, как змеи.

Только отец не давал им повадки, держал в узде: не по его сделали, пожалуйста на расправу.

— А ну-ка, говорит, окаянный дух, позвольте вас попросить на три с половиной минуты.

И приведет его в комнату. Позади лавки комната была: обедали там, чай пили. И постоянно самовар шумел на столе, собственно для Кузьмы Дмитрича, потому что жить он без чаю не мог.

И как приведет в комнату, сейчас со стены плеть снимет.

— Ну-ка, говорит, нагнись.

А тот и послушаться не подумает, нагнется, а Кузьма Дмитрич хлопысь его плетью, хлопысь. И раз пять вытянет вдоль спины. Вытянет и говорит:

— Запей чаем. — А тому хочешь-не хочешь, а пей.

Только эта наука не шла впрок сынкам — грубияны были, им бы человека оборвать, а нищих терпеть не могли, просто сказать, ненавидели. Такие уже черти уродились!

Ну, нам-то что до них? Нам главное Кузьма Дмитрич, от него благодеяние шло, его одного мы и признавали.

А тут слышим: Кузьма Дмитрич помер. Мы и верить не хотим.



— Вчера, говорим, был жив и ничем не болел, а нынче помер? Что же это такое?!

— А очень просто, говорят, запарился. Сняли с полка, а он хрипит. Повезли домой, а он дорогой помер.

Ну, видим, правда: лавки закрыты, торговли нет. И многие тогда жалели Кузьму Димитрича, а всех больше — наша нищая братия. Сиротами мы остались. А на сыновей не было надежи. Ну, все же думали: как-никак, а будет от наследников для нас обед, а ежели не обед, так выдача будет. Ну, на худой конец, по гривеннику на помин души.

И собрались мы к выносу тела. Думаем: «Пойдем проводим своего благодетеля на кладбище».

Только наследники так и зашипели:

— Не к чему, говорят, каравану всякой сволочи тащиться. От этой, говорят, рванины вонь да срамота.

И приказали Ивану Мартьянычу гнать нас в шею. Ну, тот не стал гнать, а только сказал:

— Вы уж, ребята, не ходите. В самом деле, говорит, неловко: тут и катафалк, и все такое, а вы целой оравой попретесь. А лучше, говорит, завтра утречком соберетесь на площади, и что вам будет определено, я с удовольствием выдам.

— Ну, что же, говорим, так и так.

И назавтра утром собрались мы, добрые молодцы, стоим и ждем милости от наследников, а голуби раньше нашего прилетели, расселись и тоже ждут. Ну, им, конечно, овсеца подай — больше ничего не требуется.

Ждали мы, ждали... нет нашего Ивана Мартьяныча. И так думаем: человек вчера замотался с похоронами, устал и теперь отдыхает. Только народ мы привычный, подождем еще. И стоим, ждем, а его все нет.

Смотрим — подходит городской. Подошел и говорит:

— Чего вы ждете? Не будет вам ничего, я, говорит, это хорошо знаю. Расходитесь, не подводите меня.

Ну, нешто наш брат послушает добрых слов? Подождем, мол, еще.

А городского злоба взяла.

— Что же, говорит, вы русского языка не понимаете, что ли? Расходитесь, так-рстак!

А мы стоим, перминаемся, думаем: вот-вот Иван Мартьяныч придет.

Городовой еще пуще озлился.

— Кому говорю?! кричит. Расходись! раз... Расходись! два... Расходись! три! — Да ка-ак развернется... ка-ак учешет в ухо кто поближе к нему стоял...

И давай катать кого в ухо, кого по шее, кого тычком в зубы.

Как дуне-ем мы, рабы Божий, кто куда попало. И всех он разогнал, и голуби поднялись и улетели.

Конечно, это рыжие псы виноваты были. Может, они и городского подкупили. После-то и посмеялись же мы!

— Ну, говорим, и помянули же Кузьму Димитрича!

Только этим чертям, наследникам, не повезло: заспорили между собой из-за наследства, давай судиться и торговлю закрыли. А Иван Мартьяныч взял расчет и свою лавку в Кудрине открыл.

И как мы узнали об этот, сейчас направились к нему. Думаем: как он много лет при Кузьме Димитриче жил и был его правой рукой, так, может, станет его обычая насчет нищей братии и голубей придерживаться? Вот приходим:

— Здравствуйте, говорим, Иван Мартьяныч! Помогай вам Бог торговать на собственном деле.

— Спасибо, говорит, ребята. Только какая у вас надобность до меня?

— Да вот, говорим, Иван Мартьяныч, как вы жили при нашем благодетеле Кузьме Димитриче и мы от вас кроме хорошего ничего не видели, так не будет ли от вас какой милости убогим людям?

А он говорит:

— Вот что, ребятки, я вам по чистой совести скажу: ежели, говорит, выдавать вам по копейке, обидетесь и осудите, а ежели, говорит, выдавать по три копейки, то я вылечу в трубу. А лучше, говорит, ничего не выдавать. Вы, говорит, у Молодцова глаза мне намозолили, а теперь хотите покоя лишить. Только, говорит, вы, пожалуйста, не приходите ко мне. А ежели станете приходиться, так я привяжу к бечевке гирю-фунтовик и буду вас угощать — кого по башке, кого по спине.

Ну, что поделаешь с таким человеком? Наворовал у Молодцова, открыл свое дело и возгордился. И не стали больше к нему ходить: шут, мол, с тобой, жри, нажирайся один...

## Дядя Михеев

*Биография Сергея Ивановича Калинина, насколько она мне известна, ничего особенного не представляет. Он маляр, из крестьян Московской губернии, полуграмотный, в Москве работает сорок лет, а работать начал девятнадцатилетним парнем. Встречался я с ним в 1922-23 годах почти каждый день в харчевне «Низок» на Арбатской площади. Как-то раз, когда за общим чайным столом зашел разговор о богатырях и вообще о сильных людях, Калинин рассказал о силаче-каменщике Егоре Михееве, который в драке на Девичьем поле один перебил 15 человек. Было же это лет 35 тому назад, когда в Москве «еще жила простота-матушка». Небезынтересны были и другие его рассказы, например, о нравах старой дореволюционной Москвы, о деревенских кликушах, ворожеях.*

Я тогда от подрядчика Юдина работал. А Юдин такой был — на всю Москву подрядами гремел. Ну, конечно, не один он, были и другие — вот Громов, например... Только я все больше работал от Юдина, привык к нему. Артель большую держал, человек тридцать-сорок будет. И был у него каменщик Михеев. Звать было Егором, а мы все называли дядей Михеевым.

Бородища по пояс, а сам такой приземистый, плотный, и все, бывало, трубку сосет. А сам тихий такой, только силищи в нем пропасть была. И вот какая его сила была: раз, смотрим, пхает наш дядя Михеев камни ногами. Как пхнет — камень так и катится. А камушки все «маленькие» — пудика на два, на три.

Мы и смотрим на него, «что же это такое?» — думаем. И Юдин тут стоит и смотрит. И окликает его:

— Дядя Михеев, а дядя Михеев!

А Михеев поднял голову и спрашивает:

— Ну, чего тебе?

— Да вот, — говорит Юдин, — смотрю на тебя и не пойму, что ты делаешь?

А Михеев ворчит под нос:

— Не видишь, говорит, что? Понавалили, говорит, тут камней, и повернуться негде. А нет чтобы поаккуратнее, чтобы слободнее работать было.

Юдин только головой покачал:

— Ну и чортов Еруслан Лазаревич, — говорит.

Да это что, камни! А вот как он на Девичьем поле разделявал, так это, действительно, всему народу на удивление.

А было в Троицын день. И собралось нас человек десять на Девичье поле, гулянье посмотреть. И дядя Михеев за нами увязался. Идет, трубку свою сосет. Вот идем, и по дороге зашли в трактир чайку выпить. Ну, как водится, перед чаем «брыкаловки» стукнули под музыку. А тогда в каждом трактире машины играли. Попили чайку и пошли немного навеселе. А Михеев ровно бы и рюмки одной не выпил. Идет, молчит, трубку сосет.

Вот приходим на Девичье поле, а там — карусели, в балаганах представление идет... Народу много. Ну, мы стали.

Стоим, смотрим. Вот видим — фабричные ли, мастеровые ли, человек тридцать. Народ все рослый, и заметно, ребята «дернули» хорошо: куражатся, народ задирают. Ну, сразу видно — у людей кулаки чешутся. А мы как стояли, так и стоим.

Вот один из наших, Алексей Кузьмич, и говорит:

— Смотрите, ребята, как бы не было нам бани.

— Ладно, говорим, сами задевать не станем, а налезут — молчать не будем.

Только все же берет нас опаска: их человек тридцать, а нас десять.

Вот они, эти ребята, подходят к нам, подходят... Подошли и давай над Михеевым смеяться:

— Ну, говорят, и борода! По такой бороде пора быть в воде, а ты все по земле ходишь.

А Михеев хоть бы что: сосет трубку, помалкивает. Ну, видят — не берет насмешка, вот один парень возьми и толкни его. Глянул на него Михеев, хоть бы слово сказал. Вот парень толкнул его в другой и третий раз. Тут Михеев вынул трубку изо рта и говорит:

— Я вижу, ребята, у вас кулаки чешутся, смотрите, как бы бока не зачесались. Ну, чего, говорит, вы пристали? Мы вас не трогаем, и вы нас не задирайте. Ступайте, говорит, себе с Богом.

Ну, они на дыбы:

— Какое, говорят, ты имеешь полное право с гулянья нас гнать? Что ты, говорят, откупил его, что ли, лохматый чорт?!

И тут этот самый толкало развернулся и — бац! его в ухо. А Михеев и не покачнулся, только говорит:

— Ну, ребята, хотел я с вами по-хорошему, а вам желательно по-дурному. Ну что ж, говорит, будь по-вашему.

— И после того обращается к народу: — Будете, говорит, свидетелями: зачин с ихней стороны был. — И говорит этому парню, который ударил его: — Бей, парень, во второй раз!

Парень разлетелся, как чесанет. Мы тут кинулись было заступаться, только Михеев говорит:

— Вы, ребята, не замайте. Как стояли, так и стойте, а я один справлюсь. — И опять говорит тому парню: — Бей, парень, в третий раз!

Парень с размаху и залепил ему в ухо. А Михеев ровно бы столб стоит. И вот, как ударил его парень в третий раз, он снял картуз, перекрестился и говорит:

— Ну, ребята, держись!

Как развернется, ка-ак стебанет этого налеталу, так тот кувыркком полетел и подняться не может. Как стебанет другого, закрутился тот волчком и тоже растянулся. Тут остальные ребята кинулись было на него, да он не подпустил их к себе: как двинет, двинет — летят они, равно бы капустные кочаны. Съездит кого по роже — вся рожа в крови... И перебил он их десятка полтора. Остальные видят — плохи шутки, задали лататы.

А народу вокруг собралось — пропасть, стоит да смеется.

А Михеев расходился — удержу нет. Прибежал городской, глянул:

— Да он, говорит, чорт, с одного маху укомплектует! — И принялся турчать в свисток.

Мы тут и давай тянуть Михеева.

— Идем, говорим, поскорее. Наломал валежнику и будет с тебя.

А он упирается:

— Дай, говорит, трубку разыщу. Я, говорит, трубку обронил.

— Да чорт, говорим, с ней, с трубкой!.. Идем поскорее! А тут околоточный прилетел и с ним городских человек пять.

— Это, говорит, еще что такое? Кто это, говорит, столько народу уложил?

А народ и указывает на Михеева.

— А вот, говорит, этот самый бородач...

Околоточный и напустился на Михеева:

— Ты это что же? — говорит. — К чему такое разбойство допускаешь?

А Михеев говорит:

— Я, ваше благородие, не начинал — они первые налетели, ну и получили, чего добивались.

Тут весь народ руку Михеева поддержал:

— Он, говорит, ваше благородие, один, а их тридцать, и они первые начали.

Тут и мы то же стали говорить.

Посмотрел околоточный на Михеева и головой покачал:

— Да тут, говорит, целое сражение было. Взятие, говорит, турецкой крепости Ардагана произошло. Только, говорит, так оставлять этого дела нельзя. Идемте, пристав разберет. — И приказывает городскому забрать тех, которых Михеев уложил: — Кто, говорит, не в силах идти, везите на извозчике.

Только видим — поднимаются эти парни один за другим. Как поднялись и давай Бог ноги, а народ вслед кричит:

— Лови! Держи! — кричит, свистит, а околоточный смеется:

— Отступление, говорит, турецкой армии.

Ну, а Михеева и всех нас повели в часть. Мы идем. Чего нам бояться? Не мы зачинали. Вот приходим. Околоточный и рассказывает про наше дело.

— Там, говорит, настоящее побоище было. Вот эта, говорит, борода один двадцать человек переколошматил. Он, говорит, из богатырей.

— Какой он богатырь? — говорит пристав. — Просто силач, а до богатыря ему далеко. Нет, говорит, в нем натуральности богатырской. — И после спрашивает: — Что вы за люди? Чем занимаетесь?

Мы объясняем, что, мол, от подрядчика Юдина работаем.

— А, — говорит. — Я знаю вашего хозяина. Тащите, говорит, его сюда, я с ним поговорю.

Ребята и посылают меня:

— Бери, говорят, Серега, извозчика и жарь за хозяином. Ну, я побежал, взял извозчика и поехал к Юдину, а он жил на Плющихе. Приезжаю и, на счастье, застал дома. Он только что встал — после обеда отдыхал, умылся и собирался чай пить.

— Ты, говорит, Серега, что? Видно, говорит, ребята пропились и за деньгами послали?

— Нет, говорю, Михаил Петрович. Тут, говорю, не деньги, а дядя Михеев турецкую армию расколошматил. — И рассказал про это Михеево удажество.

А хозяин только головой качает:

— Ну и бородач! — говорит. — И откуда только у него сила берется? Едем, говорит, Серега, выручать нашего Еруслана Лазаревича.

Вышли на улицу, взяли извозчика. Хозяин и говорит ему:

— Жарь поскорее, на чай получишь, а будешь «трюхи-трюхи» — засмолю тебе в ухо и ни копейки не дам.

Тоже и хозяин чудачок был, иной раз такую штуку отмочит — только руками разведешь. Только извозчик попался хороший, живо доставил.

Ну, приходим к приставу, в канцелярию его. А наши ребята в ряд выстроились стоять.

Вот хозяин подошел к приставу, за руку поздоровался. А пристав говорит:

— Как хочешь, Михаил Петрович, а я тобой недоволен. Ну, на что это, говорит, похоже: завел ты у себя богатырей, которые с одного маху семерых побиваху. — И смеется. — Ежели бы, говорит, такое дело в старину случилось, так быть бы твоему бородачу в крепости на цепи. Ну, да и теперь дело без протокола не обойдется.

А хозяин говорит:

— Зачем протокол? Можно и без протокола. — И сует приставу в руку четвертной билет.

Сунул пристав четвертуху в карман и говорит:

— Только ради тебя, Михаил Петрович, дело втуне оставляю. А все же, говорит, надо взять подписку с твоего бородача.

— Какую подписку? — спрашивает хозяин.

— А вот какую, — говорит пристав, — есть такой закон, который запрещает силачам драться кулаками, а в случае драки они должны бить ладонью.

Хозяин и говорит:

— Это я волне одобряю. Только, говорит, как же Михеев даст подписку? Он и аза в глаза не знает.

— Ну, — говорит пристав, — это не ваша печаль: у нас для этого печатные бланки заготовлены. — И взял он бланк, что-то написал, подает перо Михееву: — Ну, говорит, борода, ставь тут крестик и это будет твоя подпись.

А Михеев отродясь пера в руке не держал и как обращаться с ним, не знает. Как надавит, перо — трюк! и сломалось. Пристав и давай ругаться:

— Да ты, говорит, с ума сошел! Это ведь перо, а не лом железный, облом ты лошадиный! Тебе бы в лесу сосны да березы с корнем вырывать, а не крестики пером ставить.

А хозяин так и покатывается, и мы тоже смеемся. А пристав все Михеева гоняет:

— Ты, говорит, смотри у меня, бородач, не смей больше кулаком драться. Есть, говорит, ладонь, ладонью и дерись. Слышишь?

— Точно так, ваше благородие, слышу, — говорит Михеев, а сам оробел, руки трясутся.

— То-то, — говорит пристав. — Дал подписку, исполняй строго.

— И после того говорит хозяину: — Уводи, Михаил Петрович, свою гвардию, а то как бы она мою канцелярию не разнесла.

Ну, конечно, в шутку говорит, а хозяин смеется. Попрощался с приставом и говорит:

— Идемте, ребята, на улицу.

И как вышли на улицу, давай мы хохотать, а всех больше Михаил Петрович.

— Ну и дядя Михеев, говорит, отодрал ты штуку всем на удивление. А все же, говорит, ты молодец, что Юдина фирму поддержал. По-настоящему, говорит, про твое удалство надо бы в газетах опубликовать. А пристава, говорит, не бойся, он свой человек. Идем, говорит, ребята, в трактир, я угощаю!

И наугощались же мы тогда! Еле-еле домой доплелись.

И с той поры наш дядя Михеев шабаш драться. Он и раньше такой тихий был, а что на Девичьем поле, так это вывели его из терпения. Ну, а после того, как побывал у

пристава, совсем притишил. Только, бывало, как соберемся в трактире в праздник, да выпьем, он и начет рассматривать свои кулаки. Ну, мы сейчас и говорим:

— Дядя-я, смотри-и! Забыл Девичье поле? Забыл подписку?

— Да я, говорит, ребята, ничего... Я, говорит, так...

— Ладно, говорим, знаем мы твой «так», от него люди кувырком летят.

А он только ухмыляется.

И лет десять я его знавал, потом не стало что-то видать — должно, помер.

*Относительно «закона», по которому человеку, обладавшему необыкновенной физической силой, разрешалось драться только ладонью, рассказчик сделал такое разъяснение: когда кулачные бои еще не были запрещены в Москве и других городах, многие из силачей, принимая в них участие, нередко убивали насмерть бойцов. Так как после каждого боя оказывалось немало убитых, то правительство издало специальный закон, запрещавший силачам драться кулаками. Во исполнение этого закона полиция отбирала от силачей подписку, обязывающую их драться только ладонью, в случае же нарушения ими своего обязательства, они привлекались к уголовной ответственности. В старину же с силачами поступали много строже: их сажали в крепость на цепь, но только в тех случаях, когда они начинали «безобразничать», т. е. без нужды калечили и убивали людей, выдергивали фонарные столбы, оставливали на всем ходу кареты, схватив их за задние колеса, и т. д.*

## О падении дома Романовых

### Про Керенского

*Катерине Федоровне Сечиной было уже 70 лет, когда мне пришлось встретиться с ней. Добрая, наивная, она представляла собой теперь уже исчезнувший тип верной господской слуги старого времени.*

*Родилась она в Тульской губернии в семье крепостного крестьянина; сейчас же после «воли» вышла замуж. Муж оказался пьяница и вор и нередко бил ее смертным боем. На одном воровстве он попался с поличным; крестьяне добросовестно «поучили» его и вскоре после этого «учения» он зачах и помер.*

*Оставшись вдовой, Катерина Федоровна случайно попала в Москву, нанялась в барский дом господ Леоновых няней и прожила в нем почти всю жизнь, вынянчив и выпестовав целое поколение этой фамилии. В семье одного из этих Леоновых она доживала последние свои годы, вела домашнее хозяйство, мирила поссорившихся супругов и, по ее выражению, поскрипывала, как подгнившее дерево.*

*В первые дни Февральской революции она приплелась к прежней моей квартирной хозяйке, у которой кухаркой служила ее племянница. События революции сильно взволновали и напугали ее, и она, сидя на кухне за стаканом чая, рассказывала, охая и кряхтя, о том, что видела и слышала, что пережила в те тревожные дни, когда все вокруг кипело и бурлило, как бушующее море.*

*Множество слухов, легенд, часто самого нелепого свойства, вызванных революцией, ходило в низах и верхах московского населения, некоторые из них вошли в рассказ Катерины Федоровны. Они показались мне интересными, и тогда же, под живым впечатлением, я написал все, что услышал от нее, случайно находясь в кухне.*

*Биографические сведения о ней мне сообщила ее племянница.*

Ох... ох... дожила, нечего сказать! И никогда таких делов не было, а тут на-ко тебе на староста лет! И умереть спокойно не дадут... А все царица виновата. Она да еще

этот подлец Гришка Распутин: столкнулись оба Расею продать. Подкуп, вишь, был им от Вильгельма, чтобы ему Расею себе взять... Царица-то сродствие Вильгельму приходится, племянница, что ли... Ну, и согласилась... А Распутин примазался к ней. Да нешто такой проходимец не примажется? Он ведь на все руки, настоящий мазурик. И был промежду них такой уговор: царя прогнать... А как прогонишь? Ведь не собака. И вот будто надумала она порошков подсыпать ему — мышьяку этого, да побоялась: а ну как дознаются? Станут резать мертвое тело, станут вскрывать и допытаются: тут, мол, отравы... Вот и побоялась. И не знает, как быть. А этот жулик Гришка и придумал: раскопал где-то единорогов рог... будто зверь такой редкостный есть — единорог, и растет у него на голове один рог, вроде как у антихриста... Только у антихриста промежду глаз рог, а у зверя этого на самой маковке и будто острый как шило! Ну, Гришка и раздобыл этот самый рог и взял ножичком или напильником наскоблил этого рога в стакан с вином и подает эту препорцию царю. А царь выпил и погнало его после этого на вино. Он и раньше-то, сказывают, был очень охоч до винца, а тут запоем стал пить... И что ни день, то пьян и пьян... Лежит себе, а дела забросил. Да и какие уж у пьяного дела? Напьется и спит. А проснется, сейчас:

— Давайте мне этого составу! — ну, этой, Гришкиной пропорции. Вишь, понравилась она ему... А Гришка и рад: наскоблит побольше и подает...

И стал царь как бы не свой, настоящего, что требуется, не понимает. И никакого внимания, что война идет, нашего войска нивесть сколько побили и будто двадцать крепостей забрали... А он все пьет, распьянствовался, как мужик... Вот как подделал ему каторжная душа Распутин!

Ну, значит, пьет, и никакого порядка нет... Тут эта государская дума и говорит:

— Что же это такое, на самом деле?

И тут взяли да и убили Гришку. И будто Керенсков из ривольтия выпалил в висок...

Ну, не стало больше этого шеромыжника, достукался-таки, старый кобель... А тут и народ взбунтовался — ривольюция пришла... ну, это чтобы царя сместить, царя и царицу, потому, говорят, они Расею продавали и много рабочего народу погубили. И сопхнули их с престола, посадили в каземат, солдат приставили караулить, чтоб не убегли. Вот и сидят там...

А наш Гучков\*, сказывают, сел на этот... как его?.. ну, на ариплан этот... сел, и птицей взвился под небеса... Набрал бонбов и полетел, как коршун.

— Я, говорит, покажу вам, где раки зимуют.

Будто хочет с неба бонбы кидать, дворец царский хочет разрушить. А к чему? Чем дворец виноват? Да и народу безвинного сколько пропадет... Ведь она, бонба эта, не шутит: шарабахнет, и костей не соберешь... Вот тоща, в японскую войну, Сергея Александровича взорвали — и-и, что было-то!.. По кусочкам тело собирали, в гроб нечего было класть... Ну, этого поделом: не продавай морозовские одеяла. А то, ишь, польстился на что! Морозов раненым солдатикам одеяла пожертвовал, а он их продал. И где совесть у человека была? А еще великий князь!.. Ох, ох, видно, все одним миром мазаны — что князь, что мужик, всем хапанье любо...

Да уж и народ пошел такой — страху никакого нет. На-ко: старый человек, а полетел с бонбами. А ну, как, храни Бог, сорвется? Да тут вдребезги разлетится, одно мокрое место останется... Да уж видно на то пошел, отчаюга такой... Ох, ох... Страсти такие кругом...

---

\* Очевидно, что речь идет о бывшем члене Государственной Думы, потом члене Временного правительства в качестве военного министра, А. И. Гучкове. Он, конечно, не взвивался коршуном на «ариплане» с целью разрушить бомбами царский дворец, а вместе с другим членом Государственной Думы Шульгиным погнался вслед за поехавшим из Петрограда на фронт бывшим царем Николаем II-м и, нагнав его, потребовал от него отречения от престола. В низах Москвы был, собственно, известен брат его, Н. И. Гучков, бывший городской голова, и рассказчица, говоря «наш», т. е. московский, очевидно, имела в виду того, последнего.

Ну, не впервые это — и в японскую войну этакое было... Тогда шибче было: из пушек, из орудиев стреляли... Ну, тогда из-за этой крепости взбунтовался народ... как ее?.. Артур, что ли?.. Ну да, Порт-Артур, вот из-за нее: зачем, дескать, японцу отдали? Через измену и отдали, а народу обида, вот и взбунтовался... Только тогда не трогали царя, а теперь вот сопхнули: нам, говорят, не надо пьяницы. И взяли этого Керенскива...

Наши-то из-за него каждый день грызутся. Барыня говорит:

— Я за Керенскова стою.

А барин ругается:

— Мы, говорит, все кровью обольемся.

И грызутся, как собаки... Поврозь стали спать: барин в кабинете на диване, а барыня в спальне. И газеты тоже поврозь. Допрежь одну газету на двоих покупала, а теперь две покупаю. Барыня все гойдает, хвост треплет, а барин дома сидит. Раньше-то пообедаст и лба не перекрестит, сейчас за папироску, на икону и не взглянет, а сейчас сам лампадки зажигает:

— Тебе, говорит, трудно, Катеринушка, еще упадешь... Ну как не упасть? Сколько годов не падала, а тут «упадешь»... То-то вот... Ох, грехи наши, грехи... А надьсь батюшка в обедне говорит:

— Молитесь, говорит, теперь воссияние идет...

А что такое? Какое воссияние и к чему? Ничего не поймешь. Стала спрашивать барина — ругается:

— Продажная, говорит, шкура, — это про батюшку...

А за что — и в толк не возьмешь... И ни от кого не добьешься, все мечутся как угорелые, все кричат...

— Теперь, говорят, полная свобода: ругай царя, как хочешь, взыску никакого не будет.

А наш дворник говорит, будто телеграмма пришла: царя и царицу вешать. И такой оральник стал: что ни слово — все матерком, да матерком.

— Они, говорит, Расею немцам продали.

И будто к нам скоро Вильгельм будет. Сперва в Питер-град, потом к нам. И что будет, что будет?.. Неужели всех убивать станет? Да, думаю, не допустят...

Барыня говорит: Керенсков победит Вильгельма. А барин все ругает Керенскова. Ну, ругай-не ругай, а Керенсков с царского блюда ест. Конечно, какой он царь без короны? И нету на нем ни медалей, ни аполетов. Ну, а все же вроде бы как штатский царь. И повезло же человеку: без всякой заслуги, а поди-ка — и рукой не достанешь...

А царь с царицей сидят, и ни тебе курятины, бульеона, пирожков, а только черный хлеб да вода... А кто виноват? Сами и виноваты. Слыханное ли дело: Расею продать, а? Ну, тоже, ежели ты царь, к чему пьянствовать? Зачем дела забросил и этого мошенника Распутина разыскал, латрыгу этого, пьяницу? Ишь, товарища какого нашел!.. Не знаю, правда-нет ли: дворник сказывал, будто царица с Распутиным жила... Да не верится. А дворник Божится, что правда. И все через леденцовые конфеты: будто Гришка такой леденец выдумал... ну вот, чтобы женщин привораживать... И будто дал этого леденцу царице и приворожил. Да что думаешь? Ведь с него станет, он ведь, проклятый, на все руки горазд был. И откуда только принесло его, нечистого духа? Мужик, хам, а гляди, какой дошлый, и уродится же такой!.. Да уж, к тому и идет, к тому время приближается... Недаром же в Библии сказано: и станут летать птицы с железными носами. Ну-к, вот тебе эти арипланы и есть птицы с железными носами. И такое идет смятение, творится нивесь что — и ума не приложишь...

Прачка Дарья пришла и рассказывает такое — и подумать страшно... Говорит: в газетах напечатано, такая публикация была. Это про монаха из Симонова монастыря: отпороли его на Красной площади... ну, на этой... на Лобном месте... И за то ему наказание такое вышло, что Библию и ризу порвал. Будто читал-читал — и пошел



городить всякое неподобие. И в Библии того нет, чего он нагородил... И после того давай Библию рвать. На мелкие кусочки изорвал, а потом и ризу порвал. Ну, его сейчас схватили и написали про его дела Керенскову. А Керенсков прислал телеграмму: дать, говорит, пятьдесят розог. Вот и отпороти. Народу собралось — тьма тьмущая... Стала просить барина, чтобы он прочитал мне про это самое, а он ругатся:

— Хоть бы, говорит, мне сквозь землю провалиться...

А я при чем? Не рви Библию, не рви ризу... Нетто они для того, чтобы рвать их?.. Хм... «Провалиться»... Время придет, все провалимся — без времени ничего не бывает... Ох, ох, зажилась, старая дура, на свете, зажилась. И когда-то Господь приберет? Ох, ох, нагрешила, нагрешила, как ответ буду давать?.. И такое идет кругом... Вот в лавочке приказчик сказывал, будто у Распутина на пятьдесят тыщ нашли золотых колец, браслетов, серег, да еще деньгами тридцать тыщ. Вот ведь какой подлец: царя спаивал, царицу приворожил и потягивал из них... вот какой жулик! И еще про царских дочерей и наследника сказывал приказчик. Их, говорит, до распределения оставили. А какое это распределение — не знает. И что только делается, что делается на свете?..

*Большая часть известных мне легенд о падении дома Романовых и особенно легенды более позднего происхождения (1924-1927 гг.) обвиняют бывшую царицу Александру Федоровну в государственной измене, в тайных сношениях с бывшим германским императором Вильгельмом, причем почти всегда подчеркивают ее родственное отношение к нему. Некоторые же легенды, кроме того, говорят и о ее ненависти к России и ко всему русскому. О злых умыслах Александры Федоровны против бывшего царя Николая II-го рассказывают, кроме приведенной легенды, и другие, но о том, что Распутин с ее ведома и одобрения спаивал его напитком из смеси вина и опилок рога «единорога» говорит только упомянутая легенда, по крайней мере, аналогичных легенд мне не приходилось встречать.*

*Одна легенда сообщает о лечении Распутиным бывшего наследника престола от кровотечения «роговыми каплями», но не объясняет, из чьего рога были приготовлены эти капли. Очевидно, что в обоих случаях речь идет о так называемых пантах — молодых (весенних) рогах сибирского оленя марала, из которых китайцы приготавливают возбуждающее средство. По-видимому, легенды намекают на «тибетскую медицину» «доктора» Бадмаева, который, как известно, лечил бывшего наследника и находился с Распутиным в дружеских отношениях.*

*Все известные мне легенды, рассказывая о Николае II-ом, называют его уже готовым пьяницей и отмечают, что приход Распутина в Царский дворец лишь усиливает его пьянство.*

*Об А. Ф. Керенском, как об одном из видных действующих лиц Февральской революции, поразительно мало легенд. Приведенная легенда, в которой он является, хотя и с оговоркой («будто») убийцей Распутина и затем «вроде бы как штатским царем», единственная в этом роде. В остальных легендах, где только говорится о нем, ему отводятся второстепенные и третьестепенные роли, а некоторые легенды упоминают о нем лишь вскользь. Правда, во времена существования Временного правительства о нем ходило много легенд: в одних он превозносился чуть не до небес, в других ниспровергался в грязь, но эти легенды, создававшиеся его политическими друзьями или врагами, не имеют ничего общего с народным творчеством.*

*О сожителстве Распутина с Александрой Федоровне говорится во многих легендах, но большею частью неуверенно, с оговорками: «будто», «говорят» и, как в приведенной легенде: «правда ли, нет ли», а о том, что Распутин «добился» этого сожителства посредством изготовлявшихся им снадобий, сообщается еще в одной легенде, которая приводится дальше.*

## Матрешкино предсказание

*Летом текущего (1927) года мне пришлось в течение месяца подготавливать в семье одного ремесленника мальчика для поступления в школу. В вознаграждение за свой труд я получал обед и чай. Старшая замужняя сестра ученика оказалась хорошей песельницей, и за чаем, который нередко затягивался на час, на два, я записывал от нее песни.*

*Наш чай довольно часто разделяла соседка ремесленника, Марья Сергеевна Трубицына, женщина лет пятидесяти. Родина ее — Тамбов, а отец — отставной солдат, по ее словам, горький пьяница, но очень добрый человек. После смерти отца Марья Сергеевна двенадцатилетней девочкой пошла в люди — зарабатывать хлеб. Сперва нянчила ребят в семьях мастеровых, потом, когда подросла, стала горничной у чиновников, потом была прачкой, кухаркой.*

*Теперь она замужем за ремесленником, занимается домашним хозяйством.*

*Собеседница она хорошая. От нее я записал, легенду о том, как бывшему царю Николаю II-му было предсказано несчастное царствование, кончившееся падением дома Романовых.*

Ему никто добра не сулил, а только горькую жизнь. По первому разу, когда он еще наследником был, родная мать говорила ему:

— Уступи, говорит, престол брату Михаилу, не то сам пропадешь и весь царский дом погубишь.

Сама-то она этого не знала, а ей отшельник один на Старом Афоне открыл — в горах спасался, и был он прозорливец. И ездила она к нему тайком, нарочито, чтобы насчет Николая узнать, какая его жизнь будет — благополучная или несчастная. А отшельник и говорить не стал много, только и сказал:

— Сам в яму упадет и вас всех за собою потащит.

Вот от кого это стало известно, а ей-то самой где знать? Не пророчица же была, в сам-деле!

Вот она и думала — ежели он откажется от престола, несчастья не будет с царским домом. Ну, он послушался было ее, да отец запретил.

— Ты, говорит, это выкинь из головы, не то проклятие тебе будет от меня. — И царицу тоже пробрал: — Ты, говорит, не в свое дело не встревай. Я, говорит, знаю, кому быть наследником, кому не быть.

Нравный был: что сказал, то и быть по его, а ежели ослушался кто, он уж колышет. Сурьезный был, да и выпивал. Шибко, говорят, пил и умер от водки, она-то и съела его.

Ну, как он сделал этот запрет Николаю, тот и присмирел, не стал отказываться от престола. А сам материны слова в уме держал. И как отец умер и взошел он на престол, сейчас за Иваном Кронштадтским послал. Вот приходит Иван Кронштадтский, а он ему говорит:

— Как на ваше мнение: благополучно будет мое царство или неблагополучно?

А Иван Кронштадтский был человек такой: глянет кому в глаза и уж знает, какая его судьба будет. И вот как задал Николай ему вопрос, он сразу не ответил, а жметя: обмануть не хочет, а правду боязно сказать... А Николай говорит:

— Вы, отец Иван Кронштадтский, не скрывайте правду. Ничего плохого вам от меня не будет за это.

Иван и сказал:

— Ваше царство — одно кроволитие.

А Николай поверил-не поверил, неизвестно, а только сказал:

— Это мы увидим.

И как ушел Иван Кронштадтский, приказал не допускать его во дворец. Не понравились, конечно, Ивановы слова, заскребли мало-мало за сердце...

А только царствует себе благополучно — ничего плохого нет и никакого кроволития не происходит. Не происходит и не происходит... А тут коронация... И как она была, на Ходынке на гуляньи тысячи народу повалило. Он из Кремля едет на Ходынку народу показаться, а навстречу везут задавленных — все в крови, где рука мотается, где голова...

— Это что такое? — спрашивает. — Это откуда?

А ему говорят:

— На Ходынке народ подавили.

Он сейчас назад в Кремль. Сейчас стал дознаваться, отчего это случилось и кто этому виноват? А кто же тут был виноват, кроме родного дядюшки, Сергея Александровича? Ему Власовский, обер-полицмейстер, еще за две недели говорил:

— Надо больше войска для порядка.

А он такая гордыня был: чтобы он кого-нибудь послушался? Никогда такого дела не было. Умней себя никого не признавал.

— У меня, говорит, и без войска порядок будет.

Ну, «будет» — пусть будет. С царским дядей не поспоришь! А «порядок» этот — на Ваганьково кладбище три дня возили с Ходынки тела, фур по ста за раз... Вот какой его «порядок». А во всем виноватым поставил Власовского. И дал царь увольнение Власовскому — вон со службы... Ну, и Сергею Александровичу не прошла даром Ходынка: в японскую войну припомнили.

Тут — одеяльное дело, с него и почин пошел. Тоща Савва Морозов три тысячи одеял пожертвовал раненым солдатам, а Сергей Александрович эти одеяла на Сухаревке продал. Понятно, не сам продал, а были у него такие сударики.

Вот Морозов слышит: толкуют, будто его одеяла на Сухаревке продаются, а ему не верится. Вот он взял и пошел посмотреть: правда ли это? Вот приходит, смотрит — и верно: которые он одеяла пожертвовал — идут в продажу.

И тогда эта самая история не только по Москве — по всей России известна стала. Ну вот и припомнили тогда ему и Ходынку. Тут одеяла, а тут еще Ходынка на прибавку пошла — одно к одному.

— Ему, говорят, нейдет. Опять за старое взялся!

И бросили в него бомбу. И разорвало его, всего разнесло: где рука, где нога... Голову два дня искали, насилу нашли — на крышу забросило...

Вот какое убожество ему сделали! Он думал: «Я — царский дядя!..» А тут нашлись такие — не посмотрели на это.

Ну, и Николаю тоже с Ходынки пошло... То все ничего, все благополучно, а то, как кончилась коронация, стало все хуже и хуже — нескладица такая пошла. Ну, хоть и не настоящая революция, а все же было кроволитие большое... И после этой первой революции все стали говорить:

— Добром не кончится.

А как стали мы воевать с немцами, народ прямо говорил:

— Не одолеть нам Германию ни за что. Ежели, говорит, Японию не одолели, где уж с Германией справиться?

Ну, так и было. Какая война, ежели измена на измене? В японскую войну русскую кровь за золото продавали, а тут еще больше продавали. Солдаты и отказались воевать.

— Мы, говорят, бьемся, кровь проливаем, а нас продают. Какая же это война?

И верно, что продавали... Все в один голос говорили: «измена». Измена, и никакого порядка не было. Николай какой стал? Не он царь, а Распутин да царица. Вдвоем

они всем распоряжались и на сторону Германии играли. А Николай совсем пропавший стал, и ни к чему у него охоты не было, только пил и пил... Вот говорят, будто ему было сделано, что он пил. А какое «сделано»? По отцу пошел: отец пил, а он еще больше. Он пьет и пьет, а этот бродяга Распутин да царица мухлюют вдвоем. И все знали про это... И не стало терпения, убили Распутина.

Его убили — взялись за царя, и было ему свержение с престола. И как он остался без престола, без царства, тут и говорит генералам, которые при нем были:

— Как бы, говорит, дело по-матрешкиному не вышло. А эта Матрешка была баба-карлик, и звать ее было по-настоящему не Матрешка, а иначе, а Матрешкой прозвали вроде как бы в насмешку... Это вот есть куклы такие деревянные, маленькие, красками разрисованы, расписаны. И как этакую куколку не повали, она все встанет как следует... И дали ей прозвище «Матрешка».

Вот и эту бабу... да и не баба она была, а девка старая... И была она юродивка — будто дурочка, а знала такое, что иному и во веки вечные не знать. Ну вот, и ее тоже прозвали Матрешкой, а как ее заправдошнее имя было — никто не знал.

И от этой самой Матрешки был Николаю подарок, такой подарок, что и на всем белом свете никому такого подарка еще не было. Это когда Николай с царицей приезжал на открытие мощей Серафима Саровского. И вот тут Матрешка поднесла ему платок весь в крови, а царице — холстину длинную и узкую, вроде такой, на которой гроб с покойником несут хоронить. И тут все смотрят: что же это такое? К чему это такое? А Николай и не знает, что ему делать с платком. Держит его в руке и на Матрешку смотрит. А Матрешка говорит:

— Принимайте и разумейте.

Вот Николай видит — платок весь в крови, взял, да и бросил его, и царица тоже бросила холстину. А Матрешка засмеялась и говорит:

— Бросайте, не бросайте, а оба изойдете кровью.

Ну, ее сейчас сцапали, заарестовали. И что ей сделали, какое наказание было — неизвестно. Одни говорили, будто в Сибирь ее сослали, другие — будто повесили. Ну, может, и не повесили, а только сгинула она, запропастилась куда-то...

И вот про эту Матрешку тогда и говорил Николай.

Вот когда она ему припомнилась: когда без престола остался, тогда и на ум пришла Матрешка и ее слова припомнились! И не зря припомнились: как она говорила, так и исполнилось, был и Николаю, и царице смертный конец от пули, оба изошли кровью. И дети, вся семья попала под расстрел, облились кровью все.

*Легенд, рассказывающих о предсказаниях Николаю Второму и его матери несчастливо-го царствования, падения дома Романовых и его трагической смерти, довольно много. Исходят эти предсказания от видных духовных лиц, священников, вроде Ивана Кронштадтского, монахов-отшельников, известных своей строгою жизнью, юродивых, цыганок-гадалок. В одной легенде предсказателем является даже «немец-философ», «вроде нашего Льва Толстого». Этого предсказателя к Николаю приводит бывший германский император Вильгельм в то время, когда тот, будучи наследником, посещает Германию. Предсказывает Николаю войны и революции и сам Л. Н. Толстой; предсказывает и родная мать не только на основании предсказаний, сделанных ей отшельниками и другими лицами, но на основании и личных наблюдений над жизнью Николая в первые годы его царствования. Так, например, во время Ходынской катастрофы она говорит ему: «Кровью началось, кровью и кончится». Это предсказание служит причиной разлада между Николаем и матерью: после коронации она нарочно редко встречается с ним и потом навсегда уезжает за границу.*

*Предсказания в одних легендах излагаются аллегорически, в других — вещи называются их собственными именами.*

*Не всегда проходят безнаказано предсказателям их предсказания: их или схватывают, вешают, или же убивают на месте, и всегда орудием убийства является револьвер.*

*Легенда о продаже великим князем Сергеем Александровичем одеял, пожертвованных фабрикантом Саввой Морозовым в японскую войну в пользу раненых солдат, весьма распространена: мне приходилось слышать ее во Владикавказе, Пятигорске, Кисловодске, Нальчике, на Дону, не говоря уже о Москве, где она известна в нескольких вариантах, распространена она и в Иркутской губернии, где записал ее профессор-этнограф Азадовский.*

*Убийство Сергея Александровича не всегда является актом наказания его революционерами за Ходынку и продажу «морозовских одеял», иногда, хотя и очень редко, оно объясняется политическими причинами.*

*Каляев, от руки которого пал Сергей Александрович, ни в одной из известных мне легенд не упоминается.*

## Граф Шереметьев и Гришка Распутин

*Этот человек — стекольник по профессии (Андрей Иванович Куликов), родом из Твери, называл себя «стариком 68 лет», тогда как на самом деле ему едва ли было 50. В его русой козлиной бородке, в таких же подстриженных в скобку волосах на голове не виднелось ни одной сединки, лоб был чистый, без морщин, и вообще все лицо очень молоджавое, да и слишком бодр и подвижен он был для шестидесяти восьми лет.*

*Всех своих знакомых, которым перевалило далеко за 50 и которые при случае жаловались, что их «лета уже ушли», он называл «молодыми старичками» и ставил себя им в пример.*

*— Мне, говорил он, 68 бацнуло, а я еще не согнулся и ни одного гнилого зуба нет у меня. Половинку стукну и ни в одном глазе, только и всего, что на еду погонит.*

*«Шестидесяти восьми годам» я не верил, остальное все правда. Я видел, как он «стучал» «половинку»: ударом доньшка посудинки о ладонь выбивал пробку, запрокидывал голову, брал горлышко в рот... буль-буль-буль... маленькая передышка, потом опять — буль-буль-буль... и посудинка пуста.*

*Видел и то, как его «гнало на еду»: быстро работая действительно белыми крепкими зубами, он убирал фунта полтора говяжьего студню и столько же ржаного хлеба. «Половинка» шла ему, как он говорил, на пользу: от нее он не раскисал, как плохие питухи, только глаза у него поблескивали да щеки разрумьнялись.*

*Однако позволял он ее себе только раз в неделю, по субботам, пошабашив с делами. Похмелья он не знал, значит и пьяницей не был.*

*Покончив с едой, он принимался за чай, пил «с прохвала», потихоньку-полегоньку, и тут уж давал волю языку: говорил много, только слушай, а главное — не перебивай, чего он терпеть не мог. Говорил он не попусту, а всегда что-нибудь интересное и нередко ссылаясь на «верного человека», от которого слышал рассказываемое, а тот, в свою очередь, все это видел «собственными глазами», следовательно, «врать ему не из чего было».*

*Зря он не сквернословил, но иногда в рассказе, вероятно, для усиления впечатления, пользовался очень нескромными поговорками, пословицами, сравнениями и произносил их с экспрессией, отчего они выходили особо сочными.*

*Многие из трактирной публики употребляют в разговора разные иностранные словечки и почти всегда в исковерканном, изуродованном виде и в особом, своем собственном, толковании их. Например, вместо «юриспруденция» говорят «уруспруденция» и понимают это слово в смысле грязного, скандального дела, или вместо «комбинации» — «канбиция», в смысле обоюдной потасовки. ...*

*Андрей Иванович тоже не был застрахован от употребления в разговоре словечек, вроде приведенных, но он пользовался ими с оглядкой: если знал, что его собеседник понимает в них толк, то скажет и посмотрит на него: не бороздит ли от смешка у того губы? Если бороздит, он и глазом не моргнет, а дня через два спросит с невинным видом у того же собеседника:*

*— Что это за чертовинка такая: надьсь прочитал в газете, а что такое, к чему ее приспособить — не знаю. — И скажет позавчерашнее словечко.*

*От него я записал легенду о том, как бывший царь Николай II-й «компанействовал» с Распутиным и как «заслуженный генерал» граф Шереметьев сказал ему правду в глаза.*

Про этого Гришку Распутина я от верного человека слыхал — от матроса знакомого. Раньше он во флоте служил, потом перевели его во дворец, в царскую охрану. И вот тут-то он увидел, какое это царское житье бывает.

— Это, говорит, как ваш брат, ничего не выдавши, думает: тут особенное что-то! А вещь, говорит, простая: у нас грязь, а там еще пуще. Только, говорит, у нас открыто, а там под прикрытием, вот в чем суть!

Я, говорит, на часах супротив самого царского кабинета стоял и насмотрелся всего вдоволь. И этого, говорит, чертяку лохматого, Гришку Распутина, там видел: я еще, говорит, ему, подлецу, царскую честь отдавал: «на краул» винтовку брал. А что, говорит, поделаешь? Приказано было отдавать и отдавал, ничего, говорит, не попишешь — дисциплина!

А из себя, говорит, Гришка простой мужик был, настоящий мужлан, и уж старый, седой. Ну, какой, говорит, ни старый, а здоровило порядочный был. А физиономия его, говорит, доказывает, что был он из подлецов...

А это, говорит, каким манером он во дворец попал — дело темное. Тут и так, и так объясняют: будто наследника лечил, будто еще что-то... Не знаю, говорит, этого дела, а зря говорить не буду, не люблю.

Одно, говорит, могу сказать, насчет жалованья: положено ему было тыщу пятьсот в год на всем готовом. А с царем, говорит, он был запанибрата: вместе с ним ел, вместе пил.

Я, говорит, на часах стою, а ихнее компанейство хорошо вижу: сидят рядком и пьют. Не нашу, говорит, водку пьют, а хорошее винцо попивают. А Николай в то время в большой слабости находился, короче сказать, очень пил. А Распутина, говорит, это на руку, это ему — подай Господи, потому что сам из пьяниц пьяница был. И доходил он, говорит, до полной бессовестности: нажрется, бывало, и прямо в сапогах лезет на царскую постель. Завалится и дрыхнет, храп на весь кабинет подымет... А Николай ничего, хоть бы слово ему сказал.

А раз, говорит, такая вещь: стою формально на часах, а эти друзья-компаньоны спят. Напились и спят — Николай, говорит, на постели спит, под прикрытием одеяла, а Гришка — на акушетке: как был в сапогах, так и бухнулся. И расхрапелся, говорит, он, как какой-нибудь шарлатан; не только что в кабинете, а и по коридору всему слышно.

Вот, говорит, храпел-храпел, продрал глаза, поднялся и сел на эту же самую акушетку... Вот, говорит, посидел-посидел, позевал и после того облапил бутылку и давай тянуть прямо из горлышка... Тянул, говорит, тянул, всю высосал! Ухватил кусок курятины и давай жрать, да, видно, говорит, невкусна показалась ему курятина на акушетке: пошел и сел к Николаю на постель.

Сидит, говорит, жрет, чавкает, как свинья. А башка, говорит, вся всклокочена, волосища дыбом поднялись — ни дать, ни взять, говорит, Иуда-христопродавец! Ему бы, говорит, еще кошелек с деньгами в левую руку и хоть потрет снимай: точь-точь Иуда в аду!..

Дело, говорит, прошлое: мне и Николай, и весь царский дом был так же нужен, как свинье бинокль или, скажем, подзорная труба, а только, говорит, взяла меня досада: до какой низкой степени опустился Николай! Главное, говорит, дело: тут война идет, наших бьют, а ему, говорит, хоть бы что! На фронте, говорит, русскую кровь проливают, а он с Распутиным дорогое вино попивает! И смотрю, говорит, я на Распутину и думаю себе: «Эх, плачет по тебе, жулику, пуля из казенной винтовки».

В большом, говорит, я тогда раздражении находился. Да нетто, говорит, я один досадовал? И генералы, и князья... да мало ли еще кто? Только, говорит, какая же ихняя досада? Шушукуются, говорит, по темным уголкам да шиш в кармане показывают, а перед Гришкой, говорит, юлят, лебезят:

— Он, говорят, умный, даром что из мужиков.

Нет, говорит, видно Россия-то Россией, а своя рубашка ближе к телу. Досада-то ихняя, говорит, — пар один.

Ну, однако ж, нашелся человек, не побоялся сказать правду царю в глаза. А этот человек был граф Шереметьев, генерал. Он-то, говорит, не стал называть Гришку «умным»... Тут, говорит, такое произошло, что только ахнешь... Да при мне, говорит, и дело-то все разыгралось.

Я, говорит, тогда как раз на часах стоял и все отлично знаю, с чего началось и чем кончилось. Дверь, говорит, стеклянная, мне все и видно, и слышно. И этого, говорит, Шереметьева хорошо рассмотрел: старый, борода большая, седая, орденами вся грудь увешана. И видел, говорит, я, как он в царский кабинет вошел, как с царем поздоровался.

А Распутин, говорит, тут же в кабинете находился. И не так чтобы очень пьян, а все же долбанувши был. И развалился он на акушетке, и лежит, как боров. Не без того, что нарочито он это сделал, чтобы Шереметьева уколоть: дескать, хоть ты и генерал в орденах, а я мужик, и при всем том нет тебе от меня почета, и ничего ты мне сделать за то не можешь. Ну, конечно, знал свою силу: царя не боялся, станет ли Шереметьева бояться? Только налетела коса на камень.

Вот, говорит, как дело было: как Шереметьев вошел в кабинет, сейчас с царем поздоровался. А Гришка как лежал, так и лежит. Вот Шереметьев раз посмотрел на него, а Гришка лежит-полеживает. Вот Шереметьев и во второй раз посмотрел, а тот, говорит, на прежнем положении: свинья свиньей лежит... Вот и в третий раз посмотрел Шереметьев. А Гришке это без всякого внимания, хоть двадцать раз смотри: вот, мол, лежал и буду лежать, и дела тебе до этого нет. Тут Шереметьев ка-ак крикнет:

— Встать! Руки по швам! Ах ты, говорит, скотина! Царь, говорит, стоит, я стою, а ты развалился и лежишь?!.. Встать!

Тут Гришка как вскочит, вытянулся, дрожит, и руки по швам. А я, говорит матрос, смотрю на него и такой-то смех меня разбирает: вот-вот, говорит, засмеюсь! Да уж насили-то, насили удержался. Сам, говорит, понимаю: засмеялся, ну и провал. С нас, говорит, строго взыскивалось.

Ну, говорит, стоит этот Гришка, и такой-то дрожемент его прохватывает, будто лихорадка его захватила. Только, Говорит, вижу — нахмурился Николай и как напустится на Шереметьева:

— Какое, говорит, имеешь ты полное право распоряжаться в моем дворце?! Вас, говорит, человек не трогал, а вы его ругаете-порочите... А потому, говорит, забудьте дорогу в мой дворец! — И аж весь потемнел от злости...

Вот как, говорит, он дорожил Распутиным. А я, говорит, стою себе, настаиваю, будто и не слышу ничего, а сам, говорит, слушаю и на ус наматываю. И думаю себе: беспрерывно после этих царских слов Шереметьев уйдет. А только, говорит, он не ушел.

Вижу, говорит, возгорается дельце немаловажное. Царь, говорит, нахмурился, а Шереметьев того больше.

— А, говорит, вы заслуженного человека на пьяного подлеца меняете?! Ну так, говорит, и оставайтесь с пьяным подлецом, а мне здесь делать нечего. Я, говорит, забуду дорогу в дворец, и другие тоже забудут.

Слушаю, говорит, я и ушам своим не верю. И думаю, говорит, себе: сейчас Николай взбеленится и прикажет взять Шереметьева под арест. Только, говорит, нет: ни слова, ни полслова не сказал он ему. Стоит, говорит, молчит, голову повесил. И Распутин, говорит, стоит, дрожит. Как оплеванные, говорит, оба стоят... А Шереметьев, говорит, повернулся и пошел. А тут, говорит, и смена моя пришла...

А только, говорит, я после-то молчал, потому что с какой стати стал бы накликать на себя беду? У нас, говорит, было очень строго, не дозволялось зря рта разевать, а что знаешь, знай про себя. А тут вскорости меня, говорит, опять потребовали во флот. И без меня, говорит, Распутина ухлопали, и без меня революция пошла, и Николай с престола слетел. А как, говорит, было дело, не знаю. Слышать, говорит, слышал от людей, да только, говорит, у меня такая нация\*: что собственными глазами видел, про то и говорю, а чего не видел врать не стану. И про то, говорит, ничего не знаю, рассказал ли Шереметьев, как с царем он порезонился, или же смолчал. Да только вряд ли смолчал: такое важное дело, и будет молчать?.. А там — не знаю. Чего, говорит, о не знаю, про то и говорить не стану.

Да и верно, к чему врать? А то ведь мало ли ветрогонов? Иной-то путем не слышал настоящего, а не то чтобы самому видеть, а как примется... уж он тарахтит-тарахтит... такую-то аримурию заведет — не слушал бы... А скажи — не хорош станешь. Сейчас на дыбы и давай тебя ругать... Мало ли таких? Шатаются, только тень наводят. А матрос — человек правильный: что знал, про то и рассказал.

*Относительно упомянутого в легенде слова «аримурия» могу сказать следующее: впервые я услышал это слово в конце 90-х годов во Владикавказе, где оно было весьма распространено среди низов населения и означало хитро сплетенную, в форме рассказа, выдумку, цель которой — обман, одурачение того, кому она рассказывается.*

*От низов аримурия перешла к туземцам окрестных аулов, к осетинам, ингушам, а также к казакам и немцам ближайшей к городу колонии и нередкость было слышать на базаре, как, например, ингуш, продавец домашней птицы, говорил на ломаном русском языке покупательнице-барыне:*

— Зачем твоя много гыр-гыр? Ей-бох-один-бох, ундушка хороший. Моя правда скажит, моя аримур нет (т. е. «зачем ты много попусту говоришь? Ей-Богу, индюшка хороша, я говорю правду, обмана у меня нет»).

*Привожу другой, не менее, если не более характерный пример, иллюстрирующий отношение обывателя к этому слову.*

*В том же Владикавказе, в мировом суде, разбиралось дело по обвинению отставного бомбардира Обросимова в публичном оскорблении словами колониста Крафта.*

*Оскорбление это, согласно жалобе, заключалось в следующих словах, сказанных Обросимовым Крафту при встрече на улице:*

— Эй ты, забулдыга, тундер ветер (т. е. доннер ветер), [1] расподлая твоя душа, анчирист и аримурищик поганый!..

*Вся тяжесть оскорбления была в двух последних словах, которые, по объяснению жалобщика и вызванным им на суд свидетелей, означали «мошенник», «плут».*

*Да и сам ответчик, кстати сказать, благообразный, убеленный сединами старец в суконной поддевке синего сукна, с двумя бронзовыми медалями на груди, не отрицал того, что под словами «аримурищик поганый» он подразумевал именно мошенника, каким и на самом*

\* Т. е. привычка.



деле считает Крафта, так как тот «взял у него в починку бочонок для солки огурцов, чинит его вот уже два года и 8 месяцев и никак починить не может: так поступают только мошенники».

Судья признал обвинение доказанным и приговорил Обросимова к штрафу в три рубля.

Вначале я был склонен думать, что аримурия — слово чисто местное, владикавказского происхождения, но потом, позже, встречал его и в других местах, но уже в ином произношении и ином значении.

Так, в Ростове-на-Дону, на хлебной пристани, среди грузчиков-крючников, оно выговаривалось (1900 г.) «армурия», и значило очень нескладный и долгий рассказ, безразлично — чего бы он ни касался. («Завел ты свою дурацкую армурию, и конца не видать») В Ставрополе-Кавказском, среди обитателей Ташлы, Воробьевки и других городских окраин, «аримурия» превратилась (1901 г.) в «агримурию» — в гнусную ядовитую сплетню («Мало ли ходит по городу агримурий? Все не переслушаешь»). В Сочи она становится (1901 г.) «каримурией» — порнографическим рассказом («Такую-то каримурию понес, что аж уши вянут»). А в Кисловодске (1906-1907 гг.) среди бывших слобожан — «кадримурией», судебной волокитой («Эх, затеял эту кадримурию на свою голову!»).

В Москве аримурия стала известна сравнительно недавно — года четыре тому назад, по крайней мере, в течение этого времени я стал встречать ее в разговорах низов, но не скажу — часто. По-видимому, она еще не успела вполне привиться к ним. Выговаривается она по-владикавказски, а значение ее то же, что в Ростове-на-Дону: нескладный пустой рассказ.

Но аримурию не надо смешивать с другим московским, похожим на нее, словом — «охмурией», означающим целый ряд преступных деяний, под рубрику которых подходят: мошенничество, шулерничество, сводничество, жульничество, взяточничество, вымогательство. Происходящее от охмурии, очень популярное в московских низах слово «охмурыло» означает человека без совести и чести, способного на любое из перечисленных деяний и вообще на всякую гнусность...

## Как Распутина убили

В 1923-1924 гг. мне пришлось встречаться в харчевне «Низок» с одним из ее завсегдатаев, носившим довольно странную кличку «Чертопхая». Этот человек, лет сорока пяти, белокурый, одетый оборванцем, можно сказать, ничем особенным не выделялся из общей массы посетителей харчевни, и я, быть может, так бы и не обратил на него внимания, если бы не одно обстоятельство. А обстоятельство было вот какое.

Как-то в один из зимних вечеров во второй комнате харчевни, куда обыкновенно собирались все те, кому было очень холодно и голодно и которые просиживали за чаем часа по три, стекольщик Семен Андреич рассказывал о том, как его замужнюю сестру-кликушу вылечил старик-знахарь: не давал ей пить ни отвара из трав, ни нашептанной воды, положил ей руку на голову да посмотрел в глаза, и болезни как не бывало.

Рассказ произвел впечатление: заговорили о кликушах, о колдунах, колдуньях, которые «напускают порчу» на женщин. Но нашелся один скептик, Пашка-маяр, еще довольно молодой человек, который заметил, хотя и не совсем уверенно, что «колдунов, гляди, никогда на свете не бывало, все это выдумки».

Чертопхай, дымивший в уголке ыгаркой, горячо заступился за колдунов и рассказал интересный в бытовом отношении случай, как один колдун испортил молодую, только что вышедшую замуж женщину, и как ему за это мужики всем миром «отмяли» бока кулаками.

В тот же вечер я познакомился с Чертопхаем. Потом мы с ним нередко пили чай вместе, и тогда я узнал, что он вовсе не Чертопхай, а Гаврила Семеныч Охотнов, родом из

Костромской губернии, Чертопхаем же его прозвал один торговец на Сухаревке. У Гаврилы Семеныча тогда была ручная тележка, на которой он перевозил небольшие тяжести, чем и кормился. Чтобы привести тележку в движение, надо было пхать ее вперед, и это обстоятельство, по объяснению Гаврилы Семеныча, дало повод торговцу прозвать его Чертопхаем. Теперь тележки у Гаврилы Семеныча давно уже не было и он перебивался кое-чем: поденной работой, продажей на улице цветов и в общем жил голодно и холодно.

Потом, когда «Низок» закрылся, я потерял из виду многих из своих знакомых по харчевне, потерял и Гаврилу Семеныча, и только прошлым летом (1927 г.) случайно встретился с ним на Смоленском рынке. Мы пошли в трактир и сели за чай.

Жизнь Гаврилы Семеныча не изменилась к лучшему: по-прежнему приходится ему перебиваться случайной работенкой и по-прежнему не всегда приходится быть сытым.

Во время нашего чаепития к нам подсел знакомый Гаврилы Семеныча, человек одного с ним типа, находившийся «в подвыпитии» и искавший желающего добавить полтинник к имевшейся у него сумме, чтобы вместе «раздавить половинку». Мы с Гаврилой Семенычем добавили. После того, как половинка была раздавлена, разговор пошел веселее и интереснее. И тут снова я услышал от Гаврилы Семеныча о колдунах, ведьмах; впрочем, речь о них завел я. Потом, продолжая беседовать, дошли мы до Распутина и Николая Романова.

К сожалению, нашей беседе мешал знакомый Гаврилы Семеныча: у него явился позыв «дерябнуть» еще, а денег не было «ни копя», и он принялся приставать к нам, чтобы мы «сообразили» еще «половинку». «Сообразить» ее мы не могли, и он стал обходить трактирных посетителей, выпрашивая «на хлеб». Но и тут постигла его неудача: его отовсюду гнали. Он с досады пошел «крыть матом» направо-налево и кончилось это тем, что его вывели из трактира «с зашейным маршем», т. е. вытолкнули взащей. И нас попросили оставить заведение, потому что мы, по объяснению пологого, «компаньены этого холюга-на». Чтобы избежать скандала, нам пришлось оставить трактир.

Я записал рассказ о колдунах и ведьмах и легенду о Распутине, царице и Николае Романове. Рассказ оставляю себе, а легенду сообщаю вам.

Как залез Распутин в дворец, каким средством нашел он туда дорогу, в точности не знаю. Слышал, будто одни генерал обнаружил его и привез у наследника кровь унимать. А наследник совсем хилый был — носом кровь шла. И какие только доктора не лечили, и чего-чего только не делали! По заграницам возили и профессорам показывали, а все никакой помощи, никакого облегчения! И совсем пропадает царенок. Тут генерал и привез Распутина.

— Вот, говорит, кто мастер лечить.

Видно, знал его раньше, а иначе как же? Не стал бы перед царем так говорить.

И вот будто с той поры Распутин и засел во дворце. А сам из мужиков был, да и мужик неважный: пьяница и в остроге сидел — корову попер, ему и дали за это восемь месяцев тюремного заключения. И уже старый был. Только все же какой он ни был пьяница и вор, а не простой человек был: знал разные штуки, умел составы делать — будто травы варил, корешки в ступе толоч, вроде как аптекарь. И приготовил такое лекарство. Дал наследнику — у того кровь и унялась. А другие говорят, будто он знал слово кровь заговаривать... Уж не знаю, как это происходило, а только прижился он во дворце и как принялся оказывать свою премудрость, то и пошло по всему дворцу пьянство, потом и разврат пошел... Надымил этими составами, туману напустил, и стали все равно бы сумасшедшие.

Старый, а уж такой бабник, такой ходок — где уже там молодому угнаться за ним! Молодому-то и во сне того не приснится, что он разделявал! И опять-таки тут корешки эти его, травы разные: пастилу из них такую изготовил, лепешечки такие — даст какой даме кусочек, она съест и делается сама не своя, так и льнет к нему, так и льнет... Ведь вот какую антимионию придумал!

Ну, да ведь он придумает! Кому другому и в ум не придет, а он умел. С головой парень был, не мешком из-за угла прибитый!..

И будто дал он этой пастилы царице... Сумел дать. Ему ли не суметь? Вот и дал. И как она покушала, то и выиграла. И такое началось во дворце, такой пошел садом-гамора, что и не скажешь. Которые тогда бывали во дворце, так прямо говорят: «Это не дворец, а кабак и развратный дом!» Вот до чего дошло!

Пьянствовали все напропалую, а про Николая и говорить нечего: он и раньше тверезый почти дня не бывал, а как пришел Распутин, так в дворце ничем и не пахло, окромя водки. Кабак, да и только!

Собрались мастера выпить: Николай не пролей капли был, а Распутин — так уж прямо луженая глотка. Прорва настоящая: сколько ни пьет — не скажет «довольно».

И до того он распьянствовался, расхамничался, что удержу нет. Нажрется и давай кого ни попадя матерью ругать, а не то — песни похабные примется орать. А Николай только посмеивается, будто так и полагается. Вот до какой линии дошли тогда в царском дворце. Такое позорище на всю Расею пустили... И никакой совести нет. Война идет, Расею продают, грабят, разоряют, а Николаю это ничего, ровно бы так и надо. Ему все нипочем, лишь бы водка была да Распутин при нем — вот как опутал его Распутин!

Ну, да эти шнурочки, веревочки эти от царицы шли: она уже давно Расею продавала Вильгельму. И такой уговор был у нее с ним: Николая с престола скovyрнуть, а ей бы самой царствовать. Дескать, наследник малолеток, к тому же больной, вот ей полная воля распоряжаться, командовать всем.

Ну, Вильгельм, разумеется, не даром старался, хотел половину Расеи себе оттяпать, какая получше, а похуже — царице оставить, а Николая по шапке, в отставку, пусть пьет с Распутиным своим, водки хватит... Может, и Распутина Вильгельм подсунул, чтобы Николаю веселее было пить. Конечно, не сам подсунул, а его денежки — они тут работали.

Заранее сделали распределение Вильгельм и царица, да расчет ихний не вышел: как убили Распутина, так и самую царицу с Николаем скovyрнули.

И будто за княгиню убили Распутина: будто и ей он дал порошков — не порошков, а этой пастилы. А князья озлились.

— Царица, говорят, как хочет, это ее дело, но только чтобы наших жен не трогал.

Только, думается, не через княгиню, а просто насточертел он всем. Ну, и взяли его в разделку.

И он учуял, что гроза над ним собралась, из дворца — ни ногой. Зовут его князья обедать, а он нейдет:

— Я, говорит, нездоров.

Ну, они другое придумали.

— Приехала, говорят, из Москвы красотка, хочет в отношении знакомства...

А ему эти красотки слаще всего, старый-старый, а ядовитый был. И не стерпел, приехал, а его пристрелили — «угостили красоткой» — и бросили под мост.

А Николай не верит, что его убили:

— Это, говорит, невозможно!

И царица не хочет верить:

— Как это, говорит, можно, чтобы на такого человека руку поднять?!

Ну, можно-не можно, а Распутина привезли во дворец мертвым. И плачу же здесь было тогда! Такое, подумаешь, царское горе! Ну, им, действительно, горе... Им горе, а кому и радость — весь народ, сколько его ни на есть, ничуть не пожалел:

— Собаке, говорит, собачья смерть!

А во дворце рыдание большое было. И три дня его тело держали — расстаться жаль было. От него уж дурной запах пошел, а они духами его поливали...

Ну, наконец-то похоронили. Особое такое место выбрали, только не на кладбище, и разукрасили могилку: песочком посыпали, убрали цветами... Сколько цветов в магазинах было — все закупили.

Ну, они так разукрасили, а народ по-иному... Утром царица едет проведать могилку, а там народу с тысячу собралось. Могила разрыта, и тут костер горит, а на костре Распутин лежит... А это народ жег его, чтобы от него и звания не осталось.

И как она увидела это сожигание, поскорее обратно во дворец: поняла, какое дело началось. Тут не до Распутина, самой бы обратиться впору...

Вот едет, а кругом народу тысячи, и шумят, кричат, а тут красные флаги, стрельба... Ну, революция!

И тут налетели на нее, взяли под арест. Она спрашивает:

— Где царь?

А ей говорят:

— Теперь больше нет царя — есть Николай Романов. Под замком, говорят, сидит, и тебя туда сведем. А ваш, говорят, престол разломали и будем жечь на площади.

Вот приводят, смотрят — Николай без аполетов, сняли с него... Раз не царь — зачем ему аполеты? Вот и сняли. Тут она заплакала.

— Конец, говорит, нашей жизни пришел...

Ну, маленько ошиблась: конец этот не тогда пришел, а после.

## О нечистой силе

### Лесовик

Это еще от отца я слышал про его такое похождение. А он у нас охотник был, все бывало по лесу с ружьем таскался. Приносил уток, зайцев, а когда и ничего не приносил.

Так вот он и рассказывал, как раз увидел в лесу мужичка одного, не простого, а особенного.

— Я, говорит, по лесу с ружьем иду, а он стоит около сосны. Ну, человек как человек — настоящий мужик в лаптях. Только, говорит, я сразу заметил, что не из нашей он деревни, а чей-то дальний.

Ну, подошел отец к нему, поздоровался. А он, этот мужик, ничего.

— Здравствуй, — говорит. — Нет ли у тебя хлебца? Есть охота.

А у отца в сумке краюха целая. Отломил кусок, дал. Когда есть, жаль, что ли?..

А этот мужичок и давай ухонячивать. Ест и похваливает:

— Хорош, говорит, мужицкий хлеб! — И живо смял кусок. — Дай, говорит, еще.

Отец было подумал: «А я с чем останусь?» — да потом взял и остальной отдал.

А тот уплетает и похваливает:

— Хорош мужицкий хлеб!

Отец и спрашивает:

— Да ты нешто не мужик?

— Нет, говорит, и я мужик, только особого состава.

Отец и говорит:

— Какой же твой состав? Все мы из одного теста. И из одного места.

А мужик смеется:

— Вот, говорит, смотри, какой мой состав.

И стал подыматься, и сделался высокий, как сосна. Потом начал опускаться и сделался как годовалый мальчишка. Потом опять стал мужиком.

— Вот, говорит, какой мой состав!

Отец тут здорово струхнул. И думает себе:

— Да ведь это не иначе как лесовик. А тот уже узнал его мысли и говорит:

— Ты, парень, угадал: я ведь и взаправду лесовик. Только, говорит, ты не бойся: худа от меня тебе не будет, потому что у нас такой обычай: кто до нас хорош, до того и мы хороши. Ты, говорит, и взаправду думал, что я уж так оголодал, что на твой хлеб позарился? А я ведь только испытание тебе сделал. Только, говорит, мы хлеба не едим. Посмотри, говорит, в сумку: хлеб твой целый.

Заглянул отец в сумку — лежит краюха целехонькая. А лесовик смеется:

— Когда, говорит, понадобится тебе хлеб, приходи ко мне — я тебе хоть сто пудов дам.

И тут обернулся вороном и полетел поперек леса.

Отец поскорее домой.

Стал подходить к деревне, вспомнил про краюху:

— Что же я несу этот хлеб домой? Ведь он его погаными руками лапал, в поганный рот совал...

Взял да и положил с краю дороги.

И как пришел домой — шабаш ходить на охоту.

— Еще, говорит, как-нибудь не угодишь ему, со свету сживет...

Да и так не долго жил — помер.

*Записано в 1928 г. от полотера Егора Алексева, крестьянина Смоленской губернии, полуграмотного, 40 лет с лишком; любит время от времени «подержать чорта за уши», т. е. запить дня на три.*

## Ведьмы и колдуны

*Павел Федорович Коноплев, старик (ныне умерший) 68-ми лет, из крестьян Тверской губернии, с малолетства жил в Москве, занимаясь торговлей яблоками, цветами на улице. В трезвом виде — почтенный на вид, рассудительный человек, в пьяном — отвратительный ругатель, а запивал он раза в четыре в год обязательно. Последние два года вел очень трезвую и воздержанную жизнь, стал набожным, ходил часто в церковь, но перед тем гадал о том, «какому святому лучше молиться»: на десяти клочках бумаги попросил написать (сам он был неграмотным) имена десяти известных святых, бумажки, свернутые в трубочки, сложил в картуз, встряхнул и попросил постороннего человека вынуть билетки. Был вынут билетик с именем Симеона Столпника и с тех пор Павел Федорович ходил только в церковь во имя этого святого на Поварской улице [1] и только перед иконой его ставил свечу. Он не был знаком с его житием и, когда узнал о нем от меня, очень восхитился им и Симеона называл «великолепным святым»:*

— Вот это я понимаю, сорок лет простоять на столбе!

*В течение этих двух лет воздержания он приоделся, скопил деньжата, стал очень рассудительным, иногда «философствовал». Раз, сидя со мной за чаем в трактире, он говорил:*

— Человек рождается для того, чтобы причинять другому человеку вред и жить подлецом, а ты воздержись от вреда и подлости и будешь спасен. Насчет питья спиртного:

— У кого карахтер смирный, тому и выпить немного не грешно, а у кого карахтер скверный, тому лучше совсем не пить. Вот у меня карахтер подлый, я и бросил пить.

За несколько дней до смерти он передал «ребятам», т. е. своим товарищам по торговле 10 рублей с тем, чтобы те помянули его в день похорон. Но «ребята» не захотели ждать этого дня и пропили их тот же час, как получили их. На свои похороны он не оставил ни копейки, потому что «государство обязано похоронить его на свой счет». Умер он «по-христиански», т. е. с зажженной восковой свечкой в руке. Похоронен он был на счет домоуправления. Хозяину комнаты он отказал бараний тулуп, но Ванька Гоголь, уличный торговец, пьяница и талантливый рассказчик похабицины, «доказал», что «тулуп насквозь пропитан бациллами», и тулуп торжественно был отнесен на Смоленский рынок, продан за 12 рублей, а деньги были пропиты.

Еще раньше, до своего воздержания от спиртного питья, Павел Федорович рассказывал мне о ведьмах, домовых, колдунах; кое-что из этих рассказов я записал.

Какая женщина — ведьма, можно легко узнать: возьми в четверг на Страстной неделе борону и поставь в переулке, а сам иди в церковь, к Двенадцати евангелиям. Как служба окончится, иди с зажженной свечой и сядь под борону, и сколько их есть в деревне, все одна за другой пройдут мимо бороны. У нас один парень делал в деревне эту самую штуку. И как засел под борону, видит — несутся они, окаянная сила, будто вихрем их гонит. Целых пять ведьм прошли, а на него не глядят. И увидел он промежу между них свою тетку родную.

— Ежели бы, говорит, кто сказал мне: «твоя тетка ведьма», — в жизни не поверил бы, а тут своими глазами увидел.

Только парень сплоховал. Ему надо бы помалкивать, а он разблаговестил по всей деревне. А раз по пьяному делу поругался с теткой и говорит:

— Ты, чортова кума, порчу на людей да на коров напускаешь. — И рассказал, как ее видел из-под бороны.

Она и говорит ему:

— Ну, племянничек, ты это попомни, а я не забуду. И вскорости после этого захирел паренек.

— Чую, говорит, кто-то по ночам кровь сосет из меня, а проснуться не могу.

Пропадать приходится парню. Ну, что делать? Да был в дальней деревне знахарь один, лечил травами да и знал многое. А человек из себя простой и тихий, водки капли не пил. И повезли парня к этому знахарю. А тот посмотрел на парня и говорит:

— Нарвался ты, голубчик, на ведьму: она из тебя кровь сосет. — И взял он ведро воды. — Ну-ка, говорит, глянь, может кого и увидишь.

Глянул парень на воду, видит — тетка. А знахарь спрашивает:

— Узнал?

— Узнал, говорит, тетка родная.

— Вот то-то и есть, — говорит знахарь.

И трое суток продержал парня у себя, зоревой водой умывал, отваром каким-то поил. И пошел парень на поправку. А напоследок знахарь говорит:

— Мой совет такой: про ведьм да колдунов язык не распускай, не то они тебя так удостоят, что ты век не человеком станешь. — И дал он ему тельный кипарисовый\* крестик. — Носи, говорит, не снимай, ничего тебе ведьма не сделает. — И дал еще бутылку какого-то отвару. — Ты, говорит, этим составом плесни в рожу тетки — посмотришь, что из этого выйдет.

Ну, парень, как приехал домой, идет себе по улице этак спрехвала, вроде как бы для променажу. А тетка ему навстречу.

— Что, говорит, племянничек, к знахарю ездил?

А он говорит:

— Ездил и тебе подарочек привез, — да и давай поливать ее из бутылки.

---

\* Т. е. кипарисовый.

И-и-эх! Завертелась, завизжала тетушка. А он ее р-раз! по зубам... р-раз! — и пошел катать! Сбежался народ.

— Прибавь! — кричит. — Бей ее до полусмерти, а то от нее житья нет!

Ну, и потрепали тетеньку здорово. После того она в волостной суд подавала на племянника. А суд говорит:

— Что же ты жалуешься? Ведь по закону не племянника, а тебя надо судить, потому что человеческую кровь высасывать строго воспрещено, а ты, как пиявка, сосала из него кровь.. Мы, говорит, твое дело оставляем без последствий, а ты раскайся и ступай в монашки, грехи отмаливать.

Так она аж зубами заскрежетала. Ну, пошла ни с чем. Так и подохла ведьмой, а сделать парню ничего не могла, потому на нем завсегда был купарисный крест. Тут ее колдовство не помогало. А без того ему не сдобровать бы.

И сколько раньше было ведьм, так это страсть. И все, знаешь, бабы. Это с самого начала веков так повелось, чтобы этим делом бабы занимались. Были и мужчины, но то колдуны. Это похитрее и посильнее баб будет. Колдун может сделать такое, что ведьма и не подумает. И было так заведено, что Колдовство от отца к сыну передавалось. Только один сын воспротивился, не захотел быть колдуном. Не хочет принимать от отца колдовства, а без этого отец не может умереть. Лежит, мучается. Вот под конец говорит:

— Затопите печку.

И как затопили, потребовал веник, и на этот веник выплюнул свое колдовство.

— Поскорее, говорит, суньте в печку.

И как сунули — в трубе разные голоса: завыло, закричало. Ну, конечно, нечистая сила, с досады, что не удалось вселиться в человека. Тут и старик помер, а то все мучился.

Ну, эти ведьмы и колдуны все от нечистой силы работали, а то были такие, которые сами по себе доходили до всего, тайные науки изучали. Это тоже были мастера хорошие, только они не портили людей, а помогали им. Ежели колдун напустит на кого, так вот эти ученые и помогали...

Да ведь все это в старину было. Тогда люди жили крепкие и сильные, а теперь народ измельчал, пошла сволочь поганая, а не люди. Хитрые-то они — это верно, а только ума у них настоящего нет. Копошатся, как черви в навозе, а настоящей жизни не знают.

*Записано в июне 1926 г.*

## Ведьма

Они, эти ведьмы, сволочь известная — только на пакость их и взять, и всего больше на порчу коров. И чего только дались им коровы — чорт из душу, проклятых, знает. И еще говорят, будто они умеют обернуться лошадью, свиньей или сорокой. Только не знаю, правда ли это. А наговорить всего можно. Ну, а насчет коров — факт: в нашем доме одна ведьма корову испортила. Я, положим, тогда маленький был, не помню, как это дело происходило, а мать рассказывала. И знаешь, какая вещь: была у нас корова, такая корова, что поискать: пять кувшинов утром давала, пять вечером. Ну, одним словом, на редкость корова. А тут ни с того ни с сего испортилась — едва-едва один кувшин надоит. А сама скучная такая и слеза бьет. Мать и не знает, что делать. Туда-сюда... Призвала старуху-знахарку. Была такая лекарка у нас.

— Да это, говорит, с глазу... — Ну, нашептала на воду, обрызгала. Только пользы никакой. Что тут делать? Пропадет совсем корова.

Да тут, на счастье, странный человек попросился ночевать. Так — старичок, немудрящий из себя. Ну, обыкновенный странник. Мало ли раньше их ходило? Ну, пустили. Стали ужинать и его посадили. Он смотрит на мать и говорит:

— Что это, говорит, хозяйшкa, ты такая скучная? Больна, что ли?

А мать говорит:

— Да я-то, говорит, слава Богу, ничего, а вот корова у меня заболела. — И рассказала.

А он и говорит:

— А ты, говорит, наутре не гони ее в стадо, — я посмотрю, может, чем и пособлю.

Мать и рада, думает: «А может и на сам-деле что выйдет». И оставила дома корову.

Вот старик, этот самый странник, утром осмотрел.

— Тут, говорит, никакого с глазу нет, а что действительно, говорит, корову испортили, так это факт. Давайте, говорит, мне ломоть хлеба да соли.

Ну, дали. Он посолил хлеб, дает корове, а та головой мотает, дескать, не хочу.

— Ну, — говорит старик, — ясное дело: испорчена. Тут, говорит, есть у вас одна такая стерва, этим делом занимается. Напущено, говорит, много. Ну, да и мы не лаптем щи хлебаем — тоже понимаем.

И вырвал он у коровы между рог шерсть, и сжег. И как сжег, корова — «му-у-у». А старик смеется:

— Вот то-то и оно. — И говорит матери: «Выдои хоть немного молока, налей на сковородку и в печку на уголья поставь. И тут, говорит, как раз и придет та самая, которая корову испортила».

И что ты скажешь? Ведь по-евоинному и сделалось! Поставила мать сковородку на уголья. И сделалось молоко красное, как кровь!

— Вот сейчас, — говорит старик, — эта самая придет, которая порчу сделала корове.

И ведь верно: заявляется дальняя соседка, через три двора от нас жила, Василиса, баба еще совсем молодая. Приходит это и говорит:

— Здравствуйте. — Да как увидела на сковородке молоко, вся стала, как стена, белая.

А этот странник и говорит:

— На работу свою пришла посмотреть?

Тут она вся так и задрожала.

— А какая, говорит, моя работа? Я, говорит, даже близко к корове не подходила, а не то, чтобы портить ее.

А старик смеется:

— Да тебе, говорит, никто ни слова, ни полслова про корову не говорил. Вот, говорит, и выходит: знает кошка, чье сало съела. Нет, говорит, матушка моя, меня не обманешь: я вас, таких мастериц, много перевидал. Ты, говорит, хоть и мастерица, а только мелко плаваешь — жопа наружи.

Ну, видит она — попалась, и ударилась в слезную.

— Да, говорит, сама этому не рада. У нас, говорит, в роду это, от матери дочери передается. И чем, говорит, я виновата, ежели мне это дадено? Тут, говорит, хочешь — не хочешь, а сполный.

Ну, а старик ей другое поет:

— Ты, говорит, азовские басни мне не рассказывай. Кому другому расскажи, а мне нечего мороку в голову вбивать — я, говорит, эти ваши дела прекрасно понимаю



и тебя, шкуру барабанную, насквозь вижу, меня не обманешь. Я, говорит, знаю, зачем тебя нечистая сила по ночам по чужим дворам носит.

Ей и говорить нечего. Стоит, молчит, и вся бледная. Вот после этого старик взял с божницы четверговую свечу, [2] зажег и говорит:

— Идемте на двор.

Вот идут, и эта ведьма Василиса тоже.

А корова у двери стоит, понимает, что для нее действуют. И как стал старик круг коровы обходить со свечой, так ведьма вся позеленела. Ну, обошел три раза и говорит матери:

— А ну, хозяйка, подои ее.

Вот мать принялась доить и пять кувшинов надоила. А старик смеется:

— Вот, говорит, видишь, какая тут причина была, а вовсе не испуг. — И после того говорит этой ведьме:

— Чего же ты стоишь? Шла бы домой. Или, может, по шее ожидаешь?

Она и говорит:

— А как пойду, ежели ты не пуцаешь?

Он и смеется:

— Да как же, говорит, я тебя не пуцаю? Вот, говорит, люди свидетели, я до тебя и руками не притрагиваюсь.

— Это, говорит, правда, что руками ты не держишь, а держит твое тайное слово.

А он опять смеется:

— Ну, говорит, что с тобой делать? Ступай, говорит, себе до дому.

— Нет, говорит, что такое «ступай?» Это, говорит, слово не для нас, а ты скажи «иди», тогда, говорит, я и пойду.

Тут он и давай ее ругать:

— Ах ты, говорит, сукина дочь, подлюка! Ты, говорит, себе в голову забрала, будто в тебе сила большая, а на эту твою силу наплевать да размазать. Вы, говорит, поганые стервы, только над тем измываетесь, кто против вас слова не знает. А как придет знающий человек, так вы и хвост подожмете. Вот и ты, говорит, такая же паскуда.

Ну, одним словом, всячески ее срамил и напоследок говорит:

— Слухай, говорит, обоими ушами, что я тебе скажу. Ты, говорит, этот двор забудь, какой он есть, и корову, говорит, навсегда забудь. А что, говорит, в голове держишь, выброси. — И плюнул он ей три раза в глаза.

— Ну, говорит, теперь иди.

Она скорее бежать. И с того времени ни разу к нам не заходила, а когда мимо шла, так, как крыса, прошмыгнет. И вскорости зачахла: худая такая стала — шкелет-шкелет... Совсем баба извелась и околела. И неизвестно, от старикова ли слова на нее этакое нашло или уж такая болезнь постигла ее. Сама говорила:

— Ничего, говорит, у меня не болит, а чувствую, говорит, таю, как свечка.

Мать говорила, что это старик ей так удружил. Ведь баба здоровенная была эта ведьма, а как старик сделал ей эту операцию, ну, это вот — в глаза поплевал, тут вскорости и стала она сохнуть. Вот тебе и старик.

Мать сказывала:

— И подумать, говорит, никак нельзя было, что он такой знающий. По виду, говорит, простой старичок.

А денег не взял за свои труды. Мать рупь давала. Не взял.

— Не могу, говорит, хозяйюшка, брать за такое дело денег. И ежели, говорит, уж такая твоя милость, то дай чего-нибудь от трудов рук твоих: лепешечек ли на дорожку, холста ли.

Ну, мать напекла ему и лепешек на сметане, и яиц, и холста дала.

И как стал он уходить, говорит матери:

— Теперь, говорит, пусть хоть разведьма придет — ничего не сделает твоей корове. — И дал ей щепотку соли. — Это, говорит, на всякий случай: сама ли заболеешь или еще кто, положи капельку в воду, выпей, и все пройдет.

И верно: напала на мать лихорадка, всю трясет, корежит, а выпила воды с солью — как рукой сняло. Ну и корова тоже в полной исправности была: и доилась хорошо, и приплод хороший шел. И долго она жила у нас, и уж старая совсем стала, продали на убой...

*Записано в июне 1926 г. от крестьянина Тверской губернии Андрея Степаныча Свиридова. Рассказчик — лет сорока, в Москве торгует на улице яблоками, цветами и, как все уличные торговцы, раза четыре в год заливает. Грамоте, кажется, знает, принимал участие в мировой войне, был ранен; его рассказы о войне красочны.*

## Водяной и русалки

*С лета 1914 г., живя на квартире у купца К. А. Головина, в Москве на Сивцевем Вражке, я 15 сентября при неосторожном падении сломал ногу. Все городские больницы были переполнены ранеными на войне, и мне пришлось лечиться на дому. В течение трех месяцев, которые я пролежал в постели, за мной ухаживала теща Головина — Любовь Григорьевна Беккель, старушка шестидесяти лет. Нередко она присаживалась к моей постели и, чтобы мне «не скучно было лежать», рассказывала мне о старине, домовых, русалках, тому подобной «погани». Таких рассказов у нее в запасе было много и рассказывала она их с увлечением. Родилась она в довольно зажиточной мещанской семье г. Владимира-на-Клязьме, но когда ей было 14 лет, отец ее разорился на какой-то спекуляции, дом и все имущество его было продано с молотка. Любовь Григорьевне ради куска хлеба пришлось «идти в люди» — наниматься нянчить детей у владимирских «господ» (чиновников). Двадцати лет она вышла замуж на выкреста из евреев Беккеля, служившего сперва надзирателем, потом помощником смотрителя губернской тюрьмы. За двадцать лет жизни с мужем у нее родилось четыре сына, три дочери, всех она воспитала, вывела в люди. В пору нашего знакомства она жила у средней дочери (жены купца), ухаживая за маленьким внучком. Была она неграмотная, но любила слушать интересное чтение. Из всего прочитанного мной для нее ей особенно понравились «Коробейники» Некрасова.*

Водяной — тоже нечистый дух, живет в омуте. Где кому назначено, там и живет: леший в лесу, домовый — в доме, а водяной — в омуте. И обертывается он так, как ему требуется. Люди так говорят. Вот в нашем доме жил на квартире сапожник из отставных солдат, Антиков, и рассказывал про это. А я тогда девчонкой была — и вот все еще помню. Ну, не все, конечно, где уж там, ведь давно было... Вот и рассказывал:

Я, говорит, его два раза видел. Раз, говорит, осенью лунная ночь была, а я привез на мельницу рожь молоть. Смотрю, говорит, иде-ет по гребле. Ни дать, ни взять, говорит, обезьянка. Шел, шел, да бултых! в воду... А другой, говорит, раз я уже на военной службе был... Идем, говорит, походом, видим — сидит над рекой старик лохматый, весь волосами оброс. Нос, говорит, крючком, глазища большие, страшные... Ну, говорит, известно, какой наш брат-солдат отчаюга! Вот, говорит, и крикнули ему:

— Эй ты, анафема! Чего сидишь, задумался?

А он, говорит, сейчас прыгнул в воду и скрылся. Должно, говорит, выходил на солнышке погреться.

Вот, значит, и выходит, что он по-всякому может обернуться. А занятие его такое — чтобы топить. Кому судьба определена утонуть, того он не упустит: и час, и случай найдет. И ведь так запрячет, что ищут-ищут люди да и бросят. А как отпустит, так он и всплывет. Тут надо средство такое знать.

Вот у нас, во Владимире, случай был. Пошли девушки на реку купаться. Пятеро их было. И купались благополучно, и уж под конец одна утонула. А так было: четверо выкупались, стали одеваться, а пятая все еще плавает, а сама смеется да гогочет. Ну, понятно, шутки ради. Смеялась-смеялась, да как крикнет:

— Ой, подруженьки, тону! Спасите!

Они думали — она смеется, а она пошла ко дну. Они и заметались, сами не знают, что делать. Пока побежали в город, пока дали знать — время прошло немало. Сбежался народ, кинулся искать. На лодке плавали, невод закидывали, баграми щупали — не нашли... Народ и говорит:

— Явное дело — водяной держит у себя.

А в каком месте притаился водяной, никто не знает. Вот тут и нашелся один человек. Взял дощечку.

— Давайте, говорит, мне горячих углей и ладану.

Ну, сейчас принесли ему. Насыпал он на эту дощечку углей, потом ладану, пустил на воду.

— Где, говорит, остановится, там и ищите.

Вот плавала, плавала дощечка и остановилась. Стали искать на том месте — и вытащили. Утонула в одном месте, а нашли в другом, сажень за пятнадцать — вон куда утащил! Принялись откачивать, да время уж упустили, не откачали. Ну, а все же похоронили по-христиански. А то бы пропала душа ее навеки.

Это вот как бывает: ежели ее найдут — ее счастье, а не найдут — душа ее тоскует и будто сорок дней блуждает по земле, все ожидает, пока не отыщут ее тело и не похоронят. Ежели не найдут, водяной и станет хозяином над ней, и сделает он ее красавицей, и она постоянно живет в омуте. Вот будто эта самая и есть русалка. А когда летом бывает лунная ночь, она выходит из омута и поет. А голос у нее такой, что хоть какого человека обворожит, и этот человек станет сам не свой и пойдет всюду за ней. Она и заведет его в омут, а водяному от этого прибыль: есть еще одна грешная душа.

Так рассказывают, а у других по-иному выходит. Эти, говорят, русалки, водяные, домовые, словом, вся эта поганая нечисть, с самого изначала мира была: как сотворено было все на земле, так и она была заведена. Вот и русалки тогда же появились. А утопленницы, говорят, тут не при чем.

А где правда, как узнаешь? А что души умерших блуждают по земле, так это верно. Это вот чьи души: кто был злодеем и умер без покаяния, потом колдуны, ведьмы, которые тоже не покаялись. Их земля не принимает: тело лежит в земле, а душа без приюта по земле ходит. У одних тенью ходит, а у других свечкой горит.

А то вот еще ходят по земле тоже без приюта проклятые люди, которых отец с матерью прокляли и от которых Бог отказался. Ну, этим нет смерти до самого Страшного Суда. Вот, говорят, и Каин по месяцу бродит за то, что брата убил. [3] Этого сам Бог проклял. А вот Иуда в аду, на коленях у самого Сатанаила сидит и кошелек в руке держит. И удивительно, как все распределено, во всем порядок заведен: кому как быть, кому какое наказание.

## Потайной муж

Про этого тайного человека такая история: хочешь верь, хочешь нет, дело твое, а как я слышал от людей, так и рассказываю. А выдумывать мне не из-за чего: ведь

полбутылки ты не купишь мне. Ну, и так тоже надо рассудить: раз люди говорят, так откуда же nibудь взялось же!

А было дело в мировую войну. Как стали брать билетных\*, так и взяли у одной бабы мужа и погнали на германский фронт. Она и взялась тосковать по нем. День тоскует, два, три... Ну, может, месяц или больше. Одним словом, в прискорбии души находилась женщина. А баба молодая, в самом соку: тут ей только подай мужа, а его и нет. Ну, это одно, а потом думки ее одолели: «может, его давно убили?» И вот тоскует. Только через сколько-то месяцев в самую полночь приходит ейный муж.

— Я, говорит, в дезертирах состою, из своего полка убежал. Каждую ночь, говорит, буду приходить, а днем стану таиться, а то, говорит, под суд попаду и меня расстреляют.

Ну, она рада: никому ни слова не сказывает, а он по ночам приходит. И все в нем как следует: и обличье, и карахтер. И все он по хозяйству знает, как что у них заведено, какой порядок. Вот она и не сомневается в нем.

А тут через шесть месяцев получает письмо с германского фронта от мужа. И пишет он ей, что ходил в атаку, получил рану и лежит в госпитале, а как выздоровеет, придет в отпуск домой. Тут у бабы ум раскололся: не знает, как и что ей делать. И выходит, будто два настоящих мужа у нее: один в дезертирах, а другой — на фронте. И понять она не может этого дела. Вот показывает письмо этому самому полуночнику. Он прочитал и смеется:

— Это, говорит, товарищи мои подшутили. Я, говорит, рассказал им про свою жизнь, вот они шутки ради и написали это письмо. Ты, говорит, из ума выбрось это глупое дело, потому что я есть самый настоящий муж твой.

Ну, она тоже баба не дура, думает: «Тут что-то не так». Только молчит, никому ни слова о таком происшествии. А сама извелась: ведь он одной ночи не пропустит, все до ее лезет. По-настоящему бабе это на пользу должно идти, а тут она сохнет.

И в скорости сам благоверный домой заявляется. Ну, словом, настоящий муж: и ни от кого не хоронится, и днем показывается, и обедает, а тот никогда ничего не ел. А ей, бабе, и невдомек было, что же это, мол, он никогда и ужинать не попросит. Ну, да ведь с ихнего брата и спросить нельзя: этой тонкости ума нет у них, догадки этой. А как пришел настоящий — первым делом на жратву его погнало. И показывает от свой отпуск, этот билет самый. А тот тоже по ночам приходит, только стал невидимкой. Как лягут они спать, он с боку и привалится, и как привалится, давай ее щипать. Ну, баба станет ворочаться, а муж ругается:

— Чего, говорит, тебя разнимает, смирно не лежишь?

Она заплакала и открылась ему, во всем призналась. Он не верит:

— Врешь, говорит, сука! Должно, без меня дружка приспособила себе.

Ну, побил ее. Одначе, как поразузнал промежду людей, так никто худого слова не сказал про его бабу, а все одобрили: «примерного, говорят, поведения».

Вот он и говорит ей:

— Ты, говорит, толкни меня, как он привалится.

А сам положил около себя спички. Вот в полночь тот и стал ее щипать, она и толкни мужа. Муж сию секунд зажег спичку. Смотрит — нет никого, а только баба держит того за руку. Тут и муж совсем оробел.

— Мне, говорит, в пору на фронт утекать, пусть, говорит, меня германская пуля уложит во сырую землю, а не то, чтобы, говорит, тут тайные дела переносить и душой мучаться.

А баба плачет:

— Я, говорит, в этих делах не при чем, мне, говорит, самое страдание иссушило.

Да тут одна старуха нашлась, знающая.

---

\* Низшие чины запаса армии.

— Э-э, говорит, да это потайной муж, а короче сказать — сама нечистая сила.

А у этой старухи весь род такой, что по этой практике шел. Ну, вот насчет этих тайных делов. Испокон веков из рода в род передавалась эта самая наука. И вот эта старуха и извела этого потайного мужа, не стал он приходить к бабе. А как извела — не могу сказать. Может, какое тут снадобье, может, какие-нибудь тайные слова особенные. Нешто скажут знахарки про свою науку? Держат про себя крепко.

И пошла баба на поправку, располнела вся, а то иссохла в спичку. А старуха говорит:

— Ты только затоскуй по-настоящему, тут и явится нечистый дух. Спасибо, я тут вовремя подросла, а то бы довел он тебя до петли.

Ну, вот тебе и вся история эта — как хочешь, так и понимай. Моего тут одного слова нет, а как слышал, так и рассказываю.

*Записано в 1926 г. от Василия Яковлевича Васильева, крестьянина Смоленской губернии, торговца газетами, время от времени «зашибающего», полуграмотного, 55-ти лет.*

## О русских писателях

### Брюс, Сухарев и Пушкин

*В течение четырех лет (1919—1923 гг.) мне пришлось торговать книгами на многих улицах Москвы, а с весны 1921 г. по декабрь 1923 г. я торговал ими на Арбате, около дома № 26 (бывшего Берга). Тут я познакомился с дворником этого дома Филиппом Яковлевичем Болякиным. Тогда ему было 68 лет, значит, теперь, когда пишутся эти строки (в 1925 г.) ему 72 года. Он высокого роста и, судя по его фигуре, когда-то был крепкого телосложения, теперь одряхлел, стал сутулиться. Родом он из крестьян Тульской губернии, Новосельского уезда, деревни Даниловки.*

*По отбытии солдатчины он женился, занимался дома крестьянским хозяйством, временами жывал в Москве, потом, когда дети подросли, передал им хозяйство и окончательно переселился в нее, нанялся дворником в тот самый дом, в котором я застал его, когда познакомился с ним. В этом доме он работал более двадцати пяти лет и все время, до зимы 1924 г., жил вдвоем со своей женой, которой, когда я узнал ее, было 80 лет. Третьим членом семьи Филиппа Яковлевича был его любимец, большой серый кот Барсик.*

*За 25 лет работы Филипп Яковлевич нажил немало разной одежды, но его обворовали дочиста в то уремя, когда он убирал мостовую, а старуха отлучилась из дому.*

*В первое время моего знакомства с ним наши разговоры вращались большей частью вокруг уборки мостовой. Обыкновенно, покончив с работой, он с метлой или киркой в руке подходил ко мне, тяжело волоча ноги.*

— Давай, — устало произносил он.

*Это означало, что он хочет покурить. Я доставал из кармана кисет с махоркой, мы скручивали сигарки, закуривали. После двух-трех молчаливых затяжек замешался разговор, и почти всегда начинал его Филипп Яковлевич.*

*Если дело было зимой, он, посасывая сигарку, принимался не торопясь, медлительно объяснять, как надо закаливать кирку для скалывания толстого, слежавшегося слоя снега, а летом осуждал тепереишнюю метлу, которой и на неделю работы не хватает: в три дня так измывается, что хоть бросай ее и бери новую.*

*Иногда, глядя на убранный мостовую и любуясь своей работой, он говорил мне:*

— Глянь-ка, походил по ней метлой, она и поумнела, а то была, как пьяная баба вся растрепанная.

Иных разговоров у нас почти не было, и я думал, что Филиппу Яковлевичу не о чем больше говорить. Но, оказалось, было о чем.

Раз как-то увидел он у меня выставленную на продажу книжку с портретом Наполеона на обложке, взял ее, медленно пошевелил губами: он немного знает читать (на военной службе выучился) и положил на место.

— Вот, — заговорил он, кивая головой на книжку, — первеющий человек в свете был, а пропал через свою гордость.

И потом, все так же медлительно, все так же посасывая сигарку, стал он рассказывать, как Наполеон, обуянный гордостью, пошел войной на Россию, завладел Москвою и бежал из нее, как он попал в плен и был сослан на остров и как, отправляясь в изгнание, предрек императору Александру Первому гибель дому Романовых, что потом, хотя и через много лет, в точности сбылось.

В другой раз я уже сам завел с ним разговор об очень популярном в народе человеке, сподвижнике Петра Великого, графе Якове Вилимовиче Брюсе, этом, по легендам, удивительном на всем свете ученом и волшебнике. Затеял я такой разговор в надежде услышать от Филиппа Яковлевича что-нибудь новое о Брюсе и тем пополнить свое собрание легенд о нем. И надежда не обманула меня: я услышал от него не только о Брюсе, но и о другом современнике Петра Великого — Сухареве, и, чего я совсем не ожидал, об А. С. Пушкине. Оказывается, по словам рассказчика, все они трое жили в одно время. Легенда так и начинается: «Их было трое: Брюс, Сухарев и Пушкин...»

Рассказывал мне эту легенду Филипп Яковлевич в ноябре 1923 г., а в следующем месяце я принужден был прекратить книжную торговлю и за весь 1924 г. лишь мельком видел Филиппа Яковлевича раза два, а летом 1925 г. пришел к нему расспросить о Пушкине.

За эти полтора года, в которые мы не виделись, умерла его жена, и он, чтобы иметь в доме хозяйку, «расписался» с одной тридцатилетней женщиной, т. е. зарегистрировал у нотариуса свой гражданский брак с ней.

Он еще более одряхлел и память стала изменять ему: меня он называл «Мироньчем» вместо «Захарыча», как раньше называл, а на мои расспросы о Пушкине только отмахнулся:

— Что о нем говорить, — возразил он, — Пушкин и есть Пушкин.

А когда я напомнил ему его рассказ о Наполеоне, он удивился:

— Да нешто я рассказал? — возразил он и долго думал, очевидно, припоминая. — Не помню, — промолвил он потом. — Может и говорил, да позабыл.

Разговор у нас не клеился, мы покурили и разошлись. Месяц спустя мы опять встретились, разговорились о прежнем времени, прежней Москве, вспомнили, между прочим, обезьянчиков, т. е. айсаров, болгар и персов, водивших напоказ пляшущих обезьян, и Филипп Яковлевич рассказал любопытную, на мой взгляд, легенду о том, почему было запрещено водить обезьян и медведей. Пользуясь его хорошим настроением, я направил было разговор о Пушкине, но из этого ничего не вышло.

— Что ж Пушкин, — промолвил он. — Был он хороший человек, за что честь и слава ему. — И больше о Пушкине ни слова.

Но все же я узнал, что Филипп Яковлевич ни одного из произведений Пушкина не читал и не слышал, и вообще никаких книг не читал, кроме одной — «Ухарь-купец»\*, которую он очень хвалил.

---

\* Под таким заголовком известно было лубочное издание (Т-ва Сытина) собрания песен и романсов, среди которых было помещено стихотворение Никитина «Ехал из ярмарки ухарь-купец». Положенное на ноты, оно распевалось с эстрад увеселительных садов, ресторанов так называемыми исполнительницами народных песен и, между прочим, одной из них, более талантливой, Плевацкой, удачное исполнение которой много способствовало распространению его в городских низах, где оно было в моде с 1908 по 1914 г., хотя и теперь еще не совсем забыта.

Их было трое: Брюс, Сухарев и Пушкин.

Брюс на небо летал смотреть, есть ли Бог. Ну, вернулся.

— Есть, — говорит, а сам поскорее к батюшке побежал... — На, говорит, тебе рупь, отслужи молебен.

Ну, а батюшка что ж?.. Рупь — деньги, на тротуаре не подымеешь; взял да и отслужил...

И был этот Брюс самый умный: весь свет исходи — умней не найдешь. И знал он волшебство, и дошел до всяких наук. Календари делал... и порошки у него там, составы разные... И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревой башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма-тьмущая... и чего-чего только там не было. Понятно, не зря, а все для науки.

А башню эту Сухарев построил... Вот по этому самому и называется она «Сухарева башня». [1]

А Сухарев этот был купец богатый, мукой торговал. Ну, еще и другие лавки-магазины были... бакалея там, да мало ли каких не было. Одно слово — богач... и тоже парень неглупый был, тоже по науке проходил. Ну, до Брюса-то ему далеко было, и десятой части брюсовской науки не знал. Он, может, и узнал бы, да торговля мешала.

— Ну, хорошо, говорит, положим, ударюсь я в науку, а кто же, говорит, за делом смотреть станет? А на приказчиков, говорит, положиться нельзя: все растащут, разворуют.

Да и правда. Ведь что у нас за народ, я тебе скажу, — анафема, а не народ! Поверь ему — он живо выставит тебя за дверь да еще тебя же и виноватым сделает... Нет, доверяться нашему народу никак нельзя: обманет, а то, еще того хуже, в одной рубашке оставит...

Ну, это одно, а тут еще баба-жена да ребятишки. А при бабе какая наука может быть? Ты, примерно, книгу раскрыл и хочешь узнать чего-либо по науке, а тут жена и застрекочет сорокой: то-се, пятое-десятое... Уж она завсегда найдет, что сказать. Ты нарочито думай — не придумаешь, а она, и не думавши, как примется стрекотать... Уж она трещит-трещит... А ведь все зря, все попусту, лишь бы языку дать работу. Конечно, есть и понимающая, разумная женщина, завсегда уважит мужа. Но ведь мало таких, всего больше — как раскудахчутся, так и жизни не рад станешь...

Ну, тоже и нашего брата похвалить не за что: есть такие соловьи залетные, он тебе напоеет такое, что ты уши развесишь, и облупит он тебя, как яичко печеное. Есть такие ловкачи...

Ну, вот и Сухарева такое дело: думал, думал, как быть? И по науке человеку лестно пойти, да и нищим не хочется остаться... Видит — не с руки ему наука, взял, да и построил башню.

— Ты, говорит, Брюс, живи в этой башне, доходи до всего... А чего, говорит, понадобится, скажи, дам.

А чего Брюсу понадобится? Чего нет — сам сделает. Я тебе говорю: на все руки мастер был. Он и золото, и серебро делал. Ну, конечно, не зря, а по малости. А то, пожалуй, наделай много — тут такая бы пошла поножовщина, такое смертоубийство... Смотри, и башню давно бы спалили. Вот он и остерегался. А больше всего испытания делал, над составами работал.

А царь сердится:

— И чего ты, говорит, все мудришь? Что выдумываешь? Забился, говорит, в свою башню и сидит, как филин. Вот, говорит, прикажу подложить под башню двадцать бочонков пороху и взорву тебя. И полетишь, говорит, ты к чертям.

А Брюс говорит:

— Если, говорит, я филин, то пусть буду взаправдашний филин.

И тут обернулся филином. Обернулся, да как закричит: «Пу-гу-у!». Царь испугался и — бежать...

— Тут, говорит, и до греха недалеко.

И не любил царь Брюса.

— И когда, говорит, черти заберут его от меня?

А тронуть Брюса боялся. А не любил вот почему: он хоть и царь был, а по науке ничего не знал. Ну, а народ все больше Брюса одобрял за его волшебство. Ну, царя и брала зависть.

А тут Брюс такой состав сделал: старого человека на молодого переделывать. Вот и говорит слуге своему:

— Брат, изруби ты меня топором на мелкие кусочки. Полей, говорит, сперва из этого пузырька, а потом вот из этого. Хочу, говорит, снова молодым стать, а то мне, говорит, уже девяносто лет...

Ну, слуга изрубил его топором. Полил из одного пузырька — тело срослось. А из другого не стал поливать, взял да и разбил об пол. А сам побежал к царю.

— Брюс, говорит, помер. А царь говорит:

— Помер, и черт с ним — собаке собачья честь.

А нешто он собака был? Самый ученый человек был, самый умный. Тут царская злоба, зависть... Живо му ничего не мог сделать, боялся, так вот дай хоть мертвого облаю... Злоба, конечно.

Ну вот... Ну, похоронили Брюса... И очень народ жалел его. Да что поделаешь? Умер, значит, конец.

А этот подлец, слуга Брюсов, как ни таился, а все же люди узнали про то, как он Брюса погубил. Ну, понятно, не поблагодарили за такое дело: ругали всячески и ребра пересчитали. Да толку-то от этого чуть. А его бы из поганого ружья пристрелить, вот это в самый раз было бы: чего заслужил, того и получай.

Ну, а Пушкин... Пушкин в Москве жил и планы разводил: ведь это он застроил Москву, ведь это он завел порядок.

А ежели бы не Пушкин, была бы не Москва, а черт знает что... Ведь у нас как? Ты дом построил, ты сад развел. И я дом построил, только у меня он неказист, да и сад не тово, подгулял. Вот меня бес и начинает мутить, зависть разбирает... Вот я возьму, ночью перелезу через забор и спилю твои деревья в саду. И после того пойдет промежду нас грызня: я тебя «подлецом», ты меня — матерными словами... И дойдет дело до драки: один другому рожу исковыряем. А Пушкин это воспрещал... Вот и завел порядок.

Умнейший был господин. И книги тоже писал, все описывал. И чтоб люди жили без свары, без обмана, по-хорошему...

— Вы, говорит, живите для радости.

Да ведь наш народ какой? Окаянный народ. Я мостовую мету, своим делом занимаюсь, а он, шут его знает, кто такой, по тротуару идет и ровно бы ветром его качает... самогону через край хватил. Ну, качался, качался, остановился и давай меня ругать. Уж он конопатил, конопатил... А за что? Я ему не должен, ничего не украл у него, да и вижу-то его впервые...

Ну что ты поделаешь с ним? Драться с дураком не приходится — сам дурак станешь, да и не одолеешь, ведь он какой оглоед — быка за хвост удержит... Поругал-поругал, пошел, закачался... Пьяный, конечно... ну, пьян-пьян, а башкой об стену не стал колотиться. Хам.

Вот Пушкин и правду написал: «На подлеца хоть аполеты надень, а он как был свинья, так и останется свиньей». [2] Что ж, и верно: ты его как ни полируй, а он все



такой же хамло будет... Вот Пушкин и хотел, чтобы у нас дружелюбие было, чтобы мы не хватали один другого за горло, чтобы свиной жизни не было. Только у нас дело на свой лад идет, не на пушкинский. Нам бы вот сивухи-матушки через край хлебнуть, да человека матом разутюжить — это так... вот это и есть радость наша. А дружелюбие это... Обманул человека, обработал как нельзя лучше, в одной рубахе оставил — вот и дружелюбие твое.

Пушкин-то хорошо знал обхожденьице наше — какой мы народ... Человек умнейший был, а иначе нешто поставили бы ему памятник?

Им, видишь, всем троим хотели поставить памятники: Брюсу, Сухареву и Пушкину... Это уж после было, при другом царе... Три памятника хотели поставить, да царь воспротивился:

— Брюсу, говорит, не за что: он волшебством занимался и чорту душу продал.

Вот, видишь как человека опорочили.. А ведь напрасно, совсем зря. Чего ему было душу продавать чорту, ежели он наукой дошел? Умный человек и без нечистой силы дойдет. И волшебство он наукой взял.

Да ведь у нас как? Озлился на человека и давай его чернить. Вот и тут так: один царь невлюбил Брюса, ну, и другие цари той же дорожкой пошли. От дедов-прадедов пошла эта царская злоба... Вот от этого и не приказано было ставить Брюсу памятник.

И Сухареву тоже не приказал царь.

— Какой, говорит, ему памятник надо? Есть Сухарева башня, и довольно с него. Да и не за что, говорит, ставить ему: он, говорит, мукой торговал, барыши в карман клал.

Ну и клал... А как же иначе? На то ведь и торговля, чтобы барыш был. А станешь торговать без барыша — проторгуешься, в трубу вылетишь. Без барыша нельзя.

Ну, а Пушкина все же одобрил.

— Он, говорит, умнейший человек был.

Вот и поставили памятник Пушкину, и стоит... Да ведь наш народ какой? Проклятый народ, с ним не стоворишь. Иной-то тысячу раз прошел мимо памятника, а спроси его: какой был человек Пушкин?

— Не знаю, — говорит.

«Не знаю». Да ведь и я тоже не знал, а как расспросил знающих, и узнал... И вот ты расспроси, послухай, что скажут. И никто тебя за это не оштрафует, и никто не заругает...

— Нам, говорит, это не требуется.

А вам что же требуется? Чужие карманы обчищать да замки сворачивать, а? Поверишь ли? Четырнадцать вершков голенища — сапоги были... елецкие вытяжки, [3] к Пасхе справил... И что ты скажешь? Пришли, свернули замок, все забрали, все унесли. Бекеша на вате была... я бы за нее и пяти червонцев не взял бы... уперли и бекешу. Да мало ли чего не взяли... Валенки старые — и с ними не расстались! Ну, что за народ такой? Им вот про Пушкина знать не требуется, а воровать по квартирам да в карман залезать — это самое любезное дело... Эх, народец!..

## Пушкин и Гоголь

*Андрей Егорович Колтыхин — крестьянин, вернее был приписан к крестьянскому обществу. Он родился от неизвестных родителей, был вскормлен сначала в Московском Воспитательном доме, потом в семье крестьянина одной из подгородных деревень, бывшего «шпитонцев» (питомцев) этого дома на воспитание. Когда ему было восемь лет, он жил*

в селе Хотеечево Рязанской губернии (где, по его словам, раньше делали гребешки), потом попал поводырем к слепому старику-нищему, «дедушке Якову Петровичу». С ним он ходил по селам и деревням «по кусочки», то есть собирал милостыню; с ним же он пробрался в Москву. Тут вскорости дедушка помер, а Андрей Егорович остался на улице; тогда ему было десять лет. На улице он провел два года и однажды зимой чуть было не замерз, ночуя в мусорном ящике.

На тринадцатом году его взял в учение к себе сапожник, но Андрей Егорович пробыл у него недолго и сбежал, не выдержав жестоких побоев, и очутился «кухонным мужиком» у немки Луизы Ивановны, содержавшей на Малой Бронной меблированные комнаты со столом. У нее он прожил четыре года и потом вспоминал ее с теплым чувством, как добрую женщину.

В числе жильцов Луизы Ивановны были и студенты. Один из них по окончании курса учения в университете взял Андрея Егоровича к себе на родину, в Новороссийск, в качестве работника.

Андрей Егорович прожил у него только неделю, возненавидев мать студента, почтенную даму в пенсне, за то, что та звала его «Андрэ» и скликала своих любимых кошек, лязгая столовыми ножами один о другой.

— Как скажет она мне это «Андрэ», так вся душа во мне перевернется, а тут еще эти треклятые ножи. Кажется, схватил бы ее за горло, да и удавил бы, — рассказывал он.

Потом ушел на Кубань, батрачил в экономиях «тавричан», выходцев из Таврической губернии, занимавшихся овцеводством, потом скитался по югу России, пил, босаячил, работал в Крыму на виноградниках, вернулся в Москву и за продажу поддельных золотых колец попал на три месяца в тюрьму.

Отбывая солдатчину, он принимал участие в Русско-японской войне 1903—1905 гг., был ранен. В мировую войну 1914—1917 гг. был мобилизован и опять ранен в одном из боев на германском фронте. По выздоровлении все время, вплоть до окончания войны, находился в тылу армии.

Зимой 1924 г., когда я познакомился с ним в одной из московских харчевен, он нанимался колоть дрова. Работа случалась не каждый день, и ему приходилось жить впроголодь. В зимние вечера мы подолгу сживали в харчевне за чаем и беседой.

Поговорить он любил. Рассказывал он больше всего о своих скитаниях, о войне. Как-то раз зашла речь о Пушкине, и он рассказал легенды о нем и о Гоголе. Сам он не читал ни Пушкина, ни Гоголя, хотя и говорил, что когда-то «читал, да все позабыл».

Говорю: «не читал», потому что он не был знаком ни с «Капитанской дочкой», ни с «Тарасом Бульбой», двумя произведениями, по которым, по моим наблюдениям, читатель из низов начинает знакомиться с Пушкиным и Гоголем. Скажу больше: ему даже названия этих произведений не были известны. Мне думается, что он и читать-то не знал: жизнь его с детства была обставлена такими условиями, при которых ему негде и не у кого было учиться.

Находясь на военной службе, он мог бы немного поучиться грамоте в ротной школе, но я уверен в том, что не научился: ничто в нем не говорило за то, что он был грамотен.

Пушкин только по фамилии русский, а русской крови в нем и капли одной не было: немецкая да арапская кровь была. Его отец из немцев был, а мать — арапка. Отец во дворце находился, при царе служил... Ну, служит и служит, а толку нет: кому чин повысят, кому жалованья прибавят, а его все обходят, он все в стороне.

— Что же это такое? — думает. Вот посмотрел, посмотрел: — А ну, говорит, дай-ка я выкрещусь в русскую веру. Взял да и выкрестился. А царю приятно стало:

— Это, говорит, хорошо, что ты нашу, русскую веру принял. Надо, говорит, чтобы и фамилия твоя была русская. Вот и дал ему фамилию Пушкин, а раньше у него немецкая фамилия была. Вот с той поры он и стал называться Пушкиным.

И тут ему повезло: и деньгами царь его наградил, и чином повысил. А прочих, которые тоже при царе служили, взяла досада, стала их зависть брать... Вот они и давай следить за ним: думают — человек в чем-нибудь ошибется, промашку какую сделает. И принялись подслеживать. А он и взаправду сплеховал...

И дело это произошло через арапку одну. А эта арапка при дворце находилась. Не для дела держали: какое уж от нее дело. А так — при милости, на кухне жар раздувать... Мало ли раньше этих чертей арапов, карликов держали при дворцах. И все только для одного форсу: вот, мол, какой народец у нас имеется.

Ну, эта арапка самая тоже на таком положении находилась. А этот выкрест-немчура был холостой. И зашло ему в голову насчет арапки, интерес его взял: что, мол, за народ такой — арапки. Вот он и давай крутиться вокруг арапки, давай увиваться... Принялся напевать — лишь бы голову задурить.

Ну, крутился-крутился и обставил ее...

Он думал — никто не узнает, все шито-крыто будет. А тут десять, а то и больше шпионов за ним следят. Ну, и накрыли раба Божия. Как накрыли — побежали к царю.

— Так и так: Пушкина с арапкой застали.

А царю досада...

— Это, говорит, что за самовольство такое? — и сейчас этого выкреста за бока... Ругал, ругал... — Ишь, говорит, что выдумал! Нешто, говорит, я для того арапок завел, чтобы ты с ними разврат производил? Ежели, говорит, сошелся, обвенчайся, а не хочешь — к чортовой матери вон из дворца!

Ну, царя не слушаешься: хочешь-не хочешь, а венчайся. Вот и обвенчался и стал жить с ней по-настоящему.

Понятно, какое уж там было житье. И в люди показаться с черной сатаной — одна срамота. И грызлись они каждый день, как собаки, и бил он ее здорово. Ну, она то не сдавалась: живущие они, эти арапки треклятые, и злые, как черти. И она тоже отгрызалась хорошо: как схватит каталку, так ему впору бежать.

Ну, однако, как плохо ни жили, а все через девять месяцев она родила. Все так и думали: обязательно она родит арапченка или девочку-арапку, а родила она белого мальчика. И все очень удивлялись.

— Значит, говорят, мужская кровь над женской кровью перевес имеет.

И царь очень доволен остался.

— Это, говорит, похвально, что мужская кровь победила. Определить, говорит, мальчика на казенный счет. Самых лучших учителей к нему приставить — профессоров.

Ну уж, конечно, и папашу не забыл: и чином наградил, и жалованья прибавил. Вот после этого выкрест этот, немчура и заблистал, а то ведь совсем заплевали человека. Вот тебе и сатана черная. Она, эта сатана, после такой срамоты ему возвышение придала.

Ну, отцу хорошо, а сыну нешто плохо? И сыну тоже хорошо было. Как он подрос, стали его учить, а царь только одно и твердит учителям:

— Учите мальчика хорошенько...

А этот мальчик вот какой был: ему только десятый год пошел, а он уж зашагал: всю профессорскую науку одолел, да еще сам стал задавать учителям задачи. Такую задачу задаст, что профессора только рот разинут. Смотрят на него, и только глазами хлоп-хлоп. И так, и сяк — ничего у них не выходит... В своих книгах ищут, ищут — ничего нет подходящего. Что тут делать? Бегут к царю жаловаться на Пушкина... Ну, не жаловаться — какая тут может быть жалоба? А так — пошли доложить насчет учения Пушкина. Вот приходят и говорят:

— Пушкина, говорят, больше нечему учить, он всю нашу науку превзошел.

Царь и удивляется.

— Как же это, говорит, так? Ведь он еще мальчик.

А профессора говорят:

— Это действительно верно, что он мальчик, а только по уму он и большого превышает. У него, говорят, такой талант. Он, говорят, от природы такой умный.

— А-а, — говорит царь, — это дело другого рода, это особая статья, Ну, говорит, ежели он от природы такой, так и отступитесь от него. Пусть, говорит, он один до всего доходит. А то, говорит, вы еще испортите его, разобьете его мысли.

Профессора и отступились: раз приказ царский, тут уже не станешь растабарывать. Вот они и отступились от Пушкина, отошли.

— Ну-ка, думают, как он без нас станет учиться?

А он как пошел, как пошел! Все предметы постиг. Кроме русского, семь языков знал! А как подросток, пошло у него занятие — до всего докапывался, все узнавал... А учителя, эти профессора, только удивляются «Ах-ах!» И опять по книгам шарят: может, что осталось, чего Пушкин не знает... Шарили-шарили — нет ничего, хоть бы какая малость осталась! И все только: «Ах-ах!» А себе в голову того не возьмут, что они от книги берут свою науку, а Пушкин все больше от природы брал. А как он там брал — это его дело. Значит, умел, ежели брал... Ну, конечно, и он по книгам учился, и он в книги вникал — без книг никак нельзя. И сам он чрез книги прославился — мало ли написал сочинений. Через книги и пошла его слава. А иначе кто бы знал про него? Ну, кто и знал бы, а прочие не слыхали бы ничего — какой-такой есть Пушкин. А то по всей России пошла слава.

Ну, однако, какая слава его ни была, а пропал он зря, так — за ничто: через свою жену-потаскушку пропал. Ну, понятно, не бульварная она была, а с жиру бесилась: Пушкин нехорош, дай заведу любовника... Вот и завела: нашелся такой ухарь — полковник Павловского полка. А Пушкин и дознался... Как дознался, сейчас на этого полковника налетел и сорвал с него аполсты. А это дело такое нешуточное. Сейчас докладывают об этом царю. А царь говорит:

— Пушкин — человек вольный\*, какой с него спрос? А тут, говорит, надо спросить полковника: какое его поведение, ежели у него аполеты обрывают. Ежели, говорит, не оправдается, — вон со службы!

А тут вот какое оправдание: раньше у военных не было того, чтобы по судам таскаться, самих себя срамотить, а так было заведено: я убил тебя из пистолета или там из револьвера — значит, на моей стороне правда, значит я оправлен, а ты виноват. Вот и Пушкин тоже вышел против полковника. Он думал срезать полковника, а только сам свалился: полковник получше его стрелок был. Ну, убил, значит, оправдался, совсем оправился. И не стал царь выгонять его со службы.

Конечно, такое правило тогда было, а если по-настоящему, по совести рассудить, какое тут может быть оправдание? С женой Пушкина жил и Пушкина же убил. Где же тут правда? Понятно, это тогда не разбирали, такое тогда правило было, и все тут. Ну, тоже и Пушкина в этом деле не за что похвалить: он вот у полковника погоны сорвал, а того не разобрал, кто тут виноватее всех. Он думал — полковник тут виноват, а того не взял в разум, что полковник не самовольно пришел к ней — она его позвала. А ежели не позвала бы, как он мог нахалом прийти? Ведь человек не без ума был... а тут от нее магнит был. Она виновата, ее и спрашивай. А то он взялся за полковника. Это не дело... По-настоящему-то дал бы ей хорошую выволочку, так она забыла бы, какие полковники бывают, да и сам бы остался жив... А то пропал зря.

Гоголь тоже башка был, умница. Товарищи с Пушкиным были. Пушкин и часы свои золотые ему на память подарил. Это когда Пушкин умирал, когда полковник поранил его. А Гоголь пришел проведать его. Пушкин говорит:

\* т. е. не военный.

— Возьми часы, носи да меня вспоминай почаще.

А как умер Пушкин, тут же Гоголь все вызвездил его жене.

— Это, говорит, ты, ведьма, Пушкина уходила. Это, говорит, твоя работа.

А ей крыть нечем, потому что — правда.

Ну, похоронили Пушкина. А Гоголь после того за свое дело принялся. Тоже сочинения писал. Как напишет книгу, начальство и тащит его в тюрьму. А это за то, что он за простой народ стоял, начальство здорово протаскивал. Вот начальство и тащило его...

— Ты, говорят, очень горяч — садись, остынь мало-маленько.

Ну, что тут поделаешь? Вот идет Гоголь в тюрьму на казенные хлеба... Посидит месяца с три, его и выпустят, А он опять за свое возьмется. Как напишет книгу — похлеще первой.

— Вы, говорит, сажайте меня, сколько вам угодно, а я от своего не отстану: как писал, так и буду писать.

А они ему:

— И мы, говорят, от своего не отстанем: как сажали тебя, так и будем сажать.

Возьмут и посадят...

А как отбудет срок — опять писать... А начальство уж знает, какое его занятие.

— Пиши, пиши, говорят, место для тебя найдется — тюрьма еще не сгорела, не развалилась...

И как напишет — его тащут в тюрьму. А караульные солдаты смеются:

— Опять, говорят, Гоголь к нам в гости пожаловал...

А Гоголю что? Ну, пожаловал и пожаловал, что тут особенного? Ежели бы за воровство, или убил кого, а то ведь за книгу, за правду... Тут греха никакого. Ну, а господам правителям это ни к чему: они этого не разбирали. У них правило такое было, постановление такое. Да и сам в толк возьми; Гоголь их ругает, а они ему награду давай? Дескать, «благодарим тебя, Гоголь, что ты нас подлецами обозвал — на тебе за это золотую медаль»?.. Так не бывает... Ведь не безумные были эти правители. Обругал, ну садись, отсиживай срок. Да и сам Гоголь хорошо понимал это дело: на то и шел человек — знал, какая награда от них полагается... Ну, жил, писал книги, сидел в тюрьме и умер... Своею смертью помер — никто его не убивал.

*В московских низах мало кто знаком с жизнью невымышленного Гоголя, по крайней мере, из числа довольно многих своих низовых знакомых я встретил лишь одного человека, который знал подлинную биографию его. Другой рассказчик рассказывал:*

*— Гоголь тоже, как Максим Горький, был босяком, выпивал здорово, потом остепенился, стал писать сочинения, и тут ему повезла фортуна и пошел он в гору, прославился.*

*Рассказчик ни одного из сочинений Гоголя не читал, хотя и знает грамоту: «некогда» (сам он по профессии водопроводчик, человек еще не старый). Но в низах Гоголь все же распространен, конечно, настолько, насколько распространена там книга; вернее сказать, распространен не весь Гоголь, а одно из его произведений — «Тарас Бульба», это одно из любимых чтений низов.*

## Как Пушкин учился в школе

*Познакомился я с ним в харчевне, за чайным столом, потом мы не раз встречались там же, разговаривали. Он человек лет пятидесяти, рабочий-каменотесец из крестьян Костромской губернии; работает в Москве давно. Товарищи по работе называли его Василием*

Прокофьевичем, так и я стал называть его, а фамилию мне как-то не пришлось спросить у негa. Как-то по моему почину разговор у нас зашел о книгах.

Василий Прокофьевич назвал себя «большим любителем интересного чтения», но из прочитанных им книг мог указать только роман «Камо грядеши?», автором которого ошибочно назвал Достоевского (в произношении этой фамилии он делал ударение на первом «о»), затем назвал еще повесть Пушкина «Капитанская дочка», но сам он ее не читал, а слушал, как другие читали.

— Я тогда еще холостой был, — рассказывал он, — работал в артели в Москве. И вот один наш паренек раздобыл эту «Капитанскую дочку» про Емельку Пугачева и стал читать. Он читает, а вся артель слушает. Бывало, придем с работы, надо бы спать ложиться, а мы не спим, слушаем, чем там дело кончится. Да ночей, может, семь слушали. Ну, это, действительно, занимательное чтение было. И ведь вся правда, все с правды списано. Тоже вот еще «Камо грядеши?» — очень хорошее чтение. Это я уж сам читал. Только не Пушкина сочинение, а Достоевского.

— Сенкевича, — поправил я его.

— Да, это правда, Сенкевича, — сказал он. — А Достоевского я видел у знакомого переплетчика — «Преступление и наказание». Тоже, говорят, хороший роман. Просил почистить — не дал, чужая, говорит.

Пользуясь подходящим случаем, я с целью узнать от него еще что-нибудь о Пушкине, стал рассказывать о том, какой тот был умный человек и великий поэт. Василий Прокофьевич выслушал меня с вниманием, затем в свою очередь рассказал, что ему пришлось слышать о Пушкине, о том, как Пушкин учился в школе и по своему уму и таланту стоял выше остальных учеников. От кого слышал он этот рассказ, он не помнит, дело было много лет тому назад.

Когда Пушкин учился в школе, учитель взял и посадил его на заднюю скамейку.

— Ты, говорит, и без учения много знаешь, — садись на заднюю скамейку, а которые остолопы — пускай на передней сидят, чтобы у меня перед глазами были и слушали мой урок.

Пушкин и говорит:

— Так и так, мне все едино.

А после того учитель, этот профессор самый, и задает такой урок:

— Я, говорит, скажу вам свои слова, а вы на них скажете свои, только чтобы они в тахту\* приходились. Ну вот, говорит, слушайте: «взошло солнце и освещает землю». Теперь, говорит, скажите свои слова.

Вот ученики бились-бились, ничего у них не выходит. А было их триста человек. Профессор и говорит:

— Видно, без Пушкина дело не обойдется. Ну-ка, говорит, Пушкин, научи этих болванов в тахту сочинять.

А Пушкин говорит:

— У меня такие слова припасены, что всему классу не по нутру будут.

А профессор говорит:

— Ничего, не бойся, я за все в ответе.

Пушкин взял и сказал:

«Взошло солнце и освещает землю,

А вы, безумные народы, не знаете, что сказать».

Вот какую тахту сказал!

А ученикам не понравилось.

— Что же это, говорят, он один умный, а мы дураки? — И стали задирать его.

---

\* Т. е. в такт, в рифму.

Профессору подсунули сотнягу, чтобы он их руку держал. Вот профессор и говорит раз:

— Что ж это ты, Пушкин, возвышаешься? Я, говорит, на что профессор, сколько унвирстетов прошел, сколько академий, а не называю безумными. Только, говорит, ты мало смыслишь и до настоящих пунктов не дошел.

Вот, видишь, какая стерва, так-растак! Раньше Пушкин был хорош, а как взятку получил, Пушкина сажай вымазал! Пушкин слушал-слушал и рассердился:

— А, да ну вас к растакой матери вместе с вашей школой и профессорами! Я, говорит, дома один буду учиться. Я, говорит, теперь над вами поднялся, а придет время, буду первый в России человек и не забудут меня вовек.

И ушел из школы сам по себе. И ведь правду сказал, что будет первым человеком: памятник поставили ему и все знают его.

## Пушкин и царь

*Встречался я с ним в харчевне раз пять-шесть, а может быть, и больше, пил с ним чай, беседовал.*

*Был он уже старый человек, лет шестидесяти, плохо, почти оборванцем, одетый, по профессии — печник. Звать его было Яковом Ивановичем, а фамилию я так и не спросил у него: не пришло в голову спросить — в харчевне все называли его только Яковом Ивановичем, а по фамилии никто не называл и, пожалуй, ее никто не знал. Называли же его по имени и отчеству вовсе не из почтения к его старости, а просто потому, что это издавна привилось к нему.*

*С почтением к нему в харчевне никто не относился, а харчевник порой бывал даже груб с ним — раз я видел, как он выпроваживал его, впрочем, очень пьяного, в толчки за дверь. Совсем же трезвым он никогда не являлся в харчевню — всегда был навеселе.*

*От других мастеровых я узнал, что он «мастер хороший, а пьяница еще лучше», потому-то он и ходит вечно «отрепаем» и постоянного угла не имел и не имеет.*

*Родом он был из Владимирской губернии, в Москву попал подростком и поступил в ученье к печнику: с тех пор он никуда из Москвы не выезжал и не уходил. Грамоты он не знал: «некогда было учиться, да и не у кого».*

*Беседовали мы с ним о чем придется: о войне, колдунах, разбойниках, старой — 1880-1890-х годов — Москве, и раз по моему почину заговорили о Пушкине, хотя я и не ожидал услышать от Якова Ивановича что-нибудь новое о нем, так как уже от многих в харчевне, за исключением четырех-пяти рассказчиков слышал одно и то же: «Пушкин был очень умный человек, писал хорошие стихи, за что ему и поставили памятник»; некоторые к этому прибавляли, что Пушкин погиб на дуэли «через свою развратную жену».*

*Но, оказалось, Яков Иванович знал о Пушкине больше: он рассказал мне о нем легенду. Правда, в ней нет и намек на действительную, не вымышленную жизнь поэта, но это в данном случае, по-моему, и не важно, а важно то, что в сознании творца легенды, очевидно, совсем не знакомого с Пушкиным, образ поэта отразился, как прекрасный образ гордого человека, не унизившегося ради спасения своей жизни перед всемогущим царем.*

*Яков Иванович, по его словам, слышал эту легенду еще молодым, когда только что вышел из учеников, от кого он слышал ее — не помнит.*

*Рассказывал Яков Иванович не всегда одинаково: если он выпивал «в самый раз», то есть в меру, столько, чтобы быть только навеселе, речь его текла плавно и порой даже красиво, а если «перебачивал» — выпивал лишнее и становился пьяным, — его неинтересно было слушать: он тянул слова, спотыкался на них, повторял уже сказанное и частенько прибегал к матерной ругани, которую, будучи навеселе, почти не употреблял.*

Пушкин человек особенный был. Это такой человек: он и самому царю советы давал.

Вот и царь, над народом государь, а как случится трудное дело, он и не знает, с какого конца начать, не может направить по-настоящему. И никто не может. Мало ли вокруг царя людей было: и министры, и генералы там... А вот возьмутся за такое дело занозистое, и так, и этак повернут... А толку нет, не везет... Ну, что тут будешь делать!

Вот тут царь и посылает за Пушкиным.

Вот приходит Пушкин, глянет на эти ихние дела-бумаги, на эти ихние документы разные...

— Тут, говорит, и премудрости особой не требуется. Вот, говорит, дело это так повернуть надобно, а это — вот так.

Ну, они сейчас делают, как он говорит. Смотрят — и верно, все благоразумно выходит. И все тут удивляются. И царь тоже приходит в удивление.

— Ну, говорит, и Пушкин! Золотая у тебя голова, всем головам — голова.

Ну, однако, голова-то голова, а под конец все же окрысился на Пушкина... Положим, по правде сказать, от самого Пушкина начин был: укол на царя сделал, такую шпильку вогнал, что ай-люди!

И возгорелось ему это дело через крестьян... Это тоже вот раз призывает царь Пушкина, тоже не мог сам с делом справиться. А дело и взаправду очень трудное было. Ну, для кого трудное, а как пришел Пушкин, так сразу дал ему ума. Вот направил он дело, стал уходить, да на прощанье возьми и скажи царю:

— А не пора ли, говорит, крестьян на волю отпустить? А то, говорит, помещики совсем заездили их.

А тогда крестьяне помещичьи были. Пушкин и думает: «Дай я за крестьян свое слово замолвлю царю?» Ну, и сказал. А сказал с подковыркой, с усмешечкой. Ну, конечно, эти Пушкина слова царю не сладки были. Эти слова спичка ему в нос: дескать, вот ты царь, а защиты народу от тебя нет... За живое крючком зацепили его эти пушкинские слова. Вот он и закричал:

— Молчать! Это не твоего ума дело!

А Пушкин... Он ничуть не испугался.

— Ежели, говорит, не моего ума дело, так зачем же посылаешь за мной дела твои разбирать? У тебя, говорит, больше ума, вот ты и рассматривай их, а за Пушкиным нечего присылать.

Вот он какой Пушкин был! Другой бы согнулся перед царем и не пикнул бы, а Пушкин напрямик отрезал ему. Тут царь и взбеленился:

— Чтобы твоего духу здесь не было! — кричит.

Ну, Пушкин и пошел. И как ушел, взял и описал эту самую историю, как царь посылал за ним дела разбирать, как он сказал царю свои слова насчет крестьян, и как царь прогнал его. Все подробно описал.

А министры узнали про это писание. Сами-то дознались, или эти легавые, шпионщики подлые донесли — неизвестно. А только они сейчас к царю побежали. Чего им бегать, когда есть кареты, коляски? А это только так говорится, что побежали. Ну, хорошо... Вот приехали к царю...

— А наш, говорят, Пушкин вот какими делами занимается, — и рассказали про это самое пушкинское описание.

Как услышал царь, нахмурился... не по сердцу ему это описание было. «Что же это такое? — думает. — Ведь он на свежую воду меня выведет». И говорит он министрам:

— Пусть пишет, до чего-нибудь допишется. — И тут отдал приказ:



— Посадить Пушкина в крепость. А то, говорит, он такой важный интерес описывает, а ему помеха от людей: шум, да гам, да крик. А в крепости, говорит, никто не помешает, там тихо...

Ну, понятно, насмешку делает. Тоже думает: «Дай-ка подковырну Пушкина...» Вот и подковырнул. Злоба, конечно...

И вот схватили Пушкина, засадили в крепость, на замки заперли, часовых поставили. Все как следует. Боялись, как бы не убежал, а только напрасно. Пушкин и не думал убежать. Он и то в насмешку говорит министрам:

— А вы еще десяток орудий тут поставили бы...

А им нечего на это сказать, они и говорят:

— Ладно, ты вот сиди-посиживай, — вот теперь какое твое занятие.

Конечно, ихняя сила, что тут поделаешь.

Ну, засадить-то царь засадил его, а без него-то дела не так-то шибко идут... Иное-то дело сварганят абы как, лишь с рук долой...

Видит царь — без Пушкина ему плохо, а выпустить его так не хочет, а ему надо, чтобы Пушкин прощения у него попросил. Вот он и закинул удочку, министров спрашивает:

— Ну, как, говорит, Пушкин там сидит? Не просит прощения?

А министры говорят:

— Сидит спокойно, а насчет прощения, говорят, ничего не слышно.

Царь и говорит:

— Ну и пусть сидит, а то он уж очень пряткий, до всего ему дело есть... Вот, говорит, пусть посидит и подумает.

Вот министры и поняли, чего требуется царю. Вот прибежали к Пушкину, строгость такую на себя напустили, испугать думали Пушкина.

— Ты это что же делаешь? — кричат на него. — Почему прощения у царя не просишь?

А Пушкин несколько не испугался, сам кричит на них:

— Ах вы, аферисты, говорит, кричите, а попусту: мне ли, говорит, вас бояться, такую злыдню! А прощения просить мне, говорит, не за что: я не вор и не разбойник, а ежели, говорит, про царя написал, так написал правду. К тому же, говорит, у меня есть гордость и по этой причине не хочу я просить прощения.

Вот министры видят — неудача им, а все же докладывают царю:

— Уж очень, говорят, Пушкин возгордился и через эту свою гордость не хочет прощения просить.

Тут царь еще больше озлился на Пушкина.

— Ах, он!!! — говорит. — Как не хочет? Чтобы я на колени перед ним стал? Чтобы я у него прощения просил? Так это, говорит, мне не пристало. Я — царь, а он кто? Пушкин, только и всего. Не покоряется, говорит, — пусть сидит.

Конечно, раздосадовался царь, обида ему большая от Пушкина... А Пушкин тоже досадовал на царя. Думает: «Вовек ему покорности моей не будет».

Вот и сидит... И проходит год, а Пушкин как сидел, так и сидит — не просит прощения у царя. Вот министры опять собрались, опять идут к Пушкину. Идут и уговариваются между собой:

— Его, говорят, строгостью не возьмешь, а надо с ним поласковее обходиться.

Вот пришли и говорят:

— Здравствуй, господин Пушкин.

А Пушкин насквозь ихнюю подлость видит.

— Ну, говорит, здравствуйте, коли не шутите.

— Какие, говорят, шутки, мы не для шуток пришли, а по серьезному делу.

— А какое это дело? — Пушкин спрашивает.

Ну, они опять запели насчет того, чтобы он покорился.

— Ты, говорят, через свою гордость хвартуну свою не видишь.

А он опять вопрос им задает:

— А какая, говорит, эта хвартуна?

— А вот какая, говорят, свободу от царя получишь и награда тебе будет.

Ну, Пушкина не обманешь: он ихний подвох сразу уразумел.

— И кого вы, говорит, хотите обморочить? Я ведь знаю, на что вы бьете, и царскую, говорит, награду тоже знаю, какая она бывает: вот законопатил царь меня в крепость, это, говорит, и есть его награда. А какая, говорит, моя вина? Правду ему в глаза сказал, только и всего.

А министры опять за свое:

— Да ведь не отвалится у тебя язык прощение попросить.

Взяла тут Пушкина досада.

— Ну что, говорит, пристали? Ступайте, откуда пришли. Я, говорит, десять лет просижу, а не заплачу.

Ну и утерлись господа министры, ни с чем пошли к царю. Царь спрашивает:

— Ну, как, говорит, там Пушкин, не запищал еще?

А министры озлились на Пушкина.

— Он, говорят, какой человек? Уперся и ни с места. «Я, говорит, десять лет просижу, а не заплачу». Очень, говорят, большая в нем гордость.

А царь аж весь потемнел.

— Ну, говорит, не хочет покориться, и не надо. Он, говорит, до самые облака вознесся... Только смотри, не загремит ли оттуда? Он думает: у него одного гордость, а другие, говорит, без гордости живут. У него, говорит, гордость, а у меня еще больше. Посмотрим, говорит, чья перетянет...

Он и казнить Пушкина мог, кто ему запретил бы? К стенке поставил бы или повесил, — и весь тут разговор. А ему этого не требовалось: ему надо, чтобы Пушкин покорился... Вот на что он упирал.

А Пушкин тоже своего придерживался:

— Я, говорит, два года не покорюсь, а ежели на третий покорюсь, то всяк меня дураком назовет.

Вот какое дело затеялось: чья возьмет, чья победит...

Вот и третий год идет. А Пушкину не сладко было сидеть в тюрьме. Какая же приятность день и ночь под замком... И поговорить не с кем, и погулять не выпускают. Все один, да голые стены... И заболел Пушкин, зачах. Разнемогся совсем, лежит на тюремной постели... Видят часовые — призатих ихний арестант. Вот докладывают надзирателю:

— Как бы не помер наш Пушкин...

А надзиратель сейчас начальству доложил обо всем. Вот министры посылают к Пушкину доктора, сами тоже идут...

— Надо, говорят, хоть напоследок уговорить Пушкина.

А старались для себя: надеялись царскую награду получить. А доктор осмотрел Пушкина и говорит:

— Это вот какая болезнь, тут такие и такие-то порошки помогают.

Тут и министры приступили к Пушкину: Эх, Пушкин, Пушкин, говорят, до чего довела тебя твоя гордость: ведь умираешь!

— И умираю, — Пушкин говорит. — Я, говорит, на небо сквозь железную решетку смотрел, а солнышка совсем не видел, вот, говорит, отчего моя болезнь, вот отчего я умираю...

Ну, им-то что? Хоть сию минуту умри, а только сперва покорись.

— Ты бы, говорят, все же покорился бы... Только, говорят, одно слово скажи: «покоряюсь».

А Пушкин знает ихнюю заботу.

— Ну, езуиты же вы, — говорит. — Вы чего добиваетесь? Медаль от царя получить хотите? Ну, только от меня вам, подлецам, не будет помощи в этом деле.

Видят они — не выгорает их мошенническое дело, побежали докладывать царю.

— От Пушкина, говорят, нет покорности, а здоровьем он совсем плох, того гляди умрет. А на наш, говорят, разум надо бы его без всякой покорности выпустить... А то еще умрет, станут говорить: «уморили Пушкина».

— Ну что ж, — говорит царь, — так и так, пусть будет по-вашему.

Они и помчались. Прибежали, кричат:

— Пушкин, выходи на волю без всякой покорности!

А Пушкин уже вытянулся, помер... И не надо ему ни воли, ни царя, ни гордости этой. Лежит себе, и ничего ему не надо. Ну, умер, что тут поделаешь? Не воскресишь.

Говорят министры царю:

— Пушкин умер. Мы, говорят, прибежали, кричим: «Пушкин, выходи на волю без всякой покорности!» — глядим, а он уже мертвый...

Тут царь и говорит:

— Я в том деле не при чем. Действительно, говорит, посадил я его в крепость, так без этого нельзя — он меня в грош не ставил. Всем я царь, а только Пушкину ни то, ни се был.

Ну, конечно, станет царь себя виноватить! Кругом виноват будет, а не скажет: «я виноват». Так и тут: уморил Пушкина и говорит: «я ни при чем». На Пушкина всю вину свалил. Ну, все же и правда вышла наружу. Это уж потом, когда царь умер, по бумагам докопался... Видят: на Пушкина стороне — правда.

— Он, говорят, справедливый человек был, он за крестьян стоял.

Вот поставили ему памятник.

## Как Пушкина жена погубила

*Алексей Кузнецов, парень двадцати пяти лет, крестьянин Тверской губернии, торгует на улице фруктами, цветами; выпивает, но немного; грамотный, но кроме книг лубочного издания о сыщиках и разбойниках ничего не читал. Знает много легенд о ведьмах, оборотнях, колдунах, в которых верит, потому что «сам своими собственными глазами посмотрелся на их подлые дела».*

*С ним и его односельцем, тоже уличным торговцем Ильей Васютиным сидел я в харчевне за чаем и заговорил о Толстом.*

*— Этого Толстого, — отозвался Кузнецов, — и не поймешь, что он за человек был: пророк не пророк, а знал все, что случится. Вот революция... ведь он за десять лет вперед предсказал ее, и какое время обозначил, в такое она и пришла. Тогда много в газетах писали об этом. Ну, понятно, не ворожей и не гадатель был он, чтобы там по картам или еще каким другим средством предсказывать, а дано было ему от природы знать будущее. Вот и приходили к нему люди спрашивать про свою жизнь — чего, мол, нам ждать: худа или добра. И отец мой ездил к нему, только не пришлось посоветоваться с ним: он больной лежал в постеле и никого к нему не допускали. И очень жалел отец, что не повидался с Толстым.*

— О чем же хотел посоветоваться отец с Толстым? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Кузнецов, — отец никому про это не говорил. Рассказывал только, как в Ясную Поляну приехал и как дали ему пообедать. «Приняли, говорит, хорошо, не спрашивали, какие, собственно, у меня дела к Толстому, а только сказали: больной, лежит в постеле, доктора запретили тревожить». Отец пообедал и поехал домой.

— А вот Пушкин, — сказал я, — как думаешь о нем? Ведь он не ниже Толстого будет?

— Пушкин сюда не подходит, — заметил Васютин. — Пушкина дело другое было.

— Это верно, — подтвердил Кузнецов. — Пушкина дело особенное было. Пушкин стихи писал, а Толстой народ учил, вроде как проповедник. Ну, и он писал, только не стихи. Пушкин тоже очень разумный был, а кто из них выше поднялся — Толстой или Пушкин, — определить не могу. Не нам об этом судить: на это нашего ума не хватает. А вот историю про Пушкина слышал, как жена уложила его в земляную постелью на веки вечные, так это, действительно, подлее подлого она поступила.

Тут видишь, красота ейная Пушкина погубила. Собственно, через красоту он и женился на ней. Ну, красота красотой, только в голове у нее ветер погуливал: любила она по балам и маскарадам шататься. А это дело известное, добра от него не жди. Человек от рук отобьется, и только одна глупость у него будет на уме. Тоже вот и она так-то. Стала ездить на эти балы, и сейчас целый хвост ухажеров начал волочиться за ней. Только настоящих не было, а все сволочь, шаромыжники.

А тут появился один полковник — не чета им: собой красавец и в карманах у него густо. И живо отшиб от нее эту мелюзгу, всю эту поганую шантрапу. Денег не жалел. Эти брильянты, серьги, кольца...

— Позвольте спросить: какая марка?

— Тыща рублей!

Он сейчас портмонет из кармана вытащит:

— Получай! — и ей в подарок.

А той приятно и лестно. А полковник свое дело знает. Сперва эти брильянты, после того говорит:

— Едем в ресторан первого разряда в отдельном кабинете ужинать.

Она было помялась, потом согласилась.

Он и закатил ужин в двести рублей. Шинпанское тут, наливка, коньяк. Он ей бокальчик шинпанского преподнес. Она выпила. Он ей другой и третий. Она и опьянела. А пьяная баба какой человек? Ну, с этой поры она и стала его любовница.

А Пушкин ничего не знает. Он думал, как она была взята из хорошего дома, так и поведение ее будет хорошее. А на деле оказалось поведение ее развратное. И вот идет раз Пушкин на бал и встретился там с тем полковником. Ну, попервоначалу умный разговор повели, только под конец заспорили о каких-то предметах. Ну уж, конечно, где там полковнику с Пушкиным спорить?!.. Пушкин совсем заклевал его. А тот и не знает, что ему сказать. И взяла тут полковника досада. Вот он и говорит:

— И чего ты ставишь себя так высоко? Ведь твоя жена вот в таких-то смыслах.

Ну, одним словом, обозвал ее развратного поведения женщиной. Пушкин тут и залети ему в ухо. А полковник говорит:

— Кулаками не поможешь, давай стреляться.

А Пушкину только это и надо.

— Понятно, говорит, станем стреляться: тут дело кровавое.

Вот и вышли один против другого. Полковник и убил Пушкина.

А жена что? Убил и убил. Ей лишь бы брильянты. Ну, нашелся такой, который содержал ее. Может, тот же полковник.

— И я слышал эту историю, — сказал Васютин, — только по-иному она рассказывается. Бриллианты не при чем были, а сама она на шею полковнику повесилась.

— Ну, ладно, — возразил Кузнецов, собираясь уходить. — Как бы там ни было, а все же полковник убил Пушкина.

Когда он ушел, я спросил Васютина:

— Правда ли, что отец Алексея ездил к Толстому?

— Правда, — ответил тот. — Сам он рассказывал. А ты знаешь, кто был Алешкин отец?

— Откуда я могу знать? Я ни разу не видел его.

— «Деловой» он был. По «сухому» и по «мокрому» делу работал.

«Деловой» на острожном жаргоне — вор, грабитель, разбойник, смотря по делу, т. е. по преступлению: «сухое дело» — кража, «мокрое дело» — убийство ради грабежа.

— Его все боялись в селе, — продолжал Васютин. — Отчаюга был, а посмотрел бы на него и не сказал бы, что он бандит: собой красивый, одевался хорошо, а начнет говорить — все так резонно выходит. Как началась германская война, его потребовали на фронт. «Ну, говорит, прощайте, братцы, чует мое сердце — не вернуться мне домой. Не поминайте лихом!» — И верно, не вернулся, убили. И никто не пожалел, а все говорили: «Одним вором меньше стало на свете». А к Толстому он, правда, ездил. Он и с Толстым сумел бы поговорить.

Апрель 1922 г.

*Нет ничего удивительного в том, что отец рассказчика, Кузнецова, будучи вором, а может быть, и убийцей, ездил к Толстому «посоветоваться», вероятно, «на счет своей жизни», потому что хождение к Толстому, особенно после его отлучения от церкви, приняло чуть не эпидемический характер как для людей образованных, так и для людей из народной темной массы. Не все, конечно, шли к нему с одинаковой целью. Одним, действительно, надо было разрешить то или иное религиозное или вообще какое-нибудь жизненное сомнение, но больше всего направлялись в Ясную Поляну ради простого любопытства — «посмотреть на Толстого», поговорить с ним только для того, чтобы потом рассказать об этом в кругу своих знакомых или «поделиться своими впечатлениями» на страницах газет, журналов и, по обыкновению, приписать Толстому то, что он не говорил и не делал. Шли к нему люди и со специальной целью «урвать» хоть малую толику из его богатства, выпросить «деньжат на свою нужду» и, в случае неудачи, оболгать, обесславить его. И вся эта многочисленная рать «паломников», возвращаясь домой, сеяла на пути своего шествия множество всевозможных рассказов о Толстом, которые потом послужили материалом для легенд о нем.*

## Лев Толстой и американцы

*Николай Воеводин, парень двадцати пяти лет, с огненно-рыжими волосами и веснушчатым лицом, довольно часто встречался мне в харчевне, но познакомиться нам как-то не удавалось вплоть до того момента, когда он и Гаврилыч, здоровенный мужчина лет пятидесяти с черной кудлатой бородой и большим орлиным носом, прозванный Змеем Горынычем, не обратился ко мне, как к «бывшему учителю», за разрешением вопроса о том, как надо правильно писать: «ездию» или «езжу».*

*Воеводин утверждал, что «самое верное будет «ездию», потому что все так говорят», а Гаврилыч доказывал, что «правильнее правильного» будет «езжу», по той причине, что так говорят образованные люди, так и в книгах печатают.*

Когда спор был разрешен мною в пользу Гаврилыча, Воеводин, приглаживая пятерней огнистые волосы, проговорил:

— Значит, мне еще надо мозгами поработать, чтобы правильно произносить слова.

— А как же иначе, голова садовая! — важно возразил Гаврилыч. — Мозги — первое дело. На то они и дадены, чтобы работать ими. Поработай — получишь мозговое развитие и не будешь наподобие истукана или скота бессловесного, но станешь вникать в каждый корень и докапываться, что и откуда взялось, но не вроде адиета разинуть рот и ничего не понимать. Мозги — вещь важная, без них и комар не живет, а уж на что, кажется, ничтожное насекомое. Конечно, какой его мозг? С булавочную головку и того меньше, а ведь тоже дает понятие комару, что для своего пропитания надо из человека кровь высасывать. Только уж и подлецы эти комары! Раз чуть было не заели меня на рыбной ловле. Кругом вода, камыш, а им это самое и требуется. Паскудная тварь, конечно, но ежели дадена им жизнь, то они и должны жить, плодить детей для высасывания крови из людей. И тоже ведь, гляди, между собой разговаривают по-своему...

С этого дня и было положено начало моему знакомству с Воеводиным, и вскоре я узнал, кто он и откуда явился в Москву.

Родители его были мещане города Воронежа, занимавшиеся покупкой и продажей «барахла». Николай с девяти лет стал ходить в школу, но учился, как сам теперь сознался, очень скверно. Как-то он соблазнился плохо положенным матерью рублем и украл его, купив пряников, конфет. За это он был жестоко высечен, но наказание не исправило его, а наоборот, ожесточило: «назло» родителям он стал тащить из дому все, что можно было украсть. Родители, в свою очередь, били его, не жалея ни палок, ни кулаков. Наконец, «верх взяли» они, и Николай, не выдержав дальнейших побоев, бежал — сначала из дому, затем и из Воронежа, побывав в Тамбове, Козлове, Курске, Рязани, Коломне и прибыл в Москву. В Москве, как все вообще беспризорные, он занимался прошением милостыни и мелким воровством, ночевал у подъездов домов, на церковных папертях, в мусорных ящиках, попал в исправительный дом, из него в колонию для бесприютных, бежал из нее и опять очутился на улицах Москвы, сидел за воровство в тюрьме, был призван на военную службу, затем по причине близорукости освобожден от нее, в настоящее время занимается вместе с Гаврилычем перевозкой тяжестей на ручной тележке.

Кроме газет, по его словам, не прочитал ни одной книжки.

О Толстом он случайно слышал вот что.

Когда Толстого предали проклятию, приехали к нему американцы и стали упрашивать, чтобы он ехал к ним жить.

— Какое, говорят, вам тут житье? Одна ругань да беспокойство, и того гляди, ушлют в Сибирь. А у нас, говорят, вам будет жить хорошо: любой дом на выбор отдадим вам на веки вечные, жалование положим тыщу рублей в месяц, а прислуга и автомобиль бесплатно. Какой, говорят, хотите, берите сад и какие угодно деревья сажайте — никто слова не скажет. И пишите, и печатайте что вздумается — никакого запрету не будет.

Только Толстой не согласился.

— Я, говорит, в России родился, в России страдания принимаю, в России и помереть должен. А что, говорит, касается Сибири, так я ее не боюсь: пусть ссылают — и в Сибири люди живут.

Так и не поехал. А рассказывал мне про это в ночлежке один старик. Раньше он по Русе\* странствовал, а теперь ослабел ногами, с рукой стоит. И рассказывал он еще про Толстову религию.

— Эта, говорит, его религия вот такая: каждый, говорит, как хочет, так и верует. Как, говорит, хочет, так и пусть молится. Ежели, говорит, не хочет ходить в церкву, так

\* Т. е. по Руси.

и не надо — греха от этого никакого не будет. И молиться, говорит, можно по-разному. Хочешь, говорит, молиться на икону — молись, а не хочешь, — выйди на двор и на восход солнца помолись, а ежели кому желательно — можно и на звезды молиться. Во всем этом, говорит, нет никакого греха, лишь бы у тебя руки не были запачканы человеческой кровью. А ежели, говорит, ты убил человека, то тут и есть большой грех. А кто, говорит, живет чужим умом и по чужой указке ходит, тот есть анафема-проклят человек. Вот за это самое, говорит, и проклинали Толстого.

И много он рассказывал про эту религию, да я не все понял. Старик с башкой.

— Другие, говорит, все из книг берут, а я, говорит, беру от людей и от жизни, и на моей стороне правда, а на ихней ложь.

Только я так думаю, что книга книге рознь: иную только и остается, что бросить на помойку, а из другой можно что-нибудь взять для развития ума.

*Март 1924 г.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЛЕГЕНДЫ О ГРАФЕ БРЮСЕ

1. Календарь, изданный в 1709—1715 гг. в Москве и известный под названием «Брюсова», был составлен библиотекарем В. Куприяновым под наблюдением Я. В. Брюса. Содержал святцы, церковные справки, астрономические данные, астрологический прогноз на 1710—1821 гг., переведенный из иностранных источников. Позднее во многих календарях помещались фальшивые предсказания «по Брюсу».

2. Сухарева башня — обиходное название Сretenских ворот, построенных в 1692—1695 гг. (снесены в 1934 г.)

3. Приписываемый московской молвой Брюсу дом стоит на Разгуляе. Судя по описанию, речь идет именно о нем.

4. В середине прошлого века историк П. Пекарский записал еще одну версию легенды о смерти Брюса: «Брюс, умирая, вручил Петру склянку с живой и мертвой водой., с тем, что если он пожелает видеть его ожившим, то велел бы впрыснуть его труп той водою. Прошло потом несколько лет, и Петр, вспомнив о завещанной Брюсом склянке, велел разрыть могилу его; к ужасу присутствовавших оказалось, что покойник лежал в могиле, как живой, и у него даже отросли длинные волосы на голове и бороде и ногти на руках. Царь был так поражен этим, что велел скорее зарыть могилу, а склянку разбил». (Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862, С. 289-290).

### МЕСТА И ЛЮДИ

1. Картузник — мастер, делавший картузы, фуражки и т. п. головные уборы.

2. К публикации данного сюжета в сборнике «Московские легенды» (М., 1928) имелось следующее примечание П. И. Миллера:

«В 1793 году владение принадлежало губернскому прокурору князю Петру Шаховскому; в 1818 г. его дочерям Елизавете и Анне Петровнам Шаховским; в 1826 г. княжне Анне Петровне Шаховской, в 1842 г. надворной советнице Александре Оболенской. Далее дом продолжает оставаться за Оболенскими до революции. Владение, по всем вероятностям, не меняло своих размеров, одной стороной выходя на Арбат, другой

в Кривоникольский переулочек и заключающая в себе 1105 кв. сажен. За домом, выходящим на Арбат, по бокам двора тянутся службы, одноэтажные каменные скучные постройки, однако гораздо более древние, чем самый дом (деревянный), постройку которого надо отнести не раньше как к 30—40-м годам XIX века.

Многие из присутствовавших на заседании (общества «Старая Москва», на котором зачитывались легенды, записанные Барановым В. В.) подтвердили недобрую славу этого дома, а также привели несколько фактов, объясняющих присутствие в легенде некоторых имен и некоторых событий. ...

Н. П. Чулков привел чрезвычайно важную справку, что в этом доме действительно повесился сын князя М. А. Оболенского. В 70 и 80-х гг. прошлого века дом был не жилой. В конце XIX века Н. П. сам неоднократно бывал в этом доме.

А. М. Васнецов вспоминает, что в 90-х годах прошлого века в этом доме жил В. В. фон Мек, у которого он неоднократно бывал и который на чертей не жаловался, т. к. виновников, создателей легенд, в это время из дома удалили — их рассчитали.

Мне тоже пришлось на заседании привести справку. Как раз после того, как в доме повесился сын М. А. Оболенского и дом стоял пустой, его брат А. А. Оболенский перевез в 80-х годах огромную коллекцию всевозможных предметов, собранных незадолго перед тем умершим его родственником князем Хилковым. Сперва он вместе с вдовой Хилкова А. М. Хилковой жил в этом доме, но здесь оказалось им тесно и неудобно, т. к. комнаты были переполнены всевозможными вещами, почему они и переехали в свой дом на Сивцевом Вражке и дом опять оказался необитаемым, кроме нескольких слуг, приставленных для охраны. Началась распродажа вещей. Прийти покупать мог всякий, но не всякому Оболенский продавал вещи; у него были свои капризы. Покупали вещи и московские коллекционеры, как Остроухое, Щукины и др. Среди предметов было множество картин и гравюр, последние имели опись, состоявшую из огромной стопы бумаги. Именно к этому времени — к средоточию множества ценных вещей в доме, началу их распродажи и выезду самого Оболенского из дому — и относится возникновение легенд о привидениях, летающих чертях, музыке после 12-ти часов ночи и тому подобных вещах, якобы совершающихся в доме. Имущество, несомненно, расхищалось, может быть при помощи «охраны», может быть при содействии уволенного за пьянство лакея. Покушаясь на кражу прекрасной фарфоровой люстры, воры не смогли ее снять с цепи, сильно порезали себе руки, так что следы крови были очень заметны. Это могло послужить основанием для того, чтобы пошла слухи, что в доме кого-то зарезали и т. п. Одно время, уже в двадцатом веке, этот дом снимал и жил в нем известный оригинал, крупный винодел и владелец имения в Крыму «Новый свет» князь Лев Сергеевич Голицын.

Дочь последнего владельца «Проклятого дома» Н. Н. Оболенского замужем за ныне здравствующим академиком А. Е. Ферсманом.

Е. С. Петрова на том же заседании 31 марта рассказывала, что она, живя в 1911 г. в этом районе, неоднократно слышала рассказы про дом Оболенских. В этих рассказах дом назывался проклятым и определенно говорилось, что там живут черти, которые по ночам бросаются вещами и посудой. Насколько эти легенды и слухи были общеизвестны и внушали к себе ужас, можно видеть из того, что ночью пешеходы, проходя около этого дома, или извозчики, проезжая по Арбату, определенно держались противоположной стороны улицы, а некоторые суеверные даже творили крестное знамение.

Это впечатление и это отношение к дому могу полностью подтвердить и я, как непосредственный свидетель того же самого».

Дом, о котором идет речь в легенде, не сохранился.



## КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

1. В сохранившихся бумагах Б. З. Баранова запись этой песни не обнаружена.
2. Название «Лобное место» происходит от возвышенности, «взлюбья», которое существует в этом месте Красной площади.
3. Исторический Малюта Скуратов погиб во время Ливонской войны, в 1573 г. при осаде Пайды; был похоронен в Иосифо-Волоколамском монастыре.
4. Современные стены московского Кремля были воздвигнуты в 1485—1495 гг. при великом князе Иване III. Так как современники нередко называли этого государя «Грозным», то в глазах потомков его личность отчасти слилась с личностью Ивана IV Грозного, что демонстрирует и легенда.
5. Поводом к возведению Покровского собора (храма Василия Блаженного) было желание увековечить победу над Казанским ханством. Свое обиходное название «храм Василия Блаженного», собор получил по пристроенной позднее церкви, воздвигнутой над могилой популярного московского юродивого Василия Блаженного, причисленного к лику святых.
6. Амбюшюр — часть духового музыкального инструмента, которая вставляется в рот.
7. Дом Коншиных на Пречистенке сохранился; ныне это Дом ученых.
8. Хитрованцы — обитатели известного Хитрова рынка, района трущоб, ночлежек и притонов вблизи Солянки. Хива — просторечное сокращение слова «хитрованец».
9. Алексеев Николай Александрович (1852—1893) — предприниматель, общественный деятель, московский городской голова в 1885—1893 гг. Был убит в своем кабинете в здании думы пробравшимся туда сумасшедшим.
10. Подробнее см. в разделе «О падении дома Романовых».

## МОСКОВСКИЕ ЧУДАКИ

1. Годеиновский пер. — ныне Арбатский.
2. Николаевская шинель — широкая шинель-плащ с несколькими пелеринами и меховым воротником.
3. В приводимой легенде нашла отражение реально бывшая скандальная история дочери генерал-губернатора Москвы в 1848—1859 гг. гр. А. А. Закревского — Лидии Арсеньевны. Жена гр. Д. К. Нессельроде (сына канцлера К. В. Нессельроде), она пользовалась репутацией женщины нестрогих правил; с разрешения отца, не будучи разведена с первым мужем, вышла замуж вторично, за князя Д. В. Друцкого-Соколинского, и это обстоятельство на самом деле послужило поводом к отставке А. А. Закревского.  
Семья Закревских, помимо всего прочего, несколько причастна к истории русской литературы. А. А. Закревский входил в петербургское окружение А. С. Пушкина 1820—1830-х гг.; его жена Аграфена Федоровна, урожд. гр. Толстая, была включена Пушкиным в его «Дон-Жуанский список». Ею же увлекались П. А. Вяземский и Е. А. Баратынский, Л. Н. и А. К. Толстые приходились А. А. Закревской двоюродными племянниками.
4. Пастухов Николай Иванович (1831—1911) — писатель-самоучка, журналист, владелец типографии, издатель газеты «Московский листок».

5. Леонтьевский пер. — ныне ул. Станиславского. Дом, принадлежавший Закревским, сохранился (№ 4).

6. П. И. Губонин не был строителем Николаевской железной дороги. Он получал подряды на Московско-Курской железной дороге (строительство мостов), а также на строительство Уральской, Балтийской, Орловско-Витебской и ряда др. дорог.

7. Губонину действительно принадлежало имение «Гурзуф», где он завел обширное виноделие и из которого стремился сделать курорт европейского уровня.

8. Архитектором Исторического музея был В. О. Шервуд, инженером при постройке — А. А. Семенов (возможно, именно его имеет в виду рассказчик под Рязановым).

9. Померанцев Александр Никанорович (1848—1918) — архитектор. Кроме здания Верхних торговых рядов был еще автором архитектурной части памятника Александру III в Москве.

10. Архитектором Музея Александра III (ГМИИ им. Пушкина) был Р. И. Клейн.

11. Жиндар — т. е. жандарм.

## ЛЕГЕНДЫ О ПАДЕНИИ ДОМА РОМАНОВЫХ

1. Доннер ветер (Donner-wetter! — нем.) — гром и молния! Распространенное немецкое выражение удивления, гнева и т. п.

## О НЕЧИСТОЙ СИЛЕ

1. Церковь Симеона Столпника — сохранилась, находится на углу Поварской (ул. Воровского) и Нового Арбата.

2. Четверговая свеча — свеча, принесенная из церкви со службы в Великий четверг (на Страстной, предпасхальной неделе). Считалась магическим средством, оберегающим от пожара при грозе и т. п. (иначе называлась громница).

3. Вплоть до недавнего времени в народе существовало поверье, что, присмотревшись, можно различить в пятнах на лунной поверхности силуэты двух людей: одного — поверженного на колени, а другого — с занесенной для удара рукой, — Авеля и Каина.

## О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

1. Сухарев Леонтий — стрелецкий полковник, ставший в 1689 г. во время стрелецкого бунта на сторону Петра. Полк Сухарева охранял Сретенские ворота в Москве и когда в 1692-1695 гг. на месте старых ворот были построены новые, с башней, сооружение было названо Сухаревой башней. Позднее здание перестраивалось; в 1934 г. было снесено.

2. Возможный парафраз строк из стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа»:

Осел останется ослом,  
Хоть ты осыпь его звездами.